

# ГРАНИ

GRANI

142

1986

---

Verlagsort: Frankfurt/M., Oktober-Dezember

## **ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»**

**к литературной молодежи, к писателям  
и поэтам, к деятелям культуры  
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15,  
D - 6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

**За свободное Творчество! За свободную Россию!**

**Издательство «ПОСЕВ»**



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов



# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLI

№ 142

1986

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр АНТОНОВИЧ. Отпуск. Повесть	5
Елена ШВАРЦ. Фрагменты поэмы	100
Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Бармалей. Рассказ	106

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Екатерина БРЕЙТБАРТ. Радость творческого слова	140
Леонид РЖЕВСКИЙ. Мотив жалости в поэтике Достоевского	146

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Николай ЛИХАЧЕВ. Записки о войне	165
----------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей САМОХИН. Амурская война	212
Георгий ВИКТОРОВ. Технология отставания	259

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Михаил НАЗАРОВ. Бороться со злом — зная его природу...	282
Юрий ШТЕЙН. Плоды коллективной мысли	288
Н. А. Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена	297
М. П. Российская императорская гвардия	299
Н. Н. Солоухин: "А все-таки она вертится..."	302
М. Н. Последняя надежда выжить	304
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Мировоззрение Тютчева	308

<b>КОРОТКО ОБ АВТОРАХ</b>	<b>313</b>
<b>КНИГИ НА ОТЗЫВ</b>	<b>317</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ с № 139 по № 142</b>	<b>318</b>

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

Александр АНТОНОВИЧ

# Отпуск

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я бывал в этой деревне когда-то, лет, наверное, пять назад и уже тогда она оправдывала свое название -- Пустые Вторники.

Вначале война, а потом и другие невзгоды стронули людей с места, и, когда я в первый раз вышел на заросшую травой главную улицу, деревня была уже пуста... Некоторые дома были вовлечены в центростремительное движение человеческих дорог и тоже ушли куда-то за тридевять земель, а точнее за восемь километров — в районный центр. Но таких домов было немного. В основном же все было продано и брошено на произвол дождей и снегов. Сняли новые, только перед войной насланные полы, выломали еще не поточенные жучком рамы, да еще кой-чего прихватили по мелочи, а старые просевшие срубы одиноко уходили к своим строителям — во все понимающую и все принимающую землю русскую...

За время моего отсутствия многое изменилось: что-то совсем прахом пошло, что-то охотники и туристы порешили, да и память моя за это время порядком обветшала, так что узнал я лишь стояв-

ший на отшибе домишко — последнее прибежище какого-нибудь бобыля.

Но память и время текут в разные стороны, и, уже входя в дом, почувствовал я, что вряд ли найду здесь тот покой, которым был околдован "в те баснословные года".

Вместо давным-давно выбитых стекол мутнела, ставшая уже совсем ломкой, полиэтиленовая пленка. Чувствовалось, что здесь не жили, а только пережидали непогоду и уходили, не думая о возвращении. Воздух в домике был крепко замешан на запахе сивухи, сырости, гнили и окурков дешевых папирос.

Но уже за вечерело, и за окном стояла такая непролазно-октябрьская погода, что можно было выпить только полкружки почему-то солоноватой водки, да, уже лежа в спальнике, ополовинить банку тушенки.

И сон пришел сразу, как согрелся.

Правда ночью проснулся и даже выкурил сигарету, но стоило только прислушаться, только подумать о голых деревьях за стеной, как вновь провалился в сон.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда утром (серо и то ли туман, то ли дождь — морщины деревьев за вуалью влаги), когда утром вышел на крыльцо, и за моей спиной часы пробили десять раздвоенных ударов, и когда увидел как медленно впитывают свет намокшие поля, как свет этот огибает каждый куст, каждую ветку, не освещая их; когда вышел в этот словно полустертый мир (одна ступенька совсем сгнила), почуди-

лось, что эти две недели моего отпуска будут самыми ясными в моей жизни.

Я смотрел вокруг и впервые за многие годы вновь чувствовал ту единственную точность слов, ради которой они, наверное, и рождались. Сейчас я был Богом.

Я видел дерево и говорил — "дерево".

Я видел дом и говорил — "дом".

Это простое называние было, казалось, много точнее всего выговоренного мною раньше.

И воздух был плотен и весом, а от земли тянуло полынной свежестью июльского полдня, но обращенная в воду влажная хмарь мерно тюкала в наполненную до краев железную бочку у стены, и звук этот почти сразу обволакивался тишиной и исчезал, оставаясь только в памяти оглохшего за годы безлюдья сада.

Зачем-то я взял с собой, купленные недавно в комиссионном, старинные часы с боем — этаким маленький стеклянный кирпичик с белым эмалевым циферблатом.

И когда вставлял в рамы новую пленку, и когда протопил-таки нестерпимо дымящую печь, и когда подмел везде, — в общем, когда устроил свое логово, и в наступившей после этой возни тишине слышал сначала покойную походку проходящего мимо нас времени, а потом чуть дребезжащий звук точно отбитой четверти, то понял, что все получается правильно, и даже немного поуважал себя за это столь точно угаданное настроение.

Часы шли спокойно. Они не были заражены нервным тиком голосистых будней XX века. Сني говорили "тик", потом на мгновение задумывались и, словно подтверждая правильность всего, что случилось за это мгновение, веско молвили — "так!" От этой степенности появлялось ощущение,



что часы не отмеряют время, а только высочайше разрешают ему следовать дальше — уходить, уходить, уходить...

И хотя весь первый день прошел в мелких хозяйственных заботах, в нем не нашлось места для суеты. Я ходил по домам, подворьям, собирал чудом уцелевшие доски, крышки от ящиков, чурбаки, которые могли бы служить табуретками и тому подобную дребедень, как видно, необходимую для нормального существования дикаря атомной эры.

И часам к пяти (уже начало смеркаться) у меня был стол и дом. За окном рядил все тот же заунывный дождичек, от сохнувшей на полу куртки пахло весомо и спокойно, чуть попахивала солнечной пылью прошлогодняя солома в углу, и от всего этого надвинулся на меня тот удивительно чуткий сон (полудрема — полунебытие), после которого просыпаешься сразу и не шальным, а чуть напряженным и отдохнувшим.

Где-то глубоко во мне часы звонили по уходящему времени, и спал я, чувствуя это время, постоянно ощущая его движение и от этого спалось осознанно и без сновидений. Только какие-то туманные полосы в ритме осыпающегося за окном дождя расступались и расступались передо мной, а впереди было то же порошение воздушной влаги, и я чувствовал, что вроде бы иду, но где-то глубоко внутри знал, что это уходит время, уходит в прошлое жизнь, чтобы там стать бесконечной и прекрасной. Бесконечно прекрасной.

Когда я проснулся стояла уже глухая ночь. Но пробуждение среди темноты не было для меня неожиданностью — как только открыл глаза, — я понял, что нахожусь в Осени. И, как только открыл глаза (все стало на свои места), я вспомнил про

свечу, которую еще засветло укрепил на шатком столике, и зажег спичку...

От лица отшатнулись стены. И когда свеча вырастила продолговатый голубой лист пламени, и когда тени перестали метаться и, изломавшись, обжились на бревенчатых стенах, пришла в дом тишина и память.

Настоящее вдруг перестало существовать и на какое-то мгновение вся моя прошедшая жизнь словно отслоилась от меня самого и предстала передо мной во всей своей суеде и обычности. И не то чтобы не так я жил. Нет. Все было правильно — и работа, и друзья, и любовь. Но все это было ужасающе ровно, однообразно и не было ничего такого, что могло бы осветить или сжечь будничное накопление житейского опыта, который, в таком случае, не стоит и ломаного гроша.

Так внезапно подумалось мне, и хотя минут через десять я вернул это прошлое в себя и нашел себя в нем, и нашел все это не таким уж ничемным, все равно, осталось какое-то недоверие к себе — сознание, как треснувшее зеркало, отражало два разно-одинаковых человека.

Так думалось мне. В общем-то не очень оригинально думалось, да и откуда было взяться оригинальности, когда за стеной (именно "за стеной") маялась безутешная русская природа и уже не плакала, а только причитала и билась последними листьями о мокрые стволы деревьев...

В сениях, чуть перекрывая шум дождя, раздалось какое-то шебуршание, и я подумал, что это мыши, но потом заскреблось сильнее. И тогда я встал, босиком прошел по холодному полу до двери и так постоял немного, прислушиваясь и решая — открывать или нет. За дверью, примерно на высоте моих колен кто-то дышал, шумно втягивая воз-

дух. Я чуть приоткрыл дверь и чей-то черный нос сразу сунулся в образовавшийся просвет и громко с присвистом нюхнул. А за носом, в последнем отблеске свечи, флюоресцирующим огнем вспыхивал большой, казавшийся сиреневым, глаз. Все это было настолько не страшно и по-домашнему, что я отпустил руку. Черный нос энергичным движением распахнул дверь, и в восторженном безмолвии мне на грудь бросилась насквозь мокрая псина. Это был большой бело-рыжий пойнтер, судя по всему молодой и хороших кровей.

Явление это было столь приятно и неожиданно, что я вначале даже не задался вопросом, как он мог оказаться один посреди промозглой октябрьской ночи. Он был. В избушке уже волшебным запахом сохнувшей псиной и этого было вполне достаточно.

Пес, видимо, очень устал, потому что, съев остатки тушенки, мгновенно провалился в сон, и я даже не успел расстелить чехол спальника, сделать ему какое-то подобие лежанки.

Я забрался в свое еще не остывшее логово и почти сразу же уснул, подумав только, что завтра утром нужно ждать гостей: накричавшись по лесу, хозяин собаки наверняка пойдет по близлежащим деревням. А было их не так уж много.

Но утром к нам так никто и не пришел.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Все утро с рассвета сквозь сон я чувствовал, что произошло или должно произойти что-то хорошее, но еще не знал, а точнее не помнил, что это. Примерно такое чувство бывает у детей в первое утро нового года, когда сквозь сон чуешь еще не-

привычный запах за ночь выросшей в углу елки и знаешь, что тебя ждут подарки, и что в квартире тишина, и все домашние в сборе.

Так я и проснулся.

Было чуть сыро и довольно прохладно, а посреди комнаты, свернувшись калачиком, спала собака. За ночь она просохла и ее гладкая шерсть тускло блестела в тяжелом свете падающего из окна осеннего утра. Видимо я зашумел, потому что собака (как же ее зовут?!) открыла глаза и слабо ударила хвостом по серому полу. Но с места не сдвинулась.

Было уже около девяти. Судя по всему дождь кончился ночью и ветер сдул влагу с пожухшей травы и последних листьев. Сухой бумажный шорох стоял над деревней, подчеркивая ее пустоту и заброшенность.

Но в лесу было еще влажно.

Не без опаски взял я с собой в лес собаку. Я боялся, что она кинется на поиски хозяев и опять заплутается, и выбьется к какой-нибудь дальней деревеньке, где ее посадят на цепь, или же, если, не дай Бог, она кого-нибудь напугает, просто пристрелят.

Но опасения были напрасны. Мой безымянный гость ходил кругами на расстоянии прицельного выстрела, и хотя я не очень разбираюсь в натаске охотничьих собак, но его поведение я оценил как вполне грамотное и заслуживающее всяческого поощрения, о чем и не преминул ему сообщить во время первой же остановки.

Я присел на пенек и свистом подзвал пса, который спокойно выслушал мою проповедь и опять пошел в поиск, пошел бесшумно, и только по оголтелым крикам сороки я мог догадаться, что он где-то рядом. Сорока следовала за нами издалека,

чуть ли не от самого дома и поэтому я привык к ее крикам и они стали для меня частью тишины, ее вторым планом, ее глубиной.

Я сидел на темном, цвета подсыхающего чернозема, пне и сквозь джинсы чувствовал влажную и от времени чуть ребристую его поверхность. Годовые кольца замшели и словно выступили над плоскостью среза. Срез же шел чуть под углом и по всему по этому было очень удобно сидеть плотно, чуть откинув тело назад, вытянув ноги в давно промокших кедах и смолить отсыревшую сигарету.

Собака раскручивала спираль поиска, и крики сороки слышались уже издалека, почти из небытия.

Я сидел в сумраке грибного запаха, слышал падение каждого листа, ясное дыхание просветлевших полян, и бесконечная, спокойная тревога наполняла меня. Тревога эта была всего лишь узнаванием этого леса, этих просек, этих идущих, плывущих куда-то стволов. И та моя жизнь, откуда я приехал (а может быть — вернулся?!) стала наконец *моей* жизнью. Во мне не было уже взгляда на себя со стороны — из окна дома, машины. Я был самым собой. Я обрел прошлое, невыражаемое, непересказываемое — прошлое души. До чего же мы самонадеянны, одиноки и беззащитны, если продрогший лес, приبلудная собака и полуразвалившийся дом с выбитыми стеклами вот так просто возвращают нас самим себе.

И я, наконец, вспомнил, разрешил себе вспомнить тот свой приезд сюда же, в этот же самый осенний лес... Всего пять лет назад.

Как же я мог тогда не понимать всего настоящего богатства своего, всего счастья (настоящего и того, которое ведь можно еще было придумать),



каким же жалким властелином мира я был тогда, тогда шестьдесят месяцев назад. Чем же таким я был упоен, что почти не замечал ни любви, которая все-таки была, ни этой растерянной и беззащитной природы?! Кем же таким я был, если сейчас в памяти — не та женщина (зачем же я так?!), не сеновал и солнце, не свет все сжигающего костра, а только — Я! Я! Я! Что же такое я был тогда? И что же такое я есть сейчас?

Ко мне вернулось прошлое. Вернулось без цвета и жеста, без запаха и слова, а все сразу. Я понял, что все-таки жил!

Как же это было хорошо — жить.

Я вдруг осознал ту свою (почти уже утраченную) возможность будущего. Пусть я прожил его, плохо прожил, но этот распахнутый мир все-таки принял меня и одарил тем же бесконечным временем, которое остужает нашу любовь и раздувает искры давно забытых страданий.

Вперед!

Захотелось вскочить и, вскинув руки к низкому небу, прокричать что-то. Прокричать громко. Горлом. До хрипа. До последнего надсадного, сиплого выдоха сжавшихся в стонущий комок легких, и я уже качнулся вперед и тут, словно очнувшись, услышал треск сороки над головой и увидел стоявшего в нескольких шагах от меня пса. Он смотрел на меня, чуть наклонив голову влево, и я видел, как хочется ему подойти, подбежать, и как он, вросший плотными ногами в полегшую траву, дрожит от этого желания, но не решается (или боится?) двинуться с места. Но поймав мой взгляд и поняв (черт его знает как!), что холодный мокрый нос будет лучшей примочкой моему возвышенному настроению, он сорвался с места и на выдохе, с едва слышным взвизгом кинулся ко

мне. Мы упали и долго и шумно катались по мокрой траве, и целовались, и боролись, и опять целовались и, наконец, устали, и так и остались лежать — я на спине, он — на мне, положив тяжеленные лапы и голову мне на грудь.

Домой мы шли быстро. Легкий ветер, который я раньше почти не замечал, теперь выстуживал насквозь мокрую куртку, джинсы и меня самого, так что я вынужден был время от времени ускорять шаг до бега, чтобы сбросить леденящую судорогу, в которую перешли минутные просветление и радость. Из-за этого внезапного перехода, или из-за того, что тучи неслись уже низко, почти задевая вершины деревьев и казалось, что вот-вот начнет накрапывать, кропить, сеяться, дождить, и уже почти чувствовалось на лице это влажное бескрайнее пространство осенних буден, или просто потому, что мне было холодно и я хотел только одного — побыстрее добраться до дома, но осенний лес, достойный самого пристального внимания, сочувствия, осенний лес проходил мимо меня, мимо меня, мимо меня...

Собака теперь не кружила вокруг, а шла впереди, даже не оглядываясь. Палая листва уже не горела, а только теплилась отраженным светом серых облаков и свет этот угасал, словно затягиваясь пеплом.

Дома нас ждали гости.

Полупрозрачный горячий воздух дрожал над трубой, бледные искры стлались по ветру и гасли, сливаясь с редкой желтой листвой сада. Дыма почти не было, и это означало, что топили давно, не жалея дров.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— А вот и хозяин. Вы уж нас горемычных простите...

На столе початая бутылка водки, шмат розоватого сала. В углу на моем спальнике, привалившись плотной спиной к стене и вытянув на середину комнаты ноги в болотных сапогах — мужчина.

На мое "Здравствуйте!" — из-за печки вышел второй, высокий, перемазанный сажей. Он мягко и как-то почти нежно сказал, — День добрый! — застенчиво снял очки в тонкой оправе, близоруко поморгал и вновь скрылся за печкой.

Сидевший резко оттолкнулся спиной от стены, встал, коротко и сильно сжал мою руку. — Лагов Юрий Григорьевич, — острый, чуть исподлобья взгляд линияло-голубых глаз. — Вы, случаем, собаку в лесу не встречали?

В его резком, словно чуть надтреснутом голосе, опущенном плече, в самом развороте фигуры было что-то от быстро идущего человека. Какое-то движение. И когда потом он разливал водку, низко наклонив голову и уверенно торкая горлышком в стаканы, даже в этой статичной позе он двигался. Шел.

— Пес-то?! Да здесь он. — Я обернулся и только тут заметил, что собака не вошла со мной в дом, а осталась за дверью. — Здесь он, — повторил я и открыл дверь, ожидая, что обиженный, так несправедливо всеми забытый пес, сидит там. Но и в предбанничке никого не было.

Он сидел на улице, какой-то странно-длинный, неестественно вытянув шею, и мелкий дождичек обступал его, и короткая шерсть, помутнев и потеряв цвет, облепляла нелепую, еще совсем юношескую фигуру.

На мой свист, на мое, — ну, поди сюда! — он встал, но не подошел ко мне и остался стоять, опустив голову, лишь иногда вскидывая на меня большие виноватые карие глаза. Он ждал наказания. Он боялся этого наказания, но не мог уйти. Бросить уютно сидящего в тепле хозяина и уйти, уйти, уйти... Это была мука кровного родства неразрешимая и необъяснимая. То же родство связывало его с недалеким затухающим лесом, с этим мелким морощением дождя, со всем миром трав, запахов, шорохов...

И подумалось мне тогда, что уже лишь через живое существо, словно бы его глазами, и может теперь иногда раскрыться перед нами истинная суть природы, от которой мы слишком далеко ушли вперед.

Вся его жизнь сродни детским вопросам. — А что это? А это почему? Зачем так? Чтобы ответить — надо посмотреть. Чтобы увидеть — надо задуматься... Мысль — понимание — мир — жизнь...

Где-то в этом месте, продолженной и осознанной много позднее мысли, за моей спиной скрипнула дверь и странно резкий в этом обнесенном дождем мире голос Лагова.

— Да бросьте с ним цацкаться! Никуда не денется!.. — на плечо мне легла тяжелая уверенная рука, и я пошел в тепло, трусливо думая, что в предбаннике и ветра нет, и сено есть — рай для охотничьей собаки.

В домике было действительно тепло.

В печке уже клавесинели угли, пахло нарезанным луком, и сало, просвечиваясь насквозь, горело розово-белым, окаймленным желто-серой корочкой, огнем...

— Ваше здоровьечко!..

Выдохнуть, хрупнуть луком, подхватить кончи-

ком ножа обезволевшую в тепле пластинку сала и на мгновение замереть, чувствуя во рту горьковатый, долго не тающий хрусталик соли...

— ... наверно он зайца поднял и пошел за ним — молодой еще, — пару раз брехнул черте-где и с концами. Мы уж и кричали, и стреляли... — после выпитой водки Сергей Петрович, так звали мужчину в очках, вначале покраснелся, покрылся мелкими брызгами пота, но через минуту уже просох и его длинное, чуть одутловатое лицо, заросшее желтенькой щетинкой, разгладилось и словно потеряло очертания. — Хорошо хоть Юрий Григорьевич надоумил, что Чанго обязательно на какую-нибудь деревню выйдет — охотников сейчас много ходит — за кем-нибудь да увяжется...

— Вроде тебя охотнички... — буркнул Лагов, чуть приподнялся, и бутылка водки утонула в его руке. — Проспят до полудня, потом, как во сне, по опушке походят, пару раз пальнут для очистки совести по воробьям и в сельпо, — он плотно поставил пустую бутылку на покачнувшийся стол. — А, впрочем, и от них польза есть, ежели, конечно, спросонок в тебя не пальнут... — Лагов обращался уже ко мне. — С патронами у нас туго. То пороху нет, то гильз — периферия, — он насмешливо посмотрел на меня, — так вот, как просадится какой-нибудь охотничек, перестреляет в сельпо все что можно и начинается натурфилософия. Патронов-то они привозят тыщами. Как на войну едут. Молодцы. Снабженцы... Что ж, выпьем, чтоб наши края не забывали, — Лагов поднял кружку.

На окно наваливались сумерки. Угли в печке уже истаяли и по ногам зябко потянул сырой сквознячок.

— Но ведь я же лося недавно завалил, — обиженно сказал Сергей Петрович, ставя кружку на стол.



— Ты, Башлыков, вьюшку-то закрой, а то выступим хозяйские хоромы. Дрова-то ты, небось, все сжег?!

— Сами же говорили — топи не жалея — спасибо скажет...

— Топи-топи... Котят слепых топить до конца нужно — кошка спасибо скажет.

— Да ничего, — вступился я за Сергея Петровича. — Дров тут на десять зим хватит. Слава Богу пустых изб вон сколько... Любую на дрова пускай...

— Сам-то из Москвы? — недовольно прервал меня Лагов.

— Из нее.

— Впервой здесь?

— Да нет. Бывал уже.

— Давно ли?

— Да не так, чтобы очень, лет пять назад. Уже пусто все было. Один пастух вон там, напротив, жил... Толик кажется...

— Толик?! Был такой... Был.

— Умер, что ли? Вроде не старый.

— Да нет, коптит еще. Пьет по-черному, как из колхоза похерили. Инвалидность какую-то выхлопотал. Пастушество бросил. Отсидел свое и пьет.

— Сами же выгнали, — неожиданно высоким голосом сказал Башлыков.

— Ну и выгнал... Так за дело же выгнал. Сам знаешь.

— За какое такое дело?! Что мальцов кормить нужно было?!

— А сиди уж ты! Хватало ему и без соли.

— Так что же он все-таки сделал? — не выдержав спросил я.

— Да подворовывал по-своему. Он же телок пас. Весной по весу их принимал. Ну, за лето они там

чего-то нагуливали, вес набирали... Ну, с этого привеса и платили. Так ему мало показалось. Не захотелось ли видите ишачить, чтобы телухи действительно вес набрали... Так он перед сдачей покупает мешок соли и скармливает телухам — им соль-то только подавай... А после соли, известно, — пить хочется, ну он их перед приемным пунктом и поил от пуза. На каждой — килограмм десять лишних брал. Телки-то потом отоссутся и привесу, как не бывало. А ему-то что — в накладных все зарегистрировано. На бумаге привес-то уже есть.

— Так они же больше в весе теряли, когда их своим ходом на бойню гнали, — вновь подал голос Сергей Петрович.

— А это уж не его было дело. Не его! Тут хоть без воровства — естественные потери. Никто их к себе в карман не клал.

— Да лучше бы уж клали! — видимо спор этот был давний, — а то, как собака на сене...

— Хозяйская собака на колхозном сене... Да не слушайте вы его! — обратился уже ко мне Лагов. — У него в этом деле личный интерес есть.

— И никакого такого...

— Да сиди! — тебе говорят... — Лагов резким взмахом руки оборвал взъерошившегося Башлыкова. — Не темни. Всем ведь известно, что на Дашку глаз положил, да не дает она тебе, вот и страдаешь, виноватых ищешь... Да и не даст. И правильно делает. На кой лях ты ей со своими соплями нужен?! А что она от пьяного отца к кому ни попадя бегают, так уж извини, коли лю-юбишь.

— Да ни к кому она не бегают...

Лагов спокойно нагнулся, запустил руку в стоявший у ног тощий рюкзачок, выудил оттуда вторую бутылку, медленно сорвал шляпку и насмешливо спросил:

— Так уж и ни к кому?! А когда они с Колькой Бараном чуть не гектар овса помяли, уж не в лапту ли играли?! А с Петькой... да что там... Дурило ты грешное, выпей-ка лучше...

— Не буду я с вами пить! — Башлыков чуть не плакал.

— Ой ли? Будешь! Еще как будешь! Я вот тебе за сегодняшний день прогул выставлю и выпьешь. Как миленький выпьешь.

— За что же прогул-то? — всем тем же страдальческим голосом спросил Башлыков.

— А-а, испугался! Дашку он, видите ли, любит... Отелло. А прогул за то, что ты на казенной машине свою собаку искал... Да еще за бензин вычту, да за резину...

— Я же вас... вы же на охоту ездили...

— Я? На охоту? Да ты что? Я озимые ездил смотреть. Они же без хозяйского глаза — захиреют. Выпей, кучер, не смейся народ.

— Да ведь за рулем же я...

— В первой, что ли, за рулем пьешь?

— Да и почки у меня... и сердце...

— Почки промывать надо, а сердце... Так ведь за Дашеньку, за Дарью Анатольевну пить будем. Подставляй посуду!

— А может быть все-таки не стоит?! — попытался вмешаться я.

— Стоит. Если стоит, то стоит. — Лагов зло подмигнул мне. — У него же слова все. Никудышный человек. Книжки читает, а вот сейчас выпьет и плакать начнет, и Дашку материть. Я его цуцика, как облупленного знаю. Как из армии комиссовали, у меня шоферит. Второй год уже. Выпьет. Как миленький. Сука. Ну хоть бы драться когда полез, хоть бы обругал меня или на грузовую ушел от моего самоуправства... Неет. Ни-ког-да! И зачем я

его держу при себе — сам не знаю. Ведь что случись — поставки там не вытянем или падеж будет, так ведь первый же продаст.

Башлыков сидел, надув губы и уставившись пустым взглядом в угол.

— Вишь, — кивнул головой Лагов, — молчит. Продаст... Только не будет этого. Я вытянул этот колхоз и уж больше не выпущу. Слово волшебное знаю. Маленькое такое словечко, вроде пустяковое — "надо!" По бревнышку весь колхоз раскатаю, а все будет в ажуре. За то и уважают, — Лагов воткнул бутылку в кружку своего личного шофера, и пока она долго булькала, узкими монголо-видными глазами смотрел на Башлыкова. Тот сидел молча. — Ну, что я говорил!.. Так выпьем за извозчиков, за наши лошадиные силы, ну и за радость нашу Дарью Анатольевну. Тут уж надо до дна. Слышь, Башлык, — он ткнул пучок лука в крупную сероватую соль и словно дирижерской палочкой помахивал им перед носом Башлыкова в такт его тяжелым, через силу, глоткам. Когда же тот, давясь самым последним, самым нестерпимым глотком схватился рукой за напряженно дрожащий кадык и кинул на стол пустую кружку, Лагов вручил ему пучок лука и Сергей Петрович с трудом выдохнул:

— Спасибо...

Услышав это "спасибо", Лагов захохотал. —

— Ну, что я говорил! Благовоспитаннейший человек. Человек нашего будущего! — почти кричал он. Потом резко оборвал смех, помрачнел, одним движением влил в себя водку и, не закусывая, закурил.

Нехорошая тишина настала в доме. Было слышно, как потрескивает отсыревший табак и как слабый ветер путается в соломенной крыше. Но над

всеми этими звуками господствовало загнанное дыхание Сергея Петровича.

Молчание нарушил все тот же Лагов.

— Вот читал я где-то или по телевизору передавали, что в Японии на заводах ставят резиновых кукол, похожих на мастера цеха. И когда у рабочего накопится злоба, идет он в особую комнату, где этот гандон стоит, и мурыжит его почем зря... А потом опять к станку... И мастер цел и работяге разрядка... — Он помолчал. — Так вот я иногда думаю, что Башлык у меня вместо этой куклы. Бывает в районе тебе клизму вставят, там-то не очень поорешь, им-то не докажешь, что ни хрена не смыслят, что мне лучше отсюда, сблизил, видно, что и когда и где сеять, не докажешь им паскудам, что для меня колхозная выгода главнее, чем для них. Им же не докажешь, что со связанными руками я много не наработаю, что свобода действий мне нужна, и кулаком по столу не шибанешь, покладистых-то председателей всегда найти можно, им-то что с того, что тихони колхоз до кальсон разденут. — Лагов выругался. — И вот выходишь, ки-пишь как самовар и тут тебе — Сергей Петрович Башлыков собственной персоной. Малость с ним поговоришь на душевные темы, глядишь и полегчает... — Лагов замолчал, пососал потухшую папиросу, кинул ее на пол и поднимаясь сказал. — Резиновый ты у меня Башлыков! — Встал и, со злостью шибанув дверь ногой, вышел во двор.

Башлыков, который до этого сидел с трудом удерживая руками падающую на грудь голову, от этого стука встрепенулся и с пьяной ненавистью посмотрел на дверь. — У-у-у- ... ссука... ссадист... — потом медленно перевел взгляд на меня и словно удивился тому, что я здесь. Вы? — спросил он, как будто во всем мироздании для него, кроме Лагова,



никого не было да и быть не могло. Потом он пригляделся ко мне и, может быть, даже узнал, по крайней мере удовлетворенно сказал — Выыыы!... Вы-ы... не слушайте его... Поднял колхоз и думает ему все можно... он ведь сам на Дашку глаз положил и злобствует ссука... вот денег скоплю и увезу... Не поедет?! — вдруг рывкнул он. — Поедет, падла! Захочу и моя будет! Это вам Башлыков говорит! Это — точно. Что, не веришь? — он схватил меня за руку и глаза его помутнели от пьяной ярости. — Да я тебя! ... — Но, видимо, эта вспышка отняла у него последние силы и он начал как-то странно оседать, словно бы из него выходил воздух. Голова его почти упала на стол, он что-то еще бормотал, булькая слюной, скопившейся в углу рта, потом вдруг поднял голову, неожиданно трезво посмотрел на меня и внятно произнес. — А Лагов-то доносами в люди выбился... Сколько людей насажал... — Тут голова его тяжело упала на стол и Башлыков заснул.

— Вот сволочь! — раздался за моей спиной голос Юрия Григорьевича, — говорил же, стоит до ветру отлучиться, а он уже готов наплести хрен знает что, паценок. — Голос его был по-прежнему резок и трезв. — Уснуло, наконец, дитяtko мое ненаглядное. Ну, как говорится — баба с возу... А, впрочем, и пора нам...

— Да куда же вы поедете, — я мотнул головой в сторону Башлыкова.

— А-а, не бери в голову! Я ж полвойны за баранкой провел, получше его шоферу. Ну, на посошок что ли?! — он разлил остатки по кружкам и, не дожидаясь меня, выпил, утер рот рукавом, с какой-то странной издевкой сказал. — Благодарствуем за компанию, — взял свой пустой рюкзак

чок, так же легко поднял обмягшего, жидкого в суставах Башлыкова и повел к двери.

Я остался в доме.

Через какое-то время за стеной засипел стартер, потом "газик", нехотя прокашлявшись, завелся и Лагов, не прогревая мотора, воткнул скорость, дал полный газ и машина, подвизгивая застывшими шестернями, уехала.

Свеча догорела уже почти до конца. Лужа стеарина расплзлась по столу, затопив окурки, серебряные крышечки бутылок, рассыпанную соль и жесткие стрелы осеннего лука.

Я дунул на свечку и вместе с темнотой упал на еще теплый спальник.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Я проснулся от холода. В комнате стояла непроглядная темень и только едва заметное окно висело в темноте. Было холодно, сыро, и от этого запахи приобрели плотность воздуха. Ко всему прочему — болела голова. Я полежал немного, зная наперед, что скоро не засну.

Я вспомнил эту нелепую, бессмысленную пьянку и мне стало стыдно и за Лагова, и за Башлыкова, а более всего за себя самого. Необходимо было убрать комнату, проветрить ее, протопить печку, словом привести в порядок, очистить хотя бы окружающее меня пространство.

Я встал, наощупь нашел полку, где лежали свечи, зажег одну, потом вытянул вьюшку и водрузил на эту образовавшуюся полочку огонь. Когда я обернулся, то комната, освещенная этим идущим свысока светом, предстала передо мной во всей своей неприглядности.

Дрова действительно были сожжены подчистую. Даже запас лучины, которого мне хватило бы на несколько дней, исчез.

Я засунул в задний карман холодный фонарик, надел куртку, застегнул ее до самого горла, собрал всю грязь со стола в газету, сунул под мышку топорик, задул свечу и, неуверенно ступая в темноте, двинулся по дрова.

Я толкнул плечом дверь, она открылась, и в сенцах кто-то с шумом вскочил.

Я даже не успел испугаться, когда до меня дошло, что это Чанго. Он остался здесь. Сквозь туман похмелья я вспомнил и свист Лагова, и потом его ругань. А когда услышал, что пес просыпаясь встряхнулся, и когда увидел его смутную тень, скользнувшую во двор, я убедил себя, что сквозь пьяное небытие слышал и сопение, и сонный взлай.

Мусор я выбросил в первую же канаву.

Чуть брезжило.

Уже по-рассветному редел воздух и уgomонившийся ветер чуть слышно ползал под прилипшей к земле тоненькой полоской холодного тумана.

Деревья стояли тихо и их протянутые к небу ветки сливались с темнотой. Только незаметный отблеск мокрого ствола, да неслышимое ш-шш зависшего на паутинке листа, говорили, что с миром ничего еще не произошло.

Мы шли по обочине улицы, обходили туманности луж, проходили мимо невидимых, затаившихся в темноте домов и нужно было сохранять равновесие, потому что казалось, что идешь по гребню горы.

Странная ночь стояла над землей — она еще более округлила планету, и все, что не лежало на твоём пути было за горизонтом, тихо сползало

туда, вниз, за пределы памяти, в хлябь предчувствий.

Я зажег фонарь. Чанго, который до этого шел, наступая мне на пятки, осмелел и, поминутно останавливаясь и пригнувшись, высоко поднимая ноги затрусил впереди и чуть сбоку, у самого догнивающего на земле забора.

Тучи опустились совсем низко и плыли теперь по границе фонарного света.

Быстрые тени обжили заброшенные сады и в окнах полуразвалившихся домов заискрились острия разбитых стекол.

Я свернул к первому возникшему из темноты дому.

Оставленные бродячими актерами декорации были в ночи совсем как живые. Допревающее сено, отставшие от стен газеты, да впитывающие звуки провалы тьмы в побитых окнах, все это лишало дом пустынной гулкости, убивало короткое, звонкое, болезненное эхо оставленного людьми жилья, и горько было понимать, что дом мертв, что все это лишь ночной мираж. Но и сознавая это, было трудно ударить топором по криво висящим останкам двери, несколькими взмахами, прямо в оконных проемах, разрубить затрухлявившие поверху рамы и вытащить их вместе с навсегда сросшейся с ними паклей. Трудно было поднять руку на этот, казавшийся еще живым, дом. Днем все было бы проще, но ночью... Ночью все мы удивительно одиноки и потому-то мы так светло и беспросветно любим ночами, потому-то именно ночами переполняет нас жажда простого человеческого общения, потому-то именно ночами и решаемся мы на самые безрассудные поступки и слова, не желая видеть лжи, их вспаивающей.

Ночная церковь, невидимые, но глядящие на

тебя лики говорят нам о вере больше правды, чем речи всех толмачей мира.

И ударив топором в первый раз, и услышав глухой отзвук влажного, спаянного десятилетиями сруба, и ощутив в себе ничемную радость святотатства, я понял, почему так резко прервал меня Лагов, когда я заговорил об этой покинутой всеми людьми деревне, как о складе никому не нужных дров...

В этих пустых, пошедших прахом домах было, наверное, какое-то подобие и его прошлого. Точно так же, как кто-то эту деревню, он вероятно когда-то покинул себя, чтобы стать таким, каким он стал. И как всякий, уверовавший в свою цельность человек, он выстраивал себя прошлого по образу и подобию себя нынешнего, не допуская никаких разночтений. Но, видимо, иногда его мучила ностальгия — тоска по себе покинутому.

Бревно подгоняется к бревну труднее, чем кирпич к кирпичу, и держатся бревна без всякого цементного раствора, срастаясь телами, потому, зачастую, и стоят дольше и разрушаются не по одиночке...

Так думал я, когда невидимая в темноте влажная труха летела из-под топора и, казалось, застревала в плотном и таком же влажном воздухе. Шум, который я производил, тоже задерживался здесь — на расстоянии вытянутой руки, и все эти мокрые щепки и звуки образовывали вокруг меня какой-то странный кокон, внутри которого добывал я себе тепло, разрушая чью-то, неведь когда и кем прожитую жизнь.

Много ли тепла можно добыть таким способом?!

Дым.

Дым и редкие, словно тоже отсыревшие языки

пламени. Вот и все, чего мне удалось достичь в эту ночь...

Я накормил Чанго, разрешил ему забраться в ноги спальника и пригасил свечу. Туманно-красный свет клубами вырывался из печки и, потеряв яркость, лентами втягивался назад. В комнате стало совсем темно и тревожно.

Понимая, что дровяная труха будет тлеть до утра, унося в низкое небо остатки тепла, я все же разделся и, потеснив бесчувственное тело раскинувшегося пса, забрался в мешок. Чанго недовольно рыкнул сквозь сон, а потом, видимо проснувшись и устыдившись собственной наглости, немного подвинулся и даже перестал сопеть.

Внезапно — тень часов и тепло собачьего тела в ногах, и чуть жестяной трепет полиэтиленовой пленки в окне, и темнота, обжившаяся в сознании, все это вдруг прояснило мою память, словно я пролежал в неподвижности века, и взвесь случайных встреч и разговоров, наконец, осела во мне, уступив место горькому сеньябрьскому воздуху настоящих воспоминаний.

Видимо меня все же задел вчерашний разговор, потому что вначале показалось мне, что я видел эту Дашу раньше, а подумав так, я заставил себя вспомнить и обстоятельства, при которых это произошло.

В тот наш приезд в Пустые Вторники кончилось у меня курево. Это событие совпало с неодолимым желанием Анатолия (пастуха, который летовал здесь) выпить. В то утро он даже не выгнал из загона своих удивительно глупых телок, а под их голодное мычание ходил взад и вперед по пустой деревне, видимо в поисках уважительной причины для поездки в центр. Хотя, судя по всему, никакого сверхспешного дела придумать он не мог, он

пригнал с выгона старого мерина по кличке Мальчик и привязал его к изгороди недалеко от телеги, подготовив тем самым все необходимое для успешного проведения операции. Известно чем, но неизвестно когда кончились бы его мучения, если бы я не подошел к нему и не пожаловался на отсутствие сигарет.

Услышав это, он мгновенно достиг вершины самопожертвования. Ради того, чтобы у меня были сигареты, и я мог бы спокойно продолжать заслуженный отдых, Анатолий готов был пойти на любое прегрешение. Ни слова не говоря, он пошел в избу, вытащил оттуда сбрую и начал запрягать унылого Мальчика.

— Будет тебе курево! — заверил он меня и уже начал подгребать в передок сено, когда я попросил взять в центр и меня. — Хлеб был уже на исходе да и какой-нибудь местный деликатес, вроде окаменелых пряников, мог приятно разнообразить наше тушеночно-вермишелевое меню.

— Давай! — только и сказал он, и спустя несколько минут мы уже погребально тряслись по заросшей лесной дороге. Путь был недалекий, но скоростные качества нашего мерина остались в его легендарной молодости, и поэтому ехали мы довольно долго. Видимо в предвкушении близкой выпивки обычно говорливый Анатолий был немногословен. Он не хотел разминивать свое почти святое ожидание на мирские слова и только иногда легкий, как майский ветерок, мат, размыкал его суровые уста, и тогда Мальчик взбрыкивал и делал несколько шагов чуть быстрее обычного.

Молчал и я.

Поездка в телеге (по крайней мере первые три-четыре километра) для любого городского жителя, наверное, своего рода откровение.

Чавк! — копыта по неподсохшей грязи, ветви деревьев в ритме гипнотического транса, проплывающие около самого лица, да извечный, доносящийся еще из книг сентименталистов скрип несмазанной телеги, все это имеет для горожанина свою непреходящую ценность.

Но все же доехали.

Доехали и остановились у сельпо. Знакомство с ассортиментом и оптовые покупки заняли у меня не более пяти минут, и я был удивлен, когда, выйдя, увидел уже пьяненького Анатолия. Весь его вид говорил, что ждет он меня очень долго и от этого ожидания весь истомился. Причину его томления я понял чуть позже, когда, по-заговорщически заслоняя телом, он вытащил из передка почти не начатую четвертинку, заткнутую грязной еловой шишкой.

— Сейчас заедем к моей бабе, — как о чем-то уже давно решенном и обговоренном сказал он. — Это недалеко. Тут. Рядом. А потом и к телухам.

Поняв, что спорить бесполезно, я вернулся в магазин, оправдывая затаенную надежду Анатолия, обзавелся там своей четвертинкой, чем несказанно возвысился в его глазах, и мы поехали.

Жена Анатолия жила в соседней деревне, и хотя деревня эта, судя по всему, была действительно очень недалеко, но дорога столь упорно игнорировала кратчайшее расстояние между двумя точками, что под конец я совсем запутался и оставил смутную надежду, не дожидаясь Анатолия, уйти в Пустые Вторники своим ходом.

Но все-таки приехали...

Проехав половину деревни, мы свернули в проулок. Анатолий, не разнуздывая, привязал Мальчика к покосившейся разнокалиберной ограде, приподнял калитку (она была без петель),



прислонил ее к забору и мы вошли. Пошли мимо распахнутого с могильной приветливостью сарая, мимо стоявшего почти посреди тропинки сортира (видимо, хозяева считали, что все должно быть по пути), прошли мимо крыльца, обогнули подворье и еще одно крыльцо, завернули за троицу крохотных сараюшек, аккуратно обошли привольно раскинувшуюся помойку и, наконец, пригнувшись, вступили в частные владения Анатолия Ивановича. Мы по очереди споткнулись об недонесенный до свалки эмалированный таз, повернули куда-то налево, и тут я совсем ослеп и, ощущая протянутыми руками, висящие на стенах, почему-то мокрые тряпки и скользкие корыта, осторожно шаркая ногам, и медленно шел за радостным хозяйским матюжком.

Меня трудно удивить грязью и бесхозяйственностью сельского жилища, и хотя я не скажу, что все то, что я увидел в доме Анатолия меня потрясло до глубины души, но это было сильно...

В метре от меня за фанерной переборкой заплакал грудной ребенок, потом раздалось торопливо баюкающее — а-а-а, скрип коляски, все стихло, а мы все шли, шли и шли.

Казалось, что дом этот с каждым поколением людей, его заселявших, разрастался, выбрасывая хилые побеги пристроек и времянок. У меня возникло ощущение, что скоро мы попадем в самый его центр, в суть его, и в этой тьме лицом к лицу столкнемся с той самой первобытной силой, которая и заставляет людей размножаться, не думая о честности и целесообразности этого деяния, а лишь полагаясь на инстинкт, который потом все равно назовется общественным долгом.

Но все же вынырнули мы в современном "годовом кольце" где-то на краю дома.

— Ну, мать, принимай гостей! — крикнул куда-то во тьму Анатолий и распахнул дверь.

Грязный свет окон нехотя освещал оклеенные пожелтевшими газетами стены, стол, хранивший следы последних трапез, давно небеленную русскую печь с потеками сажи от вьюшки, лавку около нее, заставленную грязными чугунами и алюминиевыми мисками. Тряпка, закрывавшая вход в комнату, судя по всему уже долгое время использовалась как полотенце.

В кухне никого не было.

— И где это ее всегда черти носят?! — сказал Анатолий, и задумчиво выругался. В его голосе услышал я ранее не замеченную мной важность, какую-то хозяйскость. Он подошел к столу, сдвинул пустые консервные банки, селедочки скелеты, уже звонкую горбушку хлеба и поставил на освободившееся место четвертинку, которую неизвестно когда умудрился вынуть из телеги. Я присовокупил свою.

Мне послышалось какое-то движение в соседней комнате и я кивнул Анатолию — что там?

Он просунул голову в проем и сказал кому-то.

— Чего хоронишься, когда кличут, семь на восемь? Мать где?

— Кто ее знает... — ответил ему слабый девчочный голос. — Не сказывала.

— Ну и лях с ней! Собери-ка нам, чем подавиться! — приказал Анатолий и, уже обращаясь ко мне, пояснил. — Старшая.

Я притулился на краешке стоявшей у стола скамьи, а Анатолий взял со стола два стакана, не дожидаясь появления младшей хозяйки, ополоснул их в ведре с водой и, стряхивая мутные капли на земляной пол, вернулся к столу. — Ну, по махонькой, чтоб не пересыхала...

Я сидел и никак не мог понять не только зачем я здесь нахожусь, но и как умудрился сюда попасть. Эдакое полубредовое состояние. Не хотелось ни пить, ни, тем более, есть, а только бежать, бежать, бежать... Но Анатолий разлил водку, глухо звякнул своим стаканом о мой, торопливо выпил и сразу же ткнулся носом в рукав, не забывая однако делать мне знаки, чтобы я не отставал. Но не успел я взять в руки стакан с одиноко плавающей в водке хлебной крошкой, как занавеска на дверном проеме отодвинулась, и на кухню, кутаясь в накинутое на плечи легкое пальтецо, вышла худенькая девочка лет тринадцати.

Большими... огромными грустными глазами она посмотрела мне в лицо и тихо, отчетливо выговаривая каждую букву, сказала "здравствуйте!".

Прежде чем она повернулась к печке и начала медленно, как-то безнадежно и бесцельно передвигать нехитрую кухонную утварь, я заметил прядь волос, прилипшую ко влажному лбу, и сухие, обметанные лихорадкой губы.

— Добрый день, — сказал я, когда она уже повернулась и на худой спине сквозь тонкую потертую ткань пальто проступили похожие на ростки крыльев лопатки. — Но, может быть, не стоит ничего делать — мы сейчас пойдем... — и обращаясь к Анатолию добавил тише. — Она ведь совсем больна. Ей лежать надо...

Но Анатолий, как почти все люди много и по-черному пьющие, уже хмелел, падал в сладковатую истому глубокого опьянения.

В деревне я все время видел его спокойным, но сейчас хищная складка легла от крыльев носа к углам рта, раздулись ноздри и загорелись яростные щелки глаз.

— А-а, всегда она б-больна, — зло сказал он и прихлопнул ладонью по столу. — Сказал, закусить надо, значит надо! Неделями отца родного не видят... Я на них горб ломаю, а они... — и он выругался.

Девочка у печки только испуганно громыхнула посудой и еще ниже опустила голову.

В этот момент дверь распахнулась и на пороге возникла невысокая женщина с блестящими глазами и непомерно большими руками.

— Здравствуйте, — сказал я, поднимаясь, и только тут заметил, что так и держу в руке стакан.

— Явился не запылится! — сказала она мужу, не обращая на меня никакого внимания. Она сделала несколько шагов в комнату, и только тогда я заметил, что она сильно пьяна. — Угощаемся, значит, — сказала она, подходя к столу. — Может быть и хозяйку уважите, люди добрые?! — Тут она словно впервые заметила меня и почти пропела. — О-о, да у нас гости... День добрый! — и неожиданно улыбнулась какой-то ласковой и в то же время озорной улыбкой. Хмель ее словно прошел и стало видно, что она еще мила и что ей, скорее всего, не больше тридцати.

— Да вы пейте, пейте! — сказала она, уже обращаясь к Анатолию, не переставая однако косить карим глазом в мою сторону. — Пейте, да мне налейте.

Я выпил, и дрянная водка местного разлива проскрежетала по пищеводу, все время норовя остановиться, но усилием воли я протолкнул ее в себя, с трудом сдерживаясь, не бросил, а поставил стакан на стол и сразу, незнамо откуда, в моей руке оказался мягкий ломоть ржаного хлеба.

Дожевав, я зачем-то представился —

— Валерий!

— И услышал в ответ.

— Мария!

Она переложила уже наполненный стакан в левую руку, и я ощутил неожиданную мягкость и податливость ее ладони.

— Маша, — сказал я, кивнув головой в сторону все еще тихо возящейся у печки девочки, которая, казалось, боялась привлечь к себе внимание, сделать резкое движение, неосторожно звякнуть. Ее пальтишко сползло и уже чуть держалось на левом плече, но она не поправляла его, а только скособочивалась, все выше поднимая плечо. — Маша, — сказал я, кивнув головой в сторону девочки, — она, верно, больна, ей бы лечь лучше.

— Ничего, — сказала Маша, залпом выпила водку, резко выдохнула в поднесенный ко рту кулак и продолжала уже со злостью в голосе. — Ничего. Замуж выскочит — никто не пожалеет.

В комнате наступило молчание, и только редкие тихие шорохи доносились от печки. Я встал и подошел к девочке. Услышав мои шаги, она замерла, а когда я дотронулся до нее, вздрогнула и отшатнулась. Я поправил сползшее пальто и почувствовал, что она вся дрожит.

— Иди-ка, ложись, — сказал я, не снимая руки с ее плеча. Она неожиданно качнулась ко мне и повернув втянутую в плечи голову одними губами сказала.

— Не надо... лучше не надо... так лучше...

Огромные, болезненно сияющие в полутьме грязной избы глаза, и ее доверчивость, и дрожащее тело под накинутым на июльское платье пальто, все это было не отсюда, не из этой не похожей на жизнь жизни. Я понял, что ее необходимо спасать.

Но как! Что я мог сделать? Увезти ее в Москву. Но она еще слишком мала, чтобы ее отпустили.

Да даже если бы и отпустили, то что бы я там стал с ней делать? С комнатой не проблема, но как бы отнеслись к этому мои домашние и та женщина, которая ждет меня в пяти километрах отсюда в пустом доме, среди пустой деревни?

Я подумал об этом и мне захотелось уйти.

Но сразу уехать не получилось. Девочка, правда, вскоре все же ушла, так ничего и не приготовив — не из чего. Но было выпито еще предостаточно, и смутно помню, что я даже вставил в бессвязный разговор фразу о том, что я мог бы увезти их старшую в Москву и помню, как радостно Мария уцепилась за это предложение —

— А что?! А что?! Конечно! Чего девке здесь гнить?!

Но и захмелев, я не стал решительнее и, вспомнив свои сомнения, смял этот разговор, тем более, что все были уже достаточно пьяны и сделать это было несложно. Я пообещал прислать какие-то книги... И еще что-то обещал...

Только поздно вечером тронулись мы с Анатолием в обратный путь. Светила луна. Вскрапывал застоявшийся Мальчик, и в такт его шагам со скрипом покачивалось небо и прилепленные к нему вершины елей.

Про книги я забыл.

Все это возникло в моей памяти как-то сразу и целиком. Так бесшумная вспышка зарницы на одно мгновение освещает все окрест, так точно и ярко запечатлевается на сетчатке весь этот мир, что уже потом, в темноте можно рассмотреть каждое дерево, каждую травку, словно весь этот мир есть уже часть тебя...

И рассматривая в темноте осенней ночи эту поездку за сигаретами, я никак не мог назвать ту тихую девочку Дашей, никак не мог совместить то ощу-

щение внимательной чистоты с циничными словами Лагова.

”Нет! — подумал я. — Конечно же я ошибаюсь. Тогда была не Даша, а ее сестра-погодок”.

И тогда я почти вспомнил, а потом и заставил себя вспомнить, что Мария говорила еще об одной дочери, которая была то ли у бабки, то ли еще у кого-то из родственников. Я убедил себя в этом, и хотя от этой убежденности добра в мире не прибавилось, мне стало спокойнее. Мне стало легче, потому что, в таком случае, я этой Даше не видел и, следовательно, уж совсем никак, никогда и ничем не мог ей помочь. Ни тогда, ни теперь...

Внезапная тишина возникла в доме и вначале я не мог понять, что произошло — все тот же дымный свет с шипением слабо сочился из печки, все так же мерно дышала в ногах собака, все той же затухающей жизнью жил за окном осенний сад. Ничто не изменилось, но у меня возникло странное чувство опасности.

Вдруг показалось, что кто-то стоит за дверью, почудилось, что чья-то большая тень закрыла окно и кто-то внимательно смотрит на меня сквозь мутную пленку, и не просто смотрит, а *видит* меня. Чуть ярче вспыхнули мокрые дрова и стало ясно, что свет навечно заперт в этой комнате, что, отражаясь от этой страшной тени в окне, он возвращается в комнату и плотным сиянием заполняет ее, и что это будет продолжаться, пока, задушенный собственным светом, огонь не умрет.

Полиэтиленовая пленка в окне вдруг ровно, лунно засветилась, и я понял, что кто-то неслышно отошел от окна, чтобы присоединиться к тому, стоявшему за дверью, и я был уже почти готов кричать, разбудить пса, и кинуться в свободное

теперь для бегства окно, когда понял истинную причину своего ужаса.

Как почти всегда бывает в подобных случаях, причина эта была проста и вполне материальна — часы, которые я не заводил с самой Москвы — встали. Видимо я уже настолько сжился с их ритмом, что, потеряв его, словно сорвался в пропасть безвременья.

Только поняв это все, я ощутил и зуд вспотевших ладоней, и горьковатый привкус вязкой слюны; и, хотя в комнате было и без того темно, словно устав от примерещившегося мне слепящего света, я закрыл глаза.

Наверное чувство опасности еще не совсем покинуло меня, потому что я не стал вылезать из мешка и копать в рюкзаке, где лежал ключ от часов.

Да, старые вещи требуют обстоятельности и размеренности в обращении с ними. Даже вот эти часы предлагают тебе вначале встать, взять (с каминной полки?!) ключ, открыть стеклянную дверцу и завести отдельно ход и отдельно бой. А если вдобавок нужно переводить стрелки, то и это вам придется делать столь же спокойно, не торопясь. Вы тронете стрелку и услышите — день... день... день... Только после последнего удара можно передвинуть минутную стрелку еще на четверть часа вперед для того, чтобы услышать очередное — день... И так вам придется пройти за часами все упущенное вами время и, таким образом, потерять еще несколько минут жизни. Но потерять ли?!

Видимо, с этими мыслями я и заснул, потому что сон мой, который я по обрывкам восстанавливал утром, сон мой был странен и вроде бы не имел никакого отношения ни к моей теперешней, ни к моей прошлой жизни.



Но, может, и будущей?!..

... Был день...

Я подпрыгнул и, сдирая кожу, вцепился в толстый, колючий, темно-серый от времени пеньковый канат, и поехал вниз, и, оттолкнувшись от холодного каменного пола, опять взлетел, и потом, когда опять начал спускаться, почувствовал, как накрыла меня теплая тяжесть колокольного рева, и звук этот медленно стекал с колокольни и, затопляя овраги и пригибая к земле редкую желтую траву, плыл туда, к насквозь пустой деревне, чтобы задребезжать мутным стеклом и в холодных темных сенях звякнуть дужкой пустого, покрытого желтоватым налетом ведра.

Я звонил, пока на севере не засветлело и не показался лимонный краешек первого самого маленького солнца. Пока не рассвело я взмывал вверх и падал, и опять взлетал, продираясь сквозь густой, вязкий звук большого колокола.

И когда от звука этого стало невозможно дышать, и заболели сведенные мышцы лица, и плечи налились этим звуком и онемели, я разжал руки и, подвернув ногу, упал на выложенный темным шершавым камнем пол звонницы. Но боли я не почувствовал — многопудовый язык в последний раз, уже еле-еле, задел колокол и, когда этот отголосок умер, опустилась и придавила меня к сырому камню Тишина.

Тишина. Плоская и безлика она была всюду и не было ничего, что могло бы оживить ее. Ни крика птицы, ни шума листьев.

Ничего.

Тишина.

И только три солнца медленно и бесшумно вос-

ходили над вымершей планетой. И бился у самого горла комок сердца.

Так присидел я, пока тройная тень колокола не напозла на меня, и холод камня не пронизал насквозь. Только тогда я встал, и резкая боль прошла от лодыжки под коленной чашечкой вверх по бедру и тупо разлилась по ключице. Я чуть не потерял равновесие и, уже почти падая, ухватился за висевший у виска канат.

И именно тогда, стоя в странной и неудобной позе, услышал далекий, высокий колокольный звон.

— Эхо... — подумал я.

Но звук не затихал. Напротив, он усиливался. Где-то в километре от этой одиноко взбежавшей на пригорок церквушки, здесь — на этой Земле, кто-то раскачивал чужое зеленое небо, и этот "кто-то" был, быть может, последним живым человеком на безнадежно пережившей третью Мировую войну Земле, это в его руках рвал густую вязкую тишину высокий чистый звук маленького колокола.

Припадая на подвернутую ногу, я сбежал по гудящей винтовой лестнице и, спотыкаясь, и уже не чувствуя боли, вначале пошел, а потом побежал туда, где в навсегда застывшем воздухе бился древний призывный сигнал тревоги.

Я вбежал в деревню и тяжелый смрад гниения почти остановил меня, но тут звук колокола внезапно оборвался и ужас одиночества толкнул меня вперед. Я перешагнул через вздувшийся труп огромной дворняги с уже отстающей жирной шерстью и побежал туда — в конец деревни, где в свете солнца сияла свежесмытая крохотная церковка.

Коротко и громко проскрипела лестница. Я по пояс высунулся из люка и замер.

Боком ко мне, на полу, подогнув под себя ноги и наклонив свое худенькое тело вперед, сидела девушка.

Около ее головы еще змеилась веревка от колокола.

Она медленно повернула голову. Глаза ее были закрыты.

— Уходи... — сказала она. И сорвавшись в крик. — Уходи-и-и! — упала на свежeweыскобленные доски, и тело ее, выламываясь и слабея, тепло ударилось и затихло.

Медленно проскрипели ступени...

Был день...

... и была ночь.

И тогда я зажег спичку и отшатнулся.

Прямо на меня смотрели неестественно большие, чуть раскосые глаза. Прозрачная желтоватая кожа обтягивала острые худые скулы и это придавало лику Иисуса какую-то скорбность.

Догорая, спичка обожгла мне пальцы, я отбросил ее и в последней вспышке заметил две несгоревшие свечи справа и осторожно, раздвигая протянутой вперед рукой глубокую липкую тишину, пошел к ним. Я задел свечки рукой, и они мягко, почти беззвучно упали. Тогда я присел на корточки и начал шарить по полу, но так ничего и не нашел. Я сделал небольшой шаг вперед, и протянутая рука коснулась чего-то мягкого. Еще не понимая, что это, я провел рукой дальше, правее и когда пальцы ощутили короткий жесткий волос, и когда эта щетина попала под ногти и, жирно приклеившись, осталась в руке я понял, что передо мною чье-то давно уже мертвое тело, и бросился назад, и упал, и, держа руку на отлете и тряся ею, поднялся, и вновь рванулся назад, но двери не было, и я бросался на стены и сшибал образа, и они рушились,

падали, и уже гремели под ногами отскочившие оклады, и я уже порезал руки, но, не чувствуя боли, бился о стены и ничего не мог поделать с переполнявшим меня ужасом, и тогда почувствовал, что задыхаюсь, и закричал, и сам не заметил этого, и эхо, отразившись от высоких сводов, расплющило меня по полу, и я уже только с хрипом поднимался, бросался вперед, и разбивал лицо, и падал, и опять бросался, пока, наконец, не обрушилось на меня тяжелое дубовое распятие...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

И был день...

Хороший день — ясный.

От вчерашней хмари не осталось и следа, и если бы не холодная сырость выстуженного за ночь жилья, да не ощущение тупой усталости от ночного кошмара, если бы не все это, кто знает, как бы он сложился — этот день. Никто не знает. Может быть, точно так же. Скорее всего, так же. Именно так.

После завтрака — все той же холодной тушенки и коричневой воды из заросшего колодца, — после завтрака, а встал я в тот день поздно, после завтрака Чанго отправился куда-то по своим собачьим делам, а я послонялся по дому, зачем-то слазил на чердак, где догнивала старая солома и больше ничего интересного не было, потом прошелся по деревне, без особого усердия подбирая все годное для топки, а придя в дом и вывалив у печки свой небогатый улов, прилег. Но в комнате было холодно и поэтому, лениво думая, куда же запропастился Чанго, я вышел на улицу, сел на завалинку и закурил, привалясь спиной к стене и подставив лицо странно теплему для октября солнцу.

Ветер стучал ветвями одичавших яблонь и иногда выдувал откуда-то патлы сухой травы, но завалинка была защищена от ветра, и если бы не догоравший на горизонте лес, можно было представить себе, что еще только март, конец марта. И хотя я не люблю весну, но в этом безразлично-добродушном состоянии мне было почему-то приятно так думать.

Сквозь закрытые веки чувствуешь каждое находящее на солнце облачко. Какой-нибудь почти невидимый клочок тумана заставляет тебя раздраженно морщиться и, скривившись, приоткрывать один глаз, чтобы убедиться, что это неудобство только временное и скоро пройдет. И оно действительно проходило, и тогда праздные мысли расцветивали сознание, как масляное пятно воду...

Наконец-то, я отдыхаю... — говорил я себе и с удовольствием произнес бы это вслух, если бы не лень... — Только бы из-за этого пса никто больше сюда не пожаловал со своими водками, любовями, старыми склоками и новыми обидами. Везде одно и то же... Скучно.

Не знаю, сколько я просидел так, потому что часы, которые я завел, так и не переведя стрелок (откуда мне знать во сколько я проснулся?!), вызванивали нечто совершенно непотребное, но солнце все же совершало свой быстрый осенний лёт по небу, и вскоре заглодало.

Я встал, и словно другой мир открылся передо мной — напряженные линии осенних деревьев, замкнутые в своей усталой боли краски безвольных, отработавших свое полей и, словно чье-то будущее, — звонкий мазок озимых там далеко, за уходящим в низину уже почти голым перелеском. И еще я увидел, как по высокой, выросшей

за несколько месяцев стерне, по-щелячьи взбрыкивая задом, мчит ко мне Чанго.

Подошло время обеда.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дрова загорелись не сразу. Печь за ночь совсем выстыла и, прежде чем радостно заворковал огонь, мне пришлось изрядно наглотаться дыма. Чанго отдыхал, лежа у печки и устроившись так, чтобы его почти прижатого к полу носа не достигал дым, но уже сочившееся из поддувала тепло все же достаточно хорошо согревало подставленный бок. И хотя ему пришлось несколько раз чихнуть, он, видимо, считал свое нынешнее место вполне комфортным, и, как только пламя взметнулось и серьезно загудело в трубе, присоединил к этому гуду свой басистый храп. Над его мокрой шкурой появился легкий пар. Маленькая комнатка нагревалась довольно быстро и в ней было тихо и совсем уютно.

Я решил, что этот первый настоящий день отпуска необходимо отметить обедом из трех блюд. Меню составилось само собой — на первое — суп "Московский", на второе — "гречневая каша с копченостями", на третье — кисель "малиновый". Но ввиду того, что с посудой у нас были некоторые затруднения, пришлось вначале сварить первое и второе, съесть их, и уже затем, после краткого отдыха, вымыть котелок и вскипятить в нем воду для киселя. Так что волей-неволей у нас одновременно получились обед и полдник, и, следовательно, мы перешли на четырехразовое питание.

Но покой наш был недолог.

Не успели мы как следует прийти в себя после

непривычно сытного обеда, как на улице слышался уже знакомый мне шум мотора.

Безвольно лежащий Чанго приподнял голову, двинул лопухами ушей, а затем быстро вскочил, но к двери не побежал, а только, наклонив голову, вслушивался, как у самого крыльца, в последний раз взревев, заглох мотор, как с лязганьем хлопнула дверца разбитого по проселкам "газика" и как кто-то глухо постучал по влажному дереву. Чанго слушал все это, не изъявляя особой радости, — не бил хвостом и не взвизгивал, как это делал бы на его месте любой другой пес, слыша приближение хозяина (в том, что приехал Башлыков, я не сомневался) — Чанго не проявлял никакой радости, а только смущенно переминался с лапы на лапу.

— Дома есть кто? — раздался на улице голос Башлыкова.

Только тут Чанго слабо вильнул хвостом и оглянулся на меня, словно спрашивая, что ему делать, но я только развел руками (мол — что я могу тебе посоветовать...) и крикнул

— Да, заходите! — и на пороге возникла худая фигура Башлыкова.

— Здравствуйте! — сказал он. — Простите за вторжение, но я на секундочку, только за псом... — И замолчал.

Он еще не совсем оправился после вчерашней попойки. Землисто-серое лицо, мешки под глазами, которые были видны даже сквозь очки, да еще то, как он ежесекундно облизывал покрытые белесым налетом губы, все это говорило о том, что ему действительно худо.

— Заходите, — сказал я и, не вставая, махнул рукой, предлагая ему сесть.

— Я ненадолго, — вновь повторил он, но все же прошел и сел, положив ладони на худые, торчав-

шие сквозь дешевую ткань брюк колени, и вновь замолчал.

— Ну, как вы вчера добрались? — спросил я не столько из вежливости, сколько потому, что мне совсем не хотелось расставаться с Чанго, и я думал потянуть время, чтобы выработать хоть какой-то план. Да и сам Башлыков был мне еще не совсем понятен. Если люди, похожие на Лагова, мне встречались, то башлыковых я в своей жизни еще не наблюдал, и поэтому, хотя и считал возможным после вчерашнего разговора относиться к Сергею Петровичу с легким презрением, был он мне интересен. Таких людей трудно заметить в суетливой героике городской жизни, потому, что юрии григорьевичи сами бросаются в глаза и остаются в памяти, не дожидаясь, пока их найдут и поймут. Эти люди — своеобразные полюса, вокруг которых почти само собой образуется силовое поле Добра или Зла — в данном случае не имеет значения. Они всегда — сила, и поэтому само обращение их к добру или злу часто чисто случайно и не столь важно для них, поскольку это лишь — плацдарм для действия. А действие уже само по себе расценивается ими, если и не как Добро, то как нечто безусловно положительное.

Примерно к такому классу отнес я тогда Лагова. Хотя сам не только не принадлежу к этому типу, но и довольно часто в своей жизни страдал от неумения приспособиться к их кипучей деятельности, вопреки всему этому, отношусь я к ним с чувством опасливого уважения. Правда лишь тогда, когда их действия не очень меня тревожат. Иногда я им завидую. Но только — иногда. Например, когда я в очередной раз понимаю, что удел санитарного врача, который безболезненно и безхлопотно мне достался — призвание не мое, хотя



истинного призвания, наверное в силу все той же, свойственной мне рефлексивной инертности, я, дожив почти до тридцати лет, определить так и не могу.

Люди же типа Башлыкова равно удалены от добра и зла, они — дети не Света и не Тьмы, а полутьмы, полумрака, полусвета.

Так думал я об этой паре, опираясь лишь на вчерашнюю полупьяную беседу.

Вот тебе — ”не судите, да не судимы...”

Возникни они поодиночке, я бы наверняка удовольствовался самым обыкновенным интересом благовоспитанности, но они были двуедины и это уже вносило какие-то коррективы в образы и того, и другого. Но какие?..

Лагов с его хирургическим, а скорее даже патанатомическим умом даже в глубине души не мог надеяться найти в Башлыкове единоверца, хотя при той вере, которую он исповедовал, сообщник был ему необходим.

Отсюда следовало, что кого-то из них двоих я не рассмотрел, не понял. Кто-то из них сложнее, или же иррациональнее (что в общем одно и то же) той схемы, которую я им предложил.

— Ну, как вчера добрались? — спросил я и вдруг понял, сколь издевательски может прозвучать мой вопрос для Башлыкова. Но Сергей Петрович не увидел в моих словах ничего для себя обидного.

— Нормально, коли живы, — только и ответил он и вновь смолк.

Чанго, до этого так и стоявший посреди комнаты, видимо почувствовал спокойную интонацию в голосе Башлыкова и лег, глубоко вздохнув.

В комнате наступило предпрощальное молчание, а я никак не мог нарушить его, потому что почти любой мой вопрос, любое мое слово неминуемо

наложилось бы на вчерашние слова Лагова и могло обидеть Сергея Петровича, что совсем не входило в мои планы. Получилось так, что Лагов вроде бы исчерпал всего известного мне Башлыкова. Следовательно, оставалась только одна тема, столь же нейтральная, сколь и увлекательная — разговор о болезнях.

— А почему вас из армии комиссовали? — спросил я. — Простите, что я об этом спрашиваю, но по специальности я врач, так что подобное любопытство мне вроде бы по штату положено.

— Почки, — тихо ответил Башлыков. — На ноябрьские из города в часть возвращался... навеселе был... в какую-то яму с водой провалился... пока выбирался... да пока перекурил это дело... пока до части дошел... ну, застудил в общем. Ничего интересного... — Он явно хотел безо всяких разговоров отмучиться положенные по деревенскому этикету пять-десять минут и уйти. Скорее всего так бы оно и было, если бы я не полез к нему со своими предписаниями. Я популярно изложил ему, сколь опасны почти все болезни почек, как тяжело лечатся, и т. д.

Я говорил, почти не думая о смысле того, что я говорю, и наверное, перегружал свою речь специальными терминами, случайно запавшими в память за время бесконечных институтских зубрежек. Пока я вещал обо всех ужасах, подстерегающих почечных больных, Башлыков сидел, как соляной столб, позволив себе, однако, положить ногу на ногу. Узконосый штиблет был заляпан жирной глиной, что совершенно не гармонировало с его некогда законченными формами. В этом штиблете было что-то неприятно привлекающее внимание. Я долдонил этому башмаку о воздержании и бессолевой диете и не сводил глаз со вздувшейся на ме-

сте мизинца кожи, и постепенно терял ощущение реальности всего происходящего. У меня иногда бывают такие состояния, когда я говорю со знакомыми своих знакомых об их больных тетушках. В конце таких бесед я обычно перестаю понимать кто я, где я и что за организм сидит передо мной. Очень неприятное чувство...

Поэтому, поймав себя на этом отстранении, я ни с того, ни с сего сказал —

— Так что беречь себя надо, — и такими словами закончил лекцию.

— Беречься?! — переспросил Башлыков. Он, оказывается, слушал меня. — Побережешь тут себя, как же... На такой работе, да с таким начальником...

— Так почему же вы тогда на другую машину не перейдете? Шоферов ведь наверняка не хватает, — сказал я, вспомнив слова Лагова. — Или вообще из этих краев двинуть куда-нибудь?.. Работу ведь всегда можно найти, — как всякое незаинтересованное лицо, я был горазд на советы, подразумевающие коренную ломку образа жизни собеседника.

— Работу-то можно... да и уеду, наверное, куда-нибудь... потом... Потому что не только ведь работа... — и замолчал.

”Да и кому ты там такой нужен?!” — закончил я про себя. Он помолчал немного, а потом продолжал:

— Вот вы вчера видели, как он со мной обращается, так вам, наверно, странным покажется, только не знаю я — смогу ли я без него... ведь как сюда из детского дома приехал... вернулся, значит, так сразу к нему... у него жил...

— Вы в детском доме росли? — ясным голосом спросил я.

— Там. До шестнадцати лет... Я же... социальное происхождение-то мое — "из врагов народа". Отца посадили — он здесь председателем был... план не вытянул... дом наш в том конце Вторников был... Мать померла... А после войны и никого из родственников не осталось... Ну, и детдом... Не самое плохое место... А как паспорт получил, обратно сюда вернулся. Уж и не знаю зачем... Дом наш сгорел... ну, пустой стоял, вещи все растащили, а мужики там забегаловку устроили... распивали, значит, вот и спалили...

Порыв ветра ударил в стену дома, и пленка на окне прогнулась в комнату. От нее шел какой-то лоснящийся свет, и я на мгновение представил себе, что это — живот — живот Будды. Пленка ритмично подрагивала, и услужливое воображение живо подsunуло мне огромного, толстого, голого, сидящего перед домом на холодной, мокрой земле мужика, с прилипшим к левой отвисшей, почти женской груди осиновым листком. Мужик хихикал... Но порыв ветра спал, живот втянулся, осиновый лист упал на землю, и я вновь услышал нудный голос моего визави —

— ... а когда приехал, так и деревня уже пустая была — пять старух всего и жило-то. Вот Лагов меня к себе тогда и забрал. Тоже хитрый... Вначале, когда работать устроился, вроде, как у него комнатенку снимал... а потом так вот тихо-незаметно денщиком стал.

— Ну, уж...

— Да-да... Я и сейчас ведь в его доме живу. При нем. Только денег за постой не плачу. А-а! скучно все это. Поеду я, — он встал и сделал шаг к мгновенно вскочившему Чанго.

"Если бы ты знал насколько все это скучно", — подумал я и, понимая, что необходимо действо-

вать, сказал: — Да, Сергей Петрович я еще вчера думал у вас спросить — может быть вы продадите мне пса, ведь если он от вас так бежит, то замучитесь вы здесь с ним, кроме маяты ничего путного, а в городе же все...

— Не-ет, — протянул Башлыков, — не продам. А то, что бежит — так молодой еще. Вот когда года два стукнет — остепенится. Да и вы в Москве сможете получше купить, а здесь... Нет, не продам, вы уж не обижайтесь... — Он вынул из кармана пальто ошейник с поводком и надел его на безучастно стоявшего пса.

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал он. — Пошли, Чанго.

Они вышли из комнаты, а я так и остался сидеть в углу, пытаюсь вызвать в себе хотя бы чувство сожаления, но кроме ленивой апатии во мне ничего не было. Я подумал, что сейчас было бы неплохо закурить, но так и не закурил, — для этого надо было встать.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Только поздно вечером, когда уже давно стемнело, я вспомнил, что забыл узнать у Башлыкова точное время и теперь вынужден буду слушать бестолковый перезвон запутавшихся часов. Я подумал об этом, поймав себя на том, что считаю удары. Пробило пять, и мгновенное, но болезненное ожидание следующего — тень! — и наступившая вместо него раздражающая тишина вывели меня из состояния каталептического покоя.

Мне захотелось довести эти бессмысленные, хотя и объяснимые, пять ударов до полного абсурда и, разбирайся я хоть немного лучше в данной мест-

ности, я наверное сунул бы в задний карман последнюю, взятую для растираний бутылку водки и направился бы в гости к Лагову или же к Толику, и кончилось бы это путешествие скорее всего среди совершенно незнакомых мне людей, к которым я подошел бы случайно, только чтобы узнать у них дорогу. В Москве я обязательно куда-нибудь бы рванул, но здесь... Здесь уже спала природа, и ее ровное дыхание чуть слышно трогало мою избушку, и просто было представить себе пустынные дороги, погасшие окна и уже почти невидимое движение теплого воздуха над впаянными в низкое небо трубами... Просто было представить себе это и, завершив картину накрапыванием вездесущего дождика, оставить мысли о подобном путешествии.

Но тикание часов в темноте да холод из так и не прикрытой двери, да долгожданная, пришедшая, наконец, жалость к себе — все это требовало хотя бы движения.

Кончилось, однако, тем, что, уже выйдя на крыльцо, я сломал полусгнившую ступеньку и, вскрикнув от внезапной боли, подвернув ногу, упал.

Но, когда ощутил влажную землю под рукой, когда почувствовал, как быстро промокают джинсы, как плавными толчками спадает в голеностопе боль, почему-то совсем успокоился и, ощущая, что как-то криво улыбаюсь, на трех конечностях вполз в дом.

Ощупав в темноте ногу, я понял, что ничего страшного не произошло — самое заурядное растяжение. Боль тем временем почти утихла, и я доковылял до двери, закрыл ее поплотнее, так и не зажигая света, разделся (правда все же стоя на одной ноге) и лег. Несмотря на чуть слышную, и поэтому какую-то сладкую, расслабляющую боль,

сон пришел не сразу, и пока мозг мой не слился с темнотой, не стал ею, и не оживил ее первыми, еще реалистическими сновидениями, проплыли передо мной какие-то воспоминания. Даже не воспоминания, а скорее ощущения воспоминаний, настроение их — московское чувство тревоги вспыхнуло желтым листом на черном асфальте и тут же погасло, словно было освещено лишь фарами проехавшей машины. Еле слышный мотив подышал в щеку и совсем затих, оставив лишь след от прикосновения волос, и рука сама собой стерла со щеки эту безымянную память, и тогда пришлось немного погрузиться и осознать дом во всей его неубранной пустоте.

— Ну! — сказал я себе и, когда влажное, глухое эхо отразилось от голых стен и закачалось по комнате, вспомнил собаку. Не Чанго, а ту *мою* собаку и потянулся за сигаретой, чтобы погоревать с комфортом, но в избушке было прохладно, и мурашки, пробежавшие по голому плечу, сразу толкнули меня в пропасть сна.

Сон был тяжелый, как мычание умирающего в темноте немого... Я несколько раз просыпался, смотрел в чуть уже заплывший светом потолок и потом вновь уходил в липкую темноту долгого осеннего сна. Несколько раз просыпался, но все так же рассветно чуть серел потолок и казалось, нет и не будет конца этой ночи. И конца действительно не было, потому что, когда встал (наверное, было совсем уж поздно) света в комнате было столько же, сколько и несколько часов назад.

Ровный обложной дождь зарядил, судя по всему, еще с ночи, потому что, когда проснулся, все окрест уже давилось влагой, а дождь продолжал гвоздить землю, словно желая стереть с ее лица и без того редкие и неброские краски октябрьских будней. И

это ему удавалось — унылый однотонный пейзаж открылся передо мной, когда я остановился на пороге дома, не решаясь сделать шаг в этот даже на взгляд холодный, безразличный поток льющейся с разверзшихся небес воды. Но поворот головы — и яркость желтого листа, плавающего в железной бочке у дома, и отливающая соляровкой влага, стекающая через черно-красный край, вдруг стали для меня возвращением.

”Пора домой!” — подумал я и почувствовал, что так и не сумел обжить эту избушку и что эти дни были всего лишь игрой. Игрой в возвышенное одиночество. Игрой в единение с природой. Игрой, игрой, игрой... Я понял, что на самом деле мне вовсе не нужны были ни эти грязные пустые комнаты, ни этот, наверное, действительно красивый лес, ни та прекрасная грусть воспоминаний, к которой я себя все это время толкал. Да. И воспоминания были мне совершенно ни к чему, просто потому, что их у меня и не было. Разве знание того, что в твоей жизни то-то и то-то произошло, разве можно назвать это воспоминаниями?!

”Когда-то...” Какое прекрасное слово. Именно оно придает безразлично-отвлеченному называнию фактов — ”да, это было”, — оттенок заинтересованности.

Когда-нибудь я смогу сказать об этой поездке: ”Бывал я когда-то в одной пустой деревушке. Да так она и называлась — Пустые Вторники”. Тут даже можно остановиться, потому что уже в этом начале будет скрываться нечто, указывающее на то, что был я не простым наблюдателем, человеком глубоко посторонним, а... Впрочем, стоит ли повторять?!..

Жизнь проходит мимо нас. Мы проходим мимо жизни. Никто не в обиде.



Домой! Домой!..

Я повернулся, и пустая комната встретила меня спокойно, сказала мне — "Прощай!" и выставила напоказ все мои так и не прижившиеся вещи, и я мгновенно возненавидел ее за это безразличие, и так саданул дверью, что сквозь щелистый потолок посыпалась сенная труха. Домой!

Но, как я помнил, "кукушка", на которой мне нужно было добираться до большой железной дороги, ходила здесь только по утрам и значит у меня было еще очень много времени. Слишком много. Словно мстя комнате за ее непривязчивость, я не стал укладывать рюкзак, оставив это подбивание "бабок" на вечер или на ночь.

Я наобум перевел часы на три пополудни (позже быть не могло), потом поковырял хлипкой алюминиевой ложкой тушенку и под непрекращающийся шум дождя за окном заснул. Да и что еще было делать?

Несколько раз просыпался, натываясь все на тот же серый свет сумеречного дня, и вновь засыпал, чувствуя, что спать уже не хочу. Но какая-то нервная зевота сводила челюсти — верный признак скорого возвращения. Домой...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Проснулся я от голода.

Мысль о завтрашнем отъезде удивительно точно вписалась все в тот же нескончаемый дождь, и я, зная, что они мне все равно не пригодятся, зажег сразу пять свечей. Скорее ради соблюдения ритуала прощания, чем по необходимости, я достал последнюю из привезенных мною бутылок, вытащил из рюкзака баночку марокканских сардин и исланд-

ской селедки, которые взял с собой на случай неведомо какого торжества.

Может быть, ради именно этого?!

Потом я растопил печь и, решив сделать для пущего удовольствия небольшую паузу, вынес бутылку на дождливый холод. Теперь нужно было подождать, пока она хоть немного остынет, а за это время открыть консервы, которые, как я знал по московскому опыту, можно вскрыть скорее автогеном, чем теми ключами-гвоздиками, которые прилагаются к каждой банке. Но, решив сделать все с подобающими в подобном случае ритуалами, я не стал корезить их ножом, а, закручивая ключ в винт и стараясь не ухнуть все деликатесы на себя, все же сдюжил эти импортные негораемые ящички.

Печка уже раскопчегарилась вовсю, и тепло плотно наполнило комнату. Свечи обгорели и, утвердившись на первых потеках стеарина, пустили к потолку сероватые ленты копоти. Торжество приближалось к кульминации.

Немного дурачась, что иногда очень люблю делать в одиночестве, я подошел к двери, одернул фрак, поправил голубую розу в петлице, откашлялся в кулак и с громовым — "Ее величество королева Великобритании Елизавета Вторая!!!" — распахнул дверь и отшатнулся, потому что там, в темноте, кто-то был. Ослепленный праздничным сиянием свечей я не увидел, а скорее почувствовал присутствие стоявшего в полуметре от меня человека.

Не знаю, сколько мы простояли не двигаясь, приходя в себя. Подобные минуты обычно выпадают из памяти, хотя именно в эти мгновения иной человек способен совершить массу великих глупостей. Но, несмотря на этот паралич, глаза мои

постепенно привыкли к темноте, и я различил вросшую в стену женскую фигуру.

— Не пугайтесь, — сказал я еще не совсем уверенным голосом, и вдруг представил себе ощущение этой, видимо, уже давно стоявшей в темной тишине женщины, когда перед ней с воплем — "Королева Елизавета!!!" — распаивается дверь заведомо пустого дома и на пороге возникает согнувшаяся в полупоклоне, заросшая, неделю не мытая и нечесанная личность. Давясь нервным, истерическим смехом я смог все-таки сказать: — Проходите, пожалуйста, — и отступил в комнату, но женщина не двигалась с места.

Как-то уже совсем нервно двигаясь и, видимо представляясь ей явным сумасшедшим, я почему-то сказал:

— Я вполне нормальный. Не бойтесь, — а потом заржал в голос.

Когда я кончил кататься меж свечей и постанывая вытер слезы, увидел, что женщина стоит на пороге, с явной тревогой наблюдая за моими ужимками.

А, когда я встал и еще не в силах разогнуться просипел, — Так же и умереть можно! — она чуть испуганно улыбнулась.

Ей было не больше девятнадцати лет. Темно-синее драповое пальто, которое в Москве проходило бы под лозунгом "миди", на ней выглядело именно так, как оно и могло выглядеть — перешитое из чьего-то старого, чему "сносу нет и не будет". Залепленные грязью сапоги, темная косынка, да руки, зябко засунутые в когда-то нормально, а сейчас слишком высоко пришитые карманы, да еще чуть склоненная набок голова, да шум дождя за ее спиной, все это мгновенно оборвало мой идиотский смех и наполнило меня внезапной жалостью.

— Ну, входите же! А то холоду напустите, — сказал я, но когда увидел, как сошла улыбка с ее лица, как она бросилась закрывать дверь, пожалел, что сказал это.

— Извиняюсь, — сказала она, медленно выводя плавную цепочку звуков. — Я не знала, что здесь кто-то есть. А когда уж свет увидела, обратно воротиться поздно... думала, постою в сенях, обогреюсь только чуток. Я уж идти хотела, а тут вы... Я и уйду сейчас, — она вдруг улыбнулась, на этот раз уже насмешливо, и спросила. — Я вас не очень напугала?

— Да нет, — ответил я, взглядываясь в ее лицо. — Наверное, не больше, чем я вас.

— Наверное, — спокойно согласилась она, и я понял, что со всеми своими королевами елизаветами, дурацким хохотом вовсе не кажусь ей сумасшедшим, но даже чудачком, человеком со странностями. Я почувствовал в ней редкое по нашим временам доверие к незнакомому человеку, доверие, основанное на том, что ты живешь в этом же самом мире. На одной земле.

И я очень обрадовался, что устроил этот пир столь вовремя.

— Прошу вас! — сказал я, радушнейшим жестом предлагая ей весь дом. — Обогрейтесь немного — так нельзя. Я сейчас, — и чуть не коснувшись ее, вышел во двор.

Когда я, покачивая в пальцах голенькую бутылку, вернулся, она стояла у печки, словно играя с ней в ладушки. На темной ткани пальто даже при свечах был хорошо замечен уже закутившийся парок.

Когда я вошел, она повернула голову и мокрый платок, чуть державшийся на затылке, сполз совсем, открыв застывшие влажными блестящими

прядями волосы. Она каким-то странным, презрительно-отсутствующим взглядом посмотрела на мокрую бутылку, потом мне в лицо и снова повернулась к печке. И тут мне показалось, что я где-то уже видел ее...

— А я вас, кажется, знаю, — сказал я наугад, остановившись посреди комнаты.

— Я вас тоже, — ответила она, не поворачивая головы, и вновь замолчала. Ей, видимо, все было ясно. Хотя эта девушка не совмещалась в моей памяти с той больной дочкой Анатолия, я все же спросил:

— Вы та девочка...

— Та.

Я постоял еще немного и, так и не найдя продолжения этому странному разговору, направился к столу. Тут я пожалел, что все консервы уже открыты — молчание становилось невыносимым, а нарушить его или (тем более) пригласить ее к столу я почему-то не мог. Не найдя себе лучшего занятия, я принялся очищать нагар со свеч, размышляя, почему в присутствии этой женщины я не могу сказать какую-нибудь банальнейшую глупость. Я не говорун, но всегда мог с коротким смешком выдать из себя несколько фраз. С ней же пришло ощущение, что на тебя пристально, хотя, наверное, доброжелательно, смотрят, слушают, оценивают. Впервые за последние годы у меня появилось чувство обязательности своего существования. Я очутился во внимательном мире, я... Я бы наверное мог еще долго развивать это подобие мысли, накручивая себя на сентиментально-влюбленно-романтический лад, но ...

— У вас сегодня праздник? — Только тут я заметил, что она смотрит на меня, и окончательно смешался.

— Да нет. Так... скучно стало. Вернее, грустно... Ну... — и смолк.

— А-а... — словно не слыша меня сказала она. — Понятно. Грустно. Скучно. Делать нечего. Знакомая песня. Ну... — она тряхнула головой и светлый веер волос упал на грудь. — Ну, что ж вы стоите. Ешьте. Пейте. Я сейчас пойду. Не обращайтесь на меня внимания. Пейте.

— А почему вы говорите так, словно я вас обидел или сделал вам что-нибудь нехорошее? — Ни с того, ни с сего я разозлился.

— Вы? Плохое? Да ну, разве вы можете?!..

— Допустим, могу...

— Ну и что же вы можете мне сделать?

— Неважно. А все-таки, почему вы так говорите?

— А, не берите в голову. Я со всеми так говорю. Привычка. А вас-то что задело?

— Да нет, ничего. Ни-че-го...

— Ну вот и хорошо. Отдыхайте. — Она сняла с плеч платок и началаправлять волосы под пальто.

— Подождите... — сказал я. — Подождите. На улице такая мразь. Подождите... может быть растянет. Ну скажите, куда вам спешить? Доберетесь еще до дома. Все одно — ночь. Хуже не будет.

Она ничего не ответила и продолжала собираться, но в ее движениях почувствовал я трещинку неуверенности и продолжал заколачивать клинья.

— Надеюсь, вы меня не боитесь... Право, это было бы глупо. Просто вот уже почти неделю живу я здесь, и, — соврал я, — ни одна душа сюда не заглядывала. Собака какая-то прибилудилась, да и ту забрали. Так что...

— Собака? — она замерла, глядя мне в глаза. — Какая такая собака?

— Да я плохо в породах разбираюсь, но, кажется, охотничья.

— Чанго?

— Не помню точно... — я уже твердо стоял на тропке непроверяемого вранья, — кажется, да. А что?

— Да нет, ничего. Так просто спросила. У нас здесь других нет. Остальные — кабыздохи... — она неожиданно сняла пальто и пристроила его на бечеве у печки, села на краешек чурбака, стоявшего у стола, и сказала совсем другим, усталым голосом. — Ну, ладно. Посижу немного, ежели так. Спешить, правда, некуда. Все — одно.

Тут я засуетился. Начал ополаскивать кружки, доставать совершенно ненужные бумажные тарелки, бесцельно двигать по столу черствый хлеб и жалкую роскошь импортных яств, но эта моя активность не смогла нарушить усталого молчания, поселившегося в комнате.

— О чем вы думаете? — спросил я, когда было уже невозможно ничего делать, не повторяясь.

— Так, ни о чем, — ответила она, не поднимая головы, и повторила, словно проводя черту под этими словами. — Ни о чем...

— Ну, тогда прошу к столу!

Я уже совсем оправился и вошел в роль бодрячка-ловеласа и решил играть ее до конца, стараясь не смотреть на себя со стороны и никак не оценивать свое поведение.

— Я не хочу.

— Ну, что вы! Полноте. Ведь не могу же я трапезничать в одиночку, когда прекрасная дама сидит рядом и грустит.

— Вы со всеми так?.. — Она подняла на меня глаза.

— Как так?

— Так ломаетесь, или только со мной?

Я тут же прокис и выпал в осадок.

— Нет... — ощущение женщины, пустого дома и предстоящей ночи вдруг ушло и появилось самое опасное — чуть жалостливое чувство братства, желание позаботиться, раскрыться, я продолжал уже совсем другим тоном. — Ну не надо... Простите меня. Сардины хотите? — Я взял баночку.

— Только немного.

— К сожалению много и нету. — Я положил ей всего понемножку и взялся за бутылку. — Вам налить?

— Нет-нет, не надо.

— Ну, немного. Так. За компанию. Я ведь не алкоголик какой, в одиночку не пью.

— Не надо. Пожалуйста, не надо. Я не хочу. Честное слово.

— Ну, чуть-чуть. Можете не пить. Пусть просто постоит, — и я налил ей четверть кружки, которая так и осталась нетронутой.

Но она была всерьез голодна, и было удивительно приятно ухаживать за ней и смотреть, как она ест, как от плавности и естественности движений словно бы удлиняются ее совсем некрасивые пальцы, как в руках ее проявляется врожденное чувство ритма, такта, красоты.

Горящие свечи. Дождь и холод за окном. И она, чуть настороженная и почти прозрачная. Призрачная. Такими нам кажутся в свете вечернего ожидания красивые женщины.

Все это было удивительно цельно, и потому точно вошло в этот вечер, в мое прощальное настроение. — И зачем мне домой? — подумал я. — К кому? К той, чужой? Бог ты мой, как все это ненужно. Никчемно. Пустынно... Зачем мне возвращаться?



Так думал я, а передо мной сидела голодная принцесса, и ее уже просохшие волосы распустились и светились в свете свеч. И она иногда поправляла этот нимб движением длинным и плавным, как завиток табачного дыма.

— "Откуда ты, девочка?", — подумал я, а сказал: — Что же вас занесло сюда? Да еще в такую непогоду.

— А вам-то что? — Она видимо почувствовала мое настроение и была готова отразить любую атаку.

— Нет, ничего. Просто так сказал, — сидим, как истуканы... Простите.

Я был смиренней агнеца.

— Нет, это вы меня простите: никак я не пойму, как с вами говорить... Из дома я ушла... Отец опять запил, лютует, вот я и ушла. Думала, здесь никого нет... Я обычно здесь хоронюсь... Да вот вы...

— Ну, я завтра уезжаю, так что можете быть спокойны... И простите, что занял ваш замок.

Я почувствовал, что опять начал паясничать, но паясничать уже по-другому — добрее, и она поняла это.

Она улыбнулась, грустно наклонив голову и тихо сказала.

— Ничего. Ничего. Одной здесь совсем нехорошо.

И тут страх, который, как видно, определял и окрашивал наши поступки, ушел и вместо него появилась простота человеческого общения, простота, не требовавшая слов, простота взгляда, жеста, позы.

— Вам завтра рано вставать?

— В пять. На ферму. Это тут. За леском.

— Как же вы встанете без будильника? — во мне заговорил горожанин. — Я боюсь, даже уверен, что не проснусь так рано.

— Да я сама встану. Я привычная.

— Кстати и меня разбудите, — я говорил это перетаскивая спальный мешок в другой угол. Во сколько завтра "кукушка" идет?

— Кукушка?! Рабочий, что ли?

— Да.

— Полседьмого.

— Мне бы на него успеть.

— Так и успеете.

Я полез в рюкзак за чистым вкладышем, заправил его в спальник и продолжал говорить, чувствуя, что говорю не то, что надо, не то, что хочется. — Вот здесь вы будете спать. Застегнетесь и никакой холод вам не страшен. Только если вдруг ночью проснетесь — не пугайтесь, вы не связаны и не в гробу...

— А как же вы? Давайте лучше я буду на сене. Я уж так спала.

— Я тоже не первый день живу. И потом, вы все-таки хоть и незваная, — тут я позволил себе некоторую фривольность, — но гостя. Так что надо слушаться самозванного хозяина. Не спорьте со мной.

— Спасибо, — только и сказала она, став внезапно совсем маленькой...

Я очень хотел спать, но лежа под телогрейкой на тощем коврикe пыльного сена и чувствуя каждую щербинку на досках, я боролся со сном, ожидая услышать ее голос, но до меня доносилось только ровное дыхание.

Я кашлянул, нарочито громко поворочался и даже чертыхнулся, но ее дыхание было все столь же ровно. Она спала. Убедившись в этом, я поблагодарил ее за это (странный все-таки мы народ — мужики...) и тоже заснул.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Проснулся я от холода.

Было еще совсем темно.

По тому, как быстро иссякал охвативший меня вал холодного воздуха, и по осторожному, мышинному писку крыльца, я понял, что моя гостя уже встала, сбросил телогрейку и вскочил.

Когда она вернулась, я уже поджег газету и понемногу, чтобы не убить пламя, подбрасывал в голубоватый, обваливающийся огонь щепки.

— Уже встали... — во тьме ее лица не было видно, но в голосе ее послышалась мне спокойная улыбка. — А говорили не проснетесь...

Я уже хозяйничал вовсю.

— Сейчас будет чай. Вы пока посидите... И накиньте телогрейку — холодно, наверное.

— Нет, — сказала она и, судя по звукам, села.

Я вытащил из печки фыркающий фиолетовым огнем прутик и затеплил свечу. Пока пламя набирало силу, в комнате было темно и как-то нервно. Словно достигшее высшей точки ожидание поселилось в доме, и мы подкармливали его каждым жестом, каждым несделанным движением, каждым сказанным и несказанным словом. И нетерпение и ожидание перемены росло и было необходимо обозначить его словами, потому что уже перехватывало дыхание, и тогда я спросил, облизнув губы.

— Вам не кажется, что должно что-то случиться?

— Да. — Ее голос прозвучал неуверенно и отрешенно. Потом она напряглась и на полувздохе шепотом. — Кажется...

И тут мгновенно я почувствовал, что она рядом, что от нее еще пахнет сном, почувствовал ее беззащитность и свою, и вдруг, бросив, зажатый до

этого в руке прутик на пол, опустил ладонь на ее голову, ощутив маленькое, даже сквозь волосы горячее ухо.

И она поняла меня, поняла этот нежный страх, переполнявший меня, и не отодвинулась, не скинула руку, ничего не сказала, а только на мгновение прикрыла глаза, а потом осторожно, словно удерживая мою ладонь, подняла голову и посмотрела мне в глаза, и хотя лицо ее было в тени, и смотрела она из ночи, из тьмы, и я мог только догадываться или чувствовать то же самое, что чувствовала она...

И я наклонился и прикоснулся щекой к ее щеке. Ненадолго. На один лишь вздох. А потом резко, уже чувствуя, что немножко играю, отодвинулся и сказал каким-то неестественным придушенным голосом:

— Прости.

Она молчала.

Мне почему-то стало стыдно за это прикосновение, и я, подогревая воду, смахивая со стола крошки, доставая сахар, делал все это, чувствуя ненужность и лживость своего пребывания здесь. Несколько раз я пытался что-то сказать, но каждый раз спотыкался об очевидные пошлости и глупости рвущихся с языка фраз и не издавал ни звука. Наверное это было очень заметно. И хотелось мне только одного — домой. Домой, домой, домой!..

Вот сейчас попьем этот треклятый чай, распростимся и все, — думал я и, видимо, суетился, злясь на себя, на нее, на весь этот мир.

Но рядом со мной была женщина, и она сказала только одну фразу:

— А почему вы не бреетесь? — и мое смущение ушло, освободив место щенячей благодарности.

Я остановился. Опустил руки. И только улыбнулся.

Улыбнулась и она, наклонила голову и спросила —

— А?

Я сделал шаг, чтобы еще раз коснуться ее головы, взять ее руки в свои (они должно быть холодны), но она сказала:

— А что чай? — и я вновь замер, а потом радостно сказал — Черт возьми! — и дотронувшись пальцем до ее плеча, принялся разливать чай.

Потом мы сидели за столом, ножом (чайных ложек у меня, естественно, не было) по очереди размешивали сахар в кружках, оплывали свечи, мы говорили о каких-то пустяках, о вчерашнем дожде, о том, какая будет зима, мы по очереди склонялись над пустеющей банкой с тушенкой, за окном светало, мы говорили и смотрели друг на друга, и возникшее между нами что-то старое и доброе не уходило, дождь за окном совсем стих и казалось было слышно, как холодный туман поднимается из недр земли, мы были близки, так близки, как могут быть люди только свежевлюбленные или (добавлю я уже сейчас) не знающие друг друга и от этого прощающие все, что может быть достойно осуждения, прощающие самое страшное — неизвестное прошлое.

Стоял январь. Под подушкой лежал самый желанный подарок, а на подушке у самой щеки грелась шоколадина, которая к моменту пробуждения будет совсем мягкой и когда, сидя в постели, разберешься со всеми подарками и, сложив их на стоящий около постели стул, наконец встанешь и, шлепая босыми ногами по восковой прохладе паркета, выйдешь на кухню, где ждет тебя торт и

мама, то и руки, и вся твоя физиономия будут в шоколадных потеках, и ты, еще не до конца проснувшийся, сядешь, покачиваясь, на табурет и будешь смотреть соловыми глазами, как накрывается первоянварский завтрак и слизывать с пальцев уже не такой вкусный шоколад.

— Ой, я же уже опоздала! — она вскочила, наскоро повязала платок и стала натягивать пальто, все время попадая правой рукой за оторвавшуюся подкладку. Я взял у нее пальто, помог ей надеть его и, продолжая движение, запахнул его у нее на груди и задержал руки. Она откинула голову и прижалась затылком к моей груди (какая же ты маленькая...), и я наклонил голову и ощутил теплую колючесть пересушенного за ночь платка, а через секунду она словно прошла сквозь мои руки и пошла к двери. На пороге она обернулась.

— Спасибо, — сказала она. — Счастливо вам добраться до дома.

— Спасибо, — ответил я, уже не понимая о каком доме она говорит. Куда же мне теперь ехать?! И пытаюсь задержать ее. — Вот прощаемся... а так и не познакомились... Я хочу сказать — даже не знаем, как друг-друга зовут. Я — Валерий.

— А меня — Даша.

— Даша?! — удивленно переспросил я и пожалел об этом, потому что она сразу замкнулась, словно выросла.

— Да, Даша. А что — не нравится? — голос ее прозвучал резко и неприветливо.

— Ну, что вы, — сказал я, стараясь не смотреть ей в глаза и чувствуя лживость собственного голоса. Я чувствовал себя предателем за то, что выслушал и, как теперь видно, поверил словам Лагова, что потом, не зная ее, думал о ней так грязно, и я

было уже хотел извиниться, когда вдруг представил, сколь глупо и оскорбительно это будет выглядеть и смолчал, и вдруг заметил ее насмешливый взгляд и покраснел.

— Счастливого пути, — сказала она и вышла, тихо притворив за собой дверь, а я так и остался стоять посреди комнаты.

Когда я вышел на улицу, ее уже не было видно.

Разъяснивало.

Я грустно, не сходя с крыльца, помочился и побрел обратно в дом.

Чтобы успеть на поезд, нужно было быстро собираться, но я сел на чурбак, налил себе одной заварки и, так и не тронув ее, просидел минут десять. Хотелось спать, да и Москва вдруг потеряла для меня свою привлекательность. Куда? Зачем? Что там, что здесь — какая разница? Ведь и здесь, и там — я — не сильный, не слабый, не честный, не лгун...

Подобные мысли перемежались волнами сонливости. "Дерьмо", — говорил я себе и тут же чувствовал, что это мне глубоко безразлично. Кончилось все тем, что я перетащил спальник на его прежнее место и лег. Но заснул не сразу, потому что поймал себя на мысли, что если Лагов говорил про Дашу правду (все ведь может быть), то вел я себя, как тринадцатилетний пацан. Мне стало почему-то жарко, и я с надеждой подумал, что, может быть, запой у Анатолия затянется еще денька на два и тогда Даша обязательно придет. Может быть, даже сегодня вечером...

Тут я в последний раз сказал себе: — Ну и сука же ты, Валера, — и заснул.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ожиданием был наполнен для меня этот день.

Школьником, сбежавшим с уроков, чтобы увидеть даму сердца из соседней школы, слонялся я по домику, по саду, по деревне.

Раздражаясь из-за пустяков, я прибрался в доме. Я натащил дров, с первобытной яростью выламывая их из постанывающих от этого изб. Я дважды протопил печь. Я вымыл посуду. Я сделал все, что мог сделать, и больше так не мог.

Высокое серое небо не предвещало вечера, безбожно врущие часы показывали лишь одиннадцать, и я уже жалел, что не собрался утром и не уехал, но жалел, четко осознавая, что все-таки не уехал и уехать сегодня уже не смогу.

Чувствуя, что хлюпающая в кедах вода способна довести меня до белого каления, я натянул сапоги, взял ружье, патроны и, пройдя вдоль деревни, вышел к овражку, начинавшемуся сразу на задах, и по его краю дошел до леса.

Я не охотник, хотя никогда не могу отказать себе в удовольствии пострелять в тире какого-нибудь ПКиО. У меня твердая рука, и я неплохо стреляю, так что, когда мне попадается не очень разбитое ружье, я ловлю иногда завистливые взгляды, сажающих в молоко мужиков и их спутниц.

Лес словно вымер и, пройдя с километр, я щелкнул предохранителем и бросил ружье за плечо. Теперь я шел спокойно, отмечая, что за несколько дней непогоды листья совсем опали, и лес теперь просматривается чуть ли не насквозь и от этого кажется, что вот-вот выйдешь на широкую просеку, на большую поляну, в поле. Но стволы плыли и плыли за спину, а конца им все не было и не было.



Лес засасывал одинокого путника вглубь, заманивал, ничего не обещая кроме ожидания свободы, раскатистого простора, и я проваливался в этот лес и он уже властвовал надо мной, над моими настроениями, и, стараясь не отпустить меня, одним порывом низового ветра пытался поднять бурю листву, затирая и без того едва заметные мои следы. Еще чуть влажные осины придавали воздуху синеватый оттенок, и постепенно озноб ожидания сменился во мне тихой, беспричинной радостью. Глупое, улыбочивое настроение...

И шел, и шел, не запоминая дороги и не думая о том, как буду возвращаться, шел так, словно навсегда уходил в эту природу, словно там, за этим лесом ждало меня что-то такое, к чему я шел всю свою путаную жизнь.

И мысли мои были похожи на лицо человека, жующего травинку, — нездешние, невнимательные мысли.

Внезапный, рвущийся на меня треск в кустах и чья-то метнувшаяся тень заставили одним маховым движением вырвать из-за спины ружье и нажать на оба курка сразу. Но все та же звонкая тишина стояла над лесом. Предохранитель. Большим пальцем я сбросил его и, за мгновение до дуплета, увидел мчащегося ко мне Чанго. И тогда, не знаю уж как, я успел рвануть стволы вверх и плотный, чуть раздвоенный грохот прокатился по лесу и на землю посыпались оббитые выстрелом обломки веток.

Но Чанго не испугался, а только резко остановился и удивленно посмотрел сначала вверх — куда же я стреляю? — а потом на меня — зачем же я стреляю?..

Я не глядя отшвырнул еще дымящееся ружье в сторону и опустился на землю. Весь этот переход

от умиротворенного бездействия к выстрелам произошел мгновенно и, только почувствовав на щеке дыхание встревоженного пса, я понял, что же все-таки произошло, закурил, не вынимая сигареты изо рта, дожег ее до конца и тогда, почувствовав, что листва подо мной абсолютно мокрая, встал.

Чанго, который, как и все собаки, не переносил табачного дыма, с отсутствующим видом сидел в стороне, но, когда я, наконец, поднялся, он ударил хвостом по земле, вскочил и подошел ко мне. Даже сквозь джинсы я почувствовал влажное тепло его тела, почесал его между ушами, отчего он начал блаженно щуриться и как-то приседать.

— Больше я тебя никому не отдам, — сказал я, наклонившись к его уху. Он промолчал.

Наконец я подобрал ружье, вытащил кисло пахнущие гильзы, забросил их в кусты, и мы тронулись. Уже смеркалось, но не успел я подумать, что мы заплутались, как, прорвав заслон густого орешника, мы вывалились на уже знакомую мне дорогу на Пустые Вторники. Видимо, гуляя я дал неплохого кругаля...

И только сапоги заскользили по размокшему проселку, как я почувствовал голод и усталость. До Вторников было всего-ничего — километра полтора. Чанго бежал впереди, аккуратно обходя разливы луж и изредка заглядывая в кусты.

И когда вышли из леса, и увидели открывавшуюся нашим домиком деревню, оба обрадовались. Чанго припустился галопом, а я просто прибавил шаг.

Я вдруг понял, что эта избушка стала наконец для меня чем-то родным. Радость этого определения, закрепления себя в пространстве была столь мгновенна и ярка, что я даже не покопался в себе

и не выяснил, кому я в этом больше обязан — Даше или Чанго.

И когда мокрые и замерзшие все-таки пришли в еще теплую избушку, и поели, и покурили... стало совсем хорошо...

Стемнело, но я не зажигал света.

Бесчувственное тело Чанго валялось у остывающей печки, сигареты были чуть влажноваты, но вкусны, ветер сухо пел за окнами, а я лежал, пуская дым в невысокий, но уже тающий во тьме потолок, и думал о том, что мне стало неважно придет или же не придет Даша — я нашел себя, на какое-то время я избавился от постоянно довлеющего надо мной одиночества, и этого мне было вполне достаточно. Я подумал, что смысл нашей суетливой городской жизни очевидно нелеп, но достаточно сентиментален — выходя из своего дома мы придумываем себе бездомье и пускаемся искать свой дом, обманывая и вовлекая в эти поиски друзей и женщин. Впрочем, они сами с радостью идут на этот обман, потому что он им тоже свойствен... Все это заставляет нас говорить почти честные, но от этого не менее прекрасные слова и жить так, что наше пребывание в этом мире приятно этому миру, потому что он любит веселых, бездомных и нетребовательных людей, любит, ибо в их поведении есть та, пусть и ненастоящая, простота бытия, которая не позволяет оглянуться и задуматься, а зовет и бросает вперед. Романтика городских будней.

А Даша?

Я вдруг понял, что, приняв, я и ее сделал "горожанкой", приписав и ей нашу неустроенную скуку познания.

Неправда. Ложь.

Вечно пьяные отец с матерью, восемнадцать подобных лет за худенькими плечами, и бесконечное пространство русских полей, за которое трудно уцепиться неизощренной мыслью, все это действительно похоже на ту самую настоящую трагедию, которая у нас — простых, веселых и бездомных людей, за просто уничтожается вопросом — "ну и что?!"...

Я подумал, что виноват перед той тринадцатилетней девочкой в легоньком, наброшенном на плечи пальто, виноват за то, что оставил ее здесь, в этом, требующем абсолютного (не детского) внимания мире, и не только оставил, но и забыл о ней. Сколько же истрачено сил, — думал я, — сил, которые, возьми я тогда ее с собой (с той, другой, ведь все равно ничего не получилось), сколько сил не было бы истрачено впустую на борьбу с бытом и хамством, и какую прекрасную форму могла бы принять эта открытая чистота, которая и сейчас сквозит в каждом ее движении...

Хотя... Хотя уже не такая и открытая, подумал я, вспомнив ее настороженный взгляд и напряженную фигуру. Тут я понял, что жду ее прихода и просто, словно кроссвордом, развлекаю себя подобным философствованием.

Да, я ждал Дашу. Ждал, хотя мне было немного не по себе от нашего утреннего прощания. Ждал.

Но прошло еще не меньше часа, прежде чем раздался скрип крыльца. Потом, судя по звукам, она отскребала грязь со своих резиновых сапог, а потом короткий стук задетой плечом щеколды возвестил о том, что она идет в дом.

Чанго уже давно стоял около двери, еле слышно, почти на ультразвуке постанывая от нетерпения, и в сереньком, случайно оставшемся в комнате свете мелькание его хвоста сливалось в одну светлую плоскость. Не успела дверь открыться,

как он бросился вперед, помог ей распахнуться и исчез во тьме. Раздался слабый крик и мягкое падение тела.

Только тут до меня дошло, что она (кто же еще?!) шла в пустой дом, а если и могла допустить мое присутствие, то ни сном, ни духом не ведала, что там может быть собака, и тогда меня сорвало с лежбища.

— Не бойтесь, он не тронет, — с этими словами я остановился на пороге. Из темноты доносилось какое-то шуршание, сопение, вздохи и мокрое хлопанье языка.

— А я и не боюсь, — раздался из темноты странный, незнакомый мне до этого голос Даши.

Я вернулся в комнату, зажег свечу и, заслоня пламя рукой, вновь вышел в сени. Даша сидела у стены, обхватив руками неожиданно большую собачью голову и плакала, плакала тихо и спокойно, плакала так, как будто только что не случилось что-то страшное, чего она ждала, а Чанго вылизывал ее ухо и часть шеи.

Я понял, что все утешения сейчас — ни к чему, и поэтому просто сказал:

— Ну, пошли в дом. Ишь, расселись...

Но они посидели еще немного, потом с тяжелыми вздохами оторвались друг от друга, встали и зашли в комнату. В руках у Даши была клеенчатая сумка, из которой высовывался край ржаного кирпича.

— Что, опоздал на поезд? — спросила она, подходя к столу и водружая на него сумку.

— Нет. Просто раздумал уезжать.

Она бросила на меня быстрый внимательный взгляд и начала стягивать пальто.

— А я опоздала, — сказала она, судя по всему не очень сожалея об этом. — Бабы крику подняли. И

что они такие голосистые... — Говоря это, она бросила пальто в угол, вслед за ним полетел платок, а потом из сумки появилась черная, даже на вид тяжелая буханка хлеба, кусок желтого сала, цибик чая, несколько луковиц, кулек с леденцами и... четвертинка.

— А это зачем? — спросил я, а Даша тем временем уже открывала вьюшку, держа в руке пучок заготовленной мной лучины. Только горожане разжигают огонь, полагаясь на неверное тепло газеты, сельские жители делают это вернее.

— А так... — она чиркнула спичкой, дала ей загореться и только тогда поднесла огонь к прозрачным пластинам дерева. — Одной тут иной раз так тошно бывает... хоть вой. А выпьешь немного — поплакать сможешь, — она сунула запыхавшую лучину в печку и начала подкладывать дровяную мелочь. — А... пустяки все это... не бери в голову. Кушать хочешь?

Она стала хозяйкой, и лежавший Чанго не спал, как обычно, а положив на лапы голову, внимательно смотрел, как она растапливала печь и собирала на стол. Впрочем, собирать было почти нечего. Не мог же я предложить ей сварить все тот же суп "Московский"?! Почему-то действительно не мог... Но тушенку все же открыл, и она вывалила ее в миску, покрошила в нее лук и поставила в печку разогреваться. Не был забыт и Чанго. И хотя он недавно ел и наверняка не был голоден, но он подошел к миске и с некоторым, может быть, даже показным достоинством выкушал свое хлебово до дна. Это действие, видимо, окончательно истощило его душевную энергию, потому что он, как подкошенный, рухнул на пол и мгновенно заснул.

— Вот и все, — сказала Даша, вынув из печки еду и присев у стола.

Я убрал Дашину четвертинку обратно в сумку, и достал свою вчерашнюю, только начатую бутылку.

— За встречу, — сказал я.

Она наклонила голову и тихо сказала: — Только чуток.

Той уверенности, с которой она пять минут назад хозяйничала, уже не было и передо мной вновь сидела девочка с тощей шеей и с жиденькими, затянутыми аптечной резинкой волосами. Эти переходы были мгновенны и очень ярки.

— Детям много и нельзя, — сказал я голосом классного наставника и налил поровну себе и ей. По чуть-чуть.

Есть я не хотел, но пример Чанго стоял перед моими глазами и мне пришлось есть всерьез.

То ли хозяйка уж больно была хороша, то ли потому, что еда, изготовленная чужими руками, всегда кажется вкуснее самодеятельной, но ел я с большим аппетитом.

Трапеза протекала в молчании.

А когда все было съедено, и моя нескончаемая бутылка была убрана под стол, Даша встала, внимательно поворошила в печке, закрыла вьюшку, спросила:

— Можно? — и не дожидаясь моего "да!", скинув старенькие, покрытые сетью трещин резиновые сапожки, забралась на спальник и уселась в углу, поджав под себя ноги.

— Ну, рассказывай, — сказала она, устроившись поудобнее и укрывшись чуть влажным пальто...

— Что рассказывать?

— Ну, как что... Что-нибудь... Что-нибудь интересное...

— Я не умею.

Сказав это я не соврал. Действительно, когда

меня вот так просят рассказать что-либо, я теряю дар речи, если та способность изъясняться с братьями по виду, которой я обладаю, может называться даром.

И только поэтому вместо удивительной истории с принцами, домовыми и грудными лешими, я просто спросил —

— Тебе завтра, как и сегодня, в пять вставать?

— Нет, — с непонятной мне гордостью сказала она. — Завтра мое воскресенье.

— Что же, вы все каждое воскресенье гуляете? А как же...

— Нет, — перебила она меня. — В очередь. Это недавно так... Как председатель установил...

— Лагов?

— Он. А откуда же ты всех знаешь, ежели к тебе сюда ни одна живая душа не заглядывала? — спокойно спросила она.

— Так я же говорил, что он вместе с Башлыковым за Чанго приезжал.

— И Башлыкова знаешь, — как-то удовлетворенно сказала она. — Ну, а кого еще?

— Ивана Сергеевича.

— Какого еще Ивана Сергеевича?

— Тургенева. Да брось ты, в самом деле! Тебя. Кого еще я здесь могу знать. Кстати, что за человек Лагов?

— Юрий Григорьевич-то? Да как тебе сказать... Он — не родниковая вода, да наверно... может, самый стоящий человек на всю округу.

— Я бы не сказал...

— Так для этого его узнать надо. Понять. Для тебя что — требует, промашек не прощает. Начальник. Значит сердитый. Злой... — Она на мгновение замолчала. — А он к себе-то может быть больше всего злой. И зачем человеку нужно все себе назло



делать?! Словно кается он, вину какую отрабатывает.

— Ну, может и есть вина-то?

— А у кого их нету? У всех есть. Все грешники. Он не хуже других, да другие живут себе спокойно и ни о чем не думают... Словно без памяти живут.

— Но мне говорили... — мне захотелось проверить слова Сергея Петровича, но она перебила меня.

— Башлыков, что ли? О доносах? — она уже злилась.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Да эта сволочь всем направо и налево треплет... Хуже бабы, право. Что услышит, то и принесет. А говорят... мало ли про кого чего говорят.

— Но ведь дыма-то без огня не бывает, — сказал я и почувствовал, что эта фраза чересчур многозначна, но Даша была выше подобных двусмысленностей.

— Бывает. Но и огонь тоже разный бывает. Вот Лагов, когда видел, что не так что-то делается, так молчать не мог. А ведь всегда же что-нибудь да не так делалось... Да и делается...

Я кивнул.

— Это мы сейчас все такие ученые стали. Молчаливые. Хотя он и сейчас не такой. А раньше-то еще горячее был. И за землю эту всерьез болел. Ну, поспорит он с кем, да словами не убедит, да и в райком пойдет или в Москву напишет. Он и такое делал. Молодой был, да глупый еще. Дипломатиям не обученный. Ну, а потом лаговский супротивник и исчезает — шпионом или вредителем оказывается. А Лагов — хозяин горы. А его ли в том вина-то?

Я допустил, в определенные времена и при известной запальчивости, борьба за правду мо-

жет привести отнюдь не к однозначным результатам.

— Вот я и говорю, — продолжала Даша. — И как только его самого обходило?! Везучий он, что ли... Ну, сначала все нормально было, пока он в МТС работал. Борец. Бессребреник. И сам он ничего не видел — борьба за правду глаза застила. Ну, а потом бывший председатель, Башлыков-старший полетел, да на его место ни с того, ни с сего молодого еще Лагова ткнули. А потом еще перемены всякие подоспели и наши деревенские шпильки, — она улыбнулась, — возвращаться стали... Тут-то ему все и припомнили. Всех собак и понавешали. Доносчик, стало быть. А в колхозе — развал. Да воруют. Да бегут все. А он хоть и не злой, да кулак у него еще с прежнего времени остался — не приведи... Пока колхоз вытянул, чуть не загрызли его вовсе. Сюда комиссии, как экскурсии в Кремль — одна за другой ездили...

— А откуда же ты так это все хорошо знаешь? Тебя ведь тогда еще и на свете не было.

— Сам рассказывал. Пришел как-то. Матери дома не было. И целый вечер просидел. Словно оправдывался... Отец мой тогда загремел... А без отца-то даже лучше было... Да, что об этом... А Лагов... Совестливый он. Трудно ему жестким да принципиальным быть... А к тому же — деревня это, не город. Свои все. Дома не запереться... Совестливый он...

— Вот уж не подумал бы...

— А ты подумай. Вот он сейчас с Башлыковым мается. За чужие грехи платит. За Башлыкова-старшего, за ворюгу платит... Да разве за эти грехи одному человеку расплатиться?!..

— А Сергей Петрович?..

— А что, Сергей Петрович. Разве он понимает.

Ведь Лагов сначала с ним, как со своим дитем возился. Видел бы ты, как его в армию провожал. Это уж и я помню... А Башлык разве что понимает... Даже злости в нем нет. Злобы — хоть отбавляй... Вот собака от него бегаёт. Мы тут с ней однажды чуть не с неделю жили. Да и к тебе уже второй раз прибегает. А от этой сволочи только и бегать.

— Но ведь он тебя... любит... — сказал я и только сказав почувствовал, как не подходит к Башлыкову это слово.

— Кто, Башлык? — зло спросила она.

— Да.

— А-а-а... Еще как любит... Меня здесь все мужики любят... Любую бабу спроси. Ты думаешь мы здесь с тобой вдвоем?

— ?..

— Да здесь пол-округи мужиков ошивается. Маманя-то моя всем уж разнесла, что я неделями дома не ночую... Она-то в свое время не ушла... А вот теперь злость что ли вымещает... Не любит она меня. Будто я по собственной воле на свет вылезла. Она-то с батей, когда уже на сносях была, повенчалась. Вроде из-за меня. Сама-то она из городских. Да что там... Долгая это история. Ну, а сейчас на меня наговаривает... Да и то слово — никто понять не может, что одна я здесь могу хорониться. Ни с кем. Раз ни с кем, значит с кем попало... Вот сегодня на работу опоздала, так такой... чего только не услышала... И чего бабы злые такие...

— Ну, не все же.

— Конечно не все. Только злые уж больно голосистые. Словно обиженные они, да боль наверху. А у хороших людей боль глубокая. Ее только через душу и тронуть можно.

— А что если уехать? — спросил я и почувство-

вал, что этот совет стал для меня панацеей от всех бед.

— Уехать-то?!.. А ведь ты меня уже как-то звал.

— Когда же это?

— А тогда, когда прошлый раз был. С отцом как-то один раз зашел. Ты ведь?

— Я.

— Ну вот. А мне после тебя долго жизни не было... "Скоро уедешь", — сказала она явно передражнивая мать. — "Приедет за тобой хахаль твой. И чем ты его только завлекла?.."

— Но я не мог.

— Конечно, не мог. Но говорить-то зачем было. Добреньким хотел показаться? — Она еще дальше отодвинулась от меня и почти с ненавистью сказала. — Хватит с нас добреньких. Все равно добрее Башлыкова не будешь... — Она замолчала, и молчала наверное с минуту, пока я судорожно искал слова возражения. Но так и не нашел, что сказать, когда она заговорила вновь. — Не мог... А сейчас можешь?

— Сейчас могу, — сказал я, и сам не поверил своим словам.

— Ну и что ты со мной делать будешь? Тогда, мать говорила, ты меня домработницей обещался взять. Ну, а сейчас кем? Полубовницей?

— Не говори глупостей! Тогда-то я говорил, чтобы они отпустили. Ведь не мог же я сказать, что ты будешь просто жить, просто учиться, просто... Ведь не поверили бы они мне.

— А чего же тебе верить, когда ты не мог ничего сделать. Так просто говорил. Да и почему не поверили бы? Их, ты думаешь, что-нибудь интересовало? — кто ты, откуда, зачем. У них же... то есть у нас ведь пять детей и все по родственникам, по детдомам рассованы... Обмануть захотел... Да мне и

не нужно с тобой или вообще с кем ехать куда-то. И так живу, как видишь. Но врать-то к чему? Зачем мне это — ”а на нее уж и городские засматриваются... Может и мать отсюда увезешь?!...” Зачем мне это? Ну, ты, добрый, скажи.

Мог ли я что-нибудь ей ответить?!

Судя по всему, выглядел я достаточно пристыженным, потому что она вдруг дотронулась до моего плеча своей обветренной рукой, а потом наклонилась всем телом и тихо выдохнула мне в шею:

— Ты прости меня. Ты, наверное, хороший. Ты должен быть хорошим. Прости меня. Просто чем дальше, все чаще бывает неумогу... — И она замолчала.

— Нет. Это ты должна меня простить, — теперь у меня уже были слова. — Не думал я, что вот так все будет. А сейчас я тебе совершенно серьезно говорю. Уедем отсюда. Ничего мне от тебя не нужно. Давай, а?

— Не знаю я ничего, — все тем же полупшепотом сказала она. — Тебя я не знаю. Если бы ты тогда ничего не сказал, так может быть и уехала... А сейчас не знаю... Не верю я еще тебе.

— Но... — Я уже хотел было возмутиться, но она прикрыла мне рот своей сухой ладошкой.

— Прости. Ты тут ни при чем. Молчи... ни при чем... Просто накопилось у меня, а никому здесь слова сказать не могу. Круг какой-то заколдованный...

— Просто ты устала... устала, — я говорил это, глядя ее по промытым осенними дождями волосам. — Ты очень устала... И мы уедем... Каменных замков и пряничных домиков я тебе не обещаю, но тебе будет спокойно... Поверь мне... Я же немножко вижу тебя... Ты же удивительная... Ты просто очень устала... Ты даже не знаешь, какая

ты, — я уткнулся носом в ее распущенные волосы и продолжал говорить, веря в то, что говорю. Я ведь все время помнил тебя, ту маленькую и больную...

— Мне тогда очень плохо было, — совсем ребячьим голосом сказала Даша.

— Тебе будет хорошо, — ни к селу ни к городу сказал я. — Слышишь? Теперь ты должна мне верить. — Я взял в ладони ее голову и осторожно поцеловал. Но прежде чем мои губы коснулись ее, она тихо сказала, выдохнула

— Я верю тебе...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

И проснулись мы в той же позе, что и заснули, то есть проснулся я, потому что Даша еще спала, приоткрыв чуть вспухшие расцелованные губы и дыша спокойно и ровно. В комнате было уже светло.

— Любимая... — сказал я и почувствовал, что чуть ли не в первый раз в жизни говорю это всерьез. Может быть потому, что меня не слышали. — Любимая моя, — сказал я и тихо прикоснулся губами к ее щеке, а она, еще не знающая, что значит этот утренний поцелуй мужчины, только глубоко вздохнула и, словно отгоняя меня, чуть двинула головой. Я полежал еще немного, чувствуя прикосновение ее спокойного тела, а потом осторожно вытянул руку из-под ее головы и вылез из спальника.

Ты спала.

Я оделся, затопил печку и пошел за водой. Было сухо и лишь у горизонта серое небо заволакивалось дождевыми тучами. Сонный Чанго протрусил

за мной до колодца, но не дождался меня и почти сразу, всего один раз подняв ногу, поплелся в дом. В каждом его движении чувствовались томность и воскресное умиротворение.

Я вернулся в дом, засунул котелок с водой в уже расфуговавшуюся печь и начал приводить в порядок нехитрое наше хозяйство. Но сметая со своего самодельного стола хлебные крошки и сигаретный пепел, я всадил в руку глубоко занозу, и не только всадил, но и ухитрился сломать ее под самый корень. Я попытался подцепить ее ногтями, но мои руки не были предназначены для столь тонкого дела.

— Сильно? — вдруг раздался за моей спиной ясный, уже проснувшийся Дашин голос.

Она смотрела на меня, полуоткрыв рот, и лицо у нее было такое... такое мне еще неизвестное лицо — задумчивое и отрешенно-доброе. Хотя она была серьезна, мне показалось, что она улыбается, и я улыбнулся ей в ответ. Придерживая на груди вкладыш, она села и тихо, почти не шевеля губами позвала:

— Дай посмотрю.

Я присел рядом с ней, и она нашла занозу и потом, по звериному оскалив зубы, склонилась к моей руке. Вкладыш сполз, обнажив длинную спину с тоненькой незагоревшей полоской. Она вытащила занозу, а потом уткнулась мне в ладонь губами, не то целуя, не то плача, и я склонился к ней и поцеловал ее пухнатую около затылка шею, поцеловал тихо и осторожно. Так лошади берут с ладони кусок сахара...

И тут она действительно заплакала, выдыхая мне в ладонь одно, —

— Господи... Господи... Господи...

И я обнял ее, и целуя, и повторяя извечное и

глупое. — Ну, что ты, что ты, все ведь хорошо. Ведь хорошо? Да?

— Да... — ладонью услышал я. — Хорошо.

— Вот мы уедем отсюда... Ведь уедем?

— Уедем, — эхом откликнулась она.

— И все будет хорошо. Очень хорошо. Слышишь?

— Хорошо...

Негромкий стук в дверь заставил нас замолчать. Я быстро встал, Дашенька, шмыгнув носом, юркнула в спальник, а Чанго шумно вскочил и отряхнулся.

— Да, — сказал я далеко не радушным голосом.

Дверь отворилась, и на пороге возник Башлыков. Ружье, висевшее за спиной, и высокие болотные сапоги делали из него заправского охотника.

— Здравствуйте, — сказал он мне вначале спокойно, а потом, увидев Дашу, весь подобрался, напрягся и каким-то нехорошим голосом спросил. — Не помешал?

— Нет. Заходите, — ритуально ответил я.

— Я опять за Чанго, — каким-то мстливым голосом сказал он и сделал шаг в комнату.

— Знаете, — теперь я уже был смел. — Мне кажется вам не стоит его забирать.

— Это еще почему? — Он был уже не столь вежлив, как в прошлый раз.

— Он от вас все равно сбежит. Сколько вы за него хотите?

— Я же вам сказал уже — не продается он.

— Ну хотите, не хотите, а собаку-то хоть пожалейте.

— Нет.

— Так я его вам просто не отдам. Нечего пса калечить.

Башлыков попытался пройти к Чанго, но комна-



та была узенькая, и, оказавшись на его пути, я не посторонился, а он, видимо, не рискнул отодвигать меня силой и остановился так близко, что я видел каждую его белесую ресничку и влажный желтоватый комочек гноя в углах глаз.

Тут я почувствовал, что сейчас могу наброситься на него с кулаками и тогда уж избыю до полусмерти.

— Вон! — сказал я, чувствуя, как наливаюсь белой яростью. — Марш отсюда, и чтобы я тебя больше не видел!

Вид мой, наверное, был страшен, потому что Башлыков отшатнулся, чуть не упал и поймал равновесие уже около двери.

— Ну, хорошо, — с явной угрозой в голосе сказал он. — Это вы еще припомните. И ты тоже, — сказал он, глядя сузившимися глазами в угол, где сидела Даша. — Ты тоже все вспомнишь — кобелиная подстилка.

Пока я, уже отведя руку для удара, пролетел эти разделявшие нас несколько метров, он успел выскользнуть из дома и даже хлопнуть дверью. Я выскочил за ним на крыльцо и крикнул ему "стой!", но он продолжал быстро идти к лесу. Было видно, что он торопится и дуло двухстволки нещадно колотит его по ногам.

Только тут я осознал, что у него было ружье, и тогда мне стало совсем противно и смешно.

— У-у, холуйская морда! — громко сказал я и несколько раз ударил кулаком по влажным бревнам — адреналин требовал разрядки. У меня даже мелькнула мысль сбегать в дом за ружьем, но я все же додумался до того, чтобы сказать себе "идиот". И просто вернулся в комнату.

Только войдя с улицы я почувствовал запах свежего перегара и понял, что Башлыков успел

уже по-утречку приложиться. Насколько же глубоко сидело в нем рабство, если даже в подпитии он не срывает с плеча ружье, а ограничивается простым хамством.

— Человечек... — проговорил я, закуривая и только тут обратил внимание, что Даша плачет. Плачет тихо, отвернувшись лицом к стене и почти вся уйдя в спальник.

Я присел рядом с ней и положил руку на ее уже замерзшее плечо.

— Ну, что ты... — сказал я. — Что ты... Ну разве можно на каждого подлеца обращать внимание.

Она резко повернулась ко мне, своими огромными заплаканными глазищами посмотрела на меня, словно проверяя смогу ли я ее защищать, а потом сказала.

— Неужели же все это кончится... — и как-то по-звериному обвившись вокруг меня, уткнулась лицом в грязную телогрейку и вновь заплакала, но уже по-другому — открыто и доверчиво. Сквозь слезы она пыталась мне что-то объяснить, но кроме отдельных с трудом разбираемых слов ничего понять было невозможно.

— Ну-ну... Ну-у... — как-то нараспев повторял я. Мужчины в таких случаях бывают удивительно красноречивы. — Ну, что ты. Ведь я здесь. И все кончилось. И все будет хорошо. Ну, что ты, — я повторял это, пока она не затихла.

Но она не уснула, а впала в какое-то дремотно-отрешенное состояние, и я тихо уложил ее в спальник, поцеловав ее в лоб, встал и вновь занялся хозяйством.

Печка совсем прогорела, вода в котелке, так и не закипев, успела остыть и, честно говоря, ничего делать мне не хотелось, но я все же растопил печку, заварил чай, нарезал хлеб и хотел уже подать Да-

шеньке завтрак в постель, но она открыла глаза и сказала.

— Я встану. Отвернись.

Я не двинулся с места, но когда она повторила каким-то умоляющим голосом.

— Отвернись... пожалуйста, — я отвернулся.

Чай мы пили почти в полном молчании, под односложные, произносимые скучными голосами "Да", "Нет". "Еще?" "Спасибо".

Откушали.

В последний раз сказав — "Спасибо", — встали из-за стола.

Тишина. Даже ветер на улице стих.

Наверное именно в такие минуты и зародилась у человечества мечта о телевидении.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После обеда, тоже прошедшего в молчании, Даша домывала посуду, а я сидел в углу и, почему-то явно любуясь собой, рассказывал зряшные, никчемные истории. Рассказывал, не задаваясь мыслью, интересно ли ей то, что я говорю, слушает ли она меня.

Наконец она вытерла руки и, как-то неестественно прямо держа спину, села на чурбак, растерянно глядя на меня.

— Все, — голосом школьницы сказала она и вновь замолчала.

Смолк и я.

Помолчали.

А она все смотрела мне в глаза и губы ее шевелились и ранее незамеченная складка обозначилась у углов рта.

Внезапно она встала, подошла к висящей на

гвозде от иконы, сумке, достала из нее свою так и не распечатанную четвертинку, держа ее за горлышко, протянула мне.

— На. Может легче будет.

Она вытряхнула из кружки оставшиеся после мытья капли воды и подала мне.

— Собрать что-нибудь? — спросила она.

— Что? — не понял я.

— Ну... закусить...

— Не. Не надо, — я сорвал желтую крышечку и выбулькал водку в кружку. Получилось почти с верхом.

— Твое здоровье, — сказал я и впервые в жизни одним махом выпил 250 граммов водки.

Последнее, что я увидел, были брезгливо-напряженные Дашины губы, будто это она, а не я, совершила подобный подвиг, а потом глаза мне заволокло пеленой слез, и когда я проморгался и отдышался, Даши в комнате уже не было.

С улицы доносились чьи-то голоса. Через закрытую дверь было трудно разобрать, что там — ругаются или смеются.

— Кого еще нелегкая принесла? — подумал я, заранее раздражаясь, встал, вытер еще чуть слезившиеся глаза и, ударив кулаком дверь, вышел в сенцы и остановился.

— Уходите... Не надо... Уходите, — услышал я умоляющий Дашин голос. — Сергей Петрович, уведите его. Ну, зачем вам это... Уходите.

— Не... — чей-то незнакомый голос пьяно выругался, раздался звук плевка, а потом тот же голос продолжал. — Не... Хочу зятя посмотреть. Желаю. Имею я, Серега, такое право? А?

— Уходите, — уже тихим, каким-то отчаянным голосом сказала Даша.

И именно тут я решил выйти на крыльцо.

— О! О! Вот и он, зятек дорогой! — Это был Анатолий. Он довольно сильно изменился за пять лет, словно оплыл каким-то нездоровым, жидким жирком. Отвисшая нижняя губа сообщала его, когда-то почти всегда живому лицу, выражение застывшей брезгливости. Рядом с ним стоял Башлыков. Он был все в той же телогрейке и сапогах, но уже без ружья. Смотрел он куда-то в сторону.

Между ними, спиной ко мне, словно боясь повернуться, стояла Даша. Простоволосая. Без пальто. Даже по спине было видно, что она замерзла, и я не нашел ничего лучшего, как сказать ей —

— Иди оденься. Простудишься.

Она, вскинув голову, повернулась ко мне, но в дом не пошла.

— Какой заботливый!.. — глядя все так же в сторону, сказал Башлыков.

— Да, кстати, о заботе, — сказал я. — Вы сегодня так поспешно сбежали, что забыли деньги за собаку получить. Возьмите, — я вытащил из кармана скомканный четверной и бросил его за Дашину спину к ногам Башлыкова.

Из дальнейшего я запомнил только то, что Башлыков, отшвырнув Дашу в сторону, шагнул ко мне. Я ударил первым, но, стоя на шаткой ступеньке, ударил плохо, и Башлыков успел уйти от удара, схватить меня за руку и развернуть так, что я оказался спиной к Анатолию. Что последовало за этим я уже не запомнил. Крики Даши, лай Чанго, яростный мат — все это бесконечно долго витало в какой-то хрустальной сфере звонкой болезненной тишины, пока не наступило небытие...

Видимо, били меня крепко, потому что, когда я вернулся из своего полета, уже темнело, а я, обложженный мокрыми тряпками, лежал в доме на своем спальном мешке. Посреди комнаты все на том же

чурбаке сидела Даша и жалостливо смотрела на меня. Я пошевелился. Горело ссаженное лицо. Судя по боли, шишка на затылке (чем же меня огрели?) вступила в стадию окончательного формирования, болели руки, но переломов, слава Богу, вроде бы не было. Прошелся пальцами по ребрам. Больно, конечно, но — целы. Повезло, значит.

Долго и заунывно, как застарелый ревматик протонав, я сел. Оказалось — терпимо. Судя по всему, выпитая перед боем водка все действовала, как анальгетик. Знал бы, где упасть...

Встал и, ощущая, как томно ёкает что-то внутри, сделал несколько шагов по комнате и только тут окончательно уверовал, что жив.

— Ну-ну! — сказал я уже спокойно и тут вновь поймал на себе жалеющий Дашин взгляд и разозлился на нее, за то, что она была там, на улице, за то, что у нее такой отец (яблоко от яблони, — несправедливо подумал я), разозлился за то, что сейчас она жалеет меня (чего я терпеть не могу), но Даша, видимо, не заметила этой смены моего настроения, потому что полным все того же идиотского сочувствия голосом сказала:

— Живой?

— Нет. Мертвый, — огрызнулся я, чувствуя, что с трудом сдерживаюсь, чтобы не наорать на нее.

— Ну, слава Богу, — умиротворенно сказала она, будто ей только что нагадали, что мы проживем с ней долгую и счастливую жизнь. — А то я уж думала — убьют тебя...

— Где Чанго? — прервал я ее излияния.

— Да вон. Не видишь, что ли?

Перенервничавший Чанго действительно дрых в углу. И тут мой взгляд упал на полку с часами. Их передняя дверца была открыта и странно изогнутая минутная стрелка просто висела.

— А с часами что? — спросил я, чувствуя, что сейчас откроются врата моей злости, и с мрачной радостью ожидая этого оргазма.

— Я хотела их поставить, как надо — они спешили очень, — в ее голосе слышалась все та же радость по поводу моего оживления. — А они...

И тут я сорвался. Я говорил что-то тем спокойным тоном, который (и я это знаю) хуже любого крика. Вначале Даша пыталась оправдываться, что-то говорила про то, как я лежал без сознания и часы показывали что-то странное, но потом она замолчала, а я продолжал, стоя к ней спиной, говорить, говорить, говорить, уже поминая и Лагова, и Башлыкова, и ее отца и все, все, все...

— Так вот ты какой, — ее спокойный, чуть не восхищенный голос заставил меня замолчать и обернуться.

Даша, уже одетая, стояла на пороге. Последнее, что я заметил, были ее яростные глаза и две глубочайшие ссадины на лице.

— Прощай, — сказала она.

— Даша... — но она уже вышла, спокойно и плотно притворив за собой дверь.

Я не побежал за ней.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Оставшись один, я долго не мог прийти в себя и выкурил наверное с пачку сигарет, прежде, чем почувствовал, что хочу спать. Моя вина перед Дашей за это время проявилась для меня совсем, но я не пошел ее искать.

— Ничего. Вернется, — сказал я себе и полез все в тот же, уже осточертевший мне, спальник. — Вот завтра, если не придет, то схожу на ферму.

С этим я и заснул.

А проснулся от резкого, бывшего мне в глаза света. Кто-то стоял во тьме, направив на меня луч карманного фонаря.

— Собирайся. Пора ехать, — сказала тьма, и я узнал голос Лагова. — Отдохнул и довольно.

Спросонок плохо что понимая, я наполовину вылез из спальника и в таком идиотском виде просидел с минуту.

— Поторапливайся. — Лагов чиркнул спичкой и поднес ее к стоящей на столе свечке.

— А почему это и куда же это я должен ехать? — я уже проснулся. — Никуда я не поеду.

— Поедешь. Никуда не денешься. — Лагов говорил это спокойным голосом, покачиваясь с пятки на носок. — А не поедешь, так прибьют тебя здесь мужики.

— За что же это?

— Сам знаешь. Ну, собирайся. Некогда. Я тебя прямо на станцию отвезу.

— И когда вы все это успели пронюхать? — с этими словами я вылез, наконец, из спальника.

— Я здесь хозяин, — как-то невесело сказал Лагов. — Мне по чину положено. Собирайся.

И пока я как попало кидал в рюкзак свой нехитрый скарб, он сидел, курил папиросу за папиросой и молчал.

— Все, — сказал я, затягивая рюкзак. — А теперь я могу попросить у хозяина увидеть Дашу.

— Это еще зачем?

— Это мое дело.

— Вот что, парень, — голос Лагова не предвещал ничего хорошего. — Побаловался и хватит. Дашу ты больше не увидишь. Не про тебя она.

— Уж не про вас ли?

— Поехали, — он так сказал это, что я просто



взял рюкзак с притороченным к нему спальником и вышел на улицу. Лагов посплюнявил пальцы, загасил свечу и вышел следом за мной. Чанго уже стоял около "газика".

Тьма была непролазная. Прикосновение к ледяному дермантину сиденья бросило меня в дрожь. Взревел мотор. Смертельно белый свет фар осветил влажные торцы бревен полусгнившего, вновь впадающего в безлюдье домика, прогнал по мокрому голому саду ворох тощих теней, звук работающего мотора отразился от дальних домов, оживил тишину и в последний раз чужим отражением вспыхнула пленка на окне. Звонко взбуксовав, "газик" дернулся, и мы поехали.

Машину заносило на поворотах, но Лагов, низко пригнувшись к рулю, вдавливал педаль газа в пол, кидая машину в распахивающуюся бездну осенней ночи. Шоферил он действительно отменно. Несмотря на то, что разбитая дорога как-то вкривь и вкось пласталась под колеса, а пролетающие над самой головой ветви царапали и чуть не разрывали брезентовую крышу, несмотря на то, что недобрым, настороженным ревом встречал нас стоящий около дороги лес, несмотря на все это я не волновался за свою жизнь. Наконец темная громада леса выплюнула нас в поле, сразу стало тихо, и дорога пошла ровнее. Тут уже было можно оторвать Лагова от баранки, и я спросил.

— А мне интересно, почему вы все-таки за мной заехали, а не оставили на съедение мужикам?

— Поживи еще, — ответил Лагов, и хотя в его голосе не было желания продолжать разговор, я не мог не ввернуть:

— Что же вы думаете, вам это на том свете зачтется и сковородка с маслом достанется?

— Может, и так! — Он говорил удивительно спо-

койным голосом. — А ты не юродствуй. Не стоит. Может ты за этот свой отпуск больше дерьма наворотил, чем я за всю свою жизнь.

— Ну уж...

— Да. Ведь это, между прочим, деревня. Здесь все чуток не так, как в городе... А приехал я... Ну, чтоб тебе легче было, приехал я за тобой, потому что люблю иногда на милых и тихих подлецов вблизи посмотреть. А ты такой. И за себя постоять можешь. Башлыка моего ты прилично отделал.

— Они тоже не целовались, — сказал я, и хотя не помнил, что я в этой свалке успел кого-то ударить, мне стало приятно.

— А что же ты хочешь, — Лагов словно играл со мной. — Такому, как ты, пока по морде не дашь, так ничего и не поймет. Впрочем, ты и сейчас ничего не понял.

— Какое право вы имеете так говорить, — сказал я, почему-то не ощущая ни злости, ни обиды.

— Я имею, — только и сказал он.

— Остановите машину.

— Ну, здравствуйте, вот и обиделся. Какой нежный... Покорнейше прошу извинить, — мы ж, деревенские, хорошим манерам не обучены...

Газик несся по ночному полю, и хотя я понимал, что никогда не попытаюсь выпрыгнуть на ходу, я схватился за ручку двери и открыл ее. Но Лагов довольно грубо схватил меня за плечо и кинул обратно в машину.

— Не дури, — равнодушным голосом сказал он. — Да и Чанго твой мне ни к чему.

Я промолчал, глядя как лучи фар вырывают из тьмы куски скучного русского поля.

— Вот так-то лучше, — сказал Лагов и тоже замолчал.

До станции было не более пятнадцати кило-

метров, так что даже в этом напряженном молчании доехали быстро.

Лагов затормозил около тускло освещенной станции, но прежде чем я успел выйти он сказал:

— Подожди.

— Чего еще? — как можно грубее спросил я, а он взяв меня за плечо, повернул к себе и как-то скорбно и яростно сказал:

— Поймите вы, наконец, что все в этом мире серьезно. Все, навсегда, — и почти вытолкнул меня из машины.

Я вытащил рюкзак, взял на поводок Чанго и, не попрощавшись, пошел к зданию вокзала.

До поезда оставалось не более десяти минут. Пустой, замызганный, заплеванный вокзал был холоден. На лавке голова к голове со здоровой наглостью нормальных людей спали две молодухи. Одна из них, судя по всему следуя капризам моды, укоротила юбку до мини-стандарта, и сейчас она совсем задралась, открывая перетягивавшие розовые ляжки белые резинки подвязок. Я покачал головой и стукнулся в окошко кассы. Кассир видимо спал, потому что мне пришлось постучать еще раз, прежде чем окошечко со стуком отворилось, и в нем, как лик в окладе, показалась старушечья голова.

— До Москвы один. И на собаку один.

— Справку, — старушка кажется еще не проснулась.

— Какую справку?

— От ветврача, что собака здорова.

— Да нормальный, здоровый пес. Зачем ему справка? — говорил я, чувствуя, что дело принимает совсем нехороший оборот.

— Без справки не дам. Ящур у нас. Санконтрль ходит.

Я еще долго пытался что-то доказать, объяснить, умолить, но старуха попалась стойкая. Она подала мне один билет и, не желая больше разговаривать, захлопнула окошечко.

Поезд уже гудел на подъездах к станции, и я стоял на перроне, зажав руке последнюю пятерку, надеясь с ее помощью найти общий язык с проводником, но когда поезд остановился, то ни один из них не стал даже поднимать площадку.

Ящур.

Да, я мог бы, наверное, остаться здесь еще на сутки, найти какого-нибудь врача и выхлопотать у него эту злосчастную справку, но сама мысль о том, что мне предстоит еще несколько часов зябнуть в этих краях, была для меня невыносима, и я подбежал к сонно покачивающемуся дежурному по станции и не давая ему опомниться спросил:

— Лагова знаете?

— Конечно, — ответил тот, мгновенно просыпаясь.

— Отдайте ему! — и, не дожидаясь пока он осознает происходящее, сунул ему в руки поводок.

Поезд гуднул и тронулся.

Проводница с заспанным и злым лицом нехотя подняла площадку, я бросил ей под ноги рюкзак и прыгнул, чуть не сорвавшись под колеса — после вчерашней драки я был не особенно резв.

Когда я вспомнил про Чанго и свесился с подножки, чтобы хотя бы просто помахать ему рукой, уже ничего не было видно...

Вагон был пуст, и скрипящие в такт проносящимся стыкам двери грустно оживляли его гремящую тишину.

Только войдя в купе я вдруг вспомнил, что в спешке этих сборов, забыл взять часы.

— Ну и черт с ними, — сказал я себе и, бросив на лавку рюкзак, вышел в коридор покурить.

Поезд уже прошел тусклую полосу пристанционных огней и теперь, захлебываясь и давясь мраком, отбрасывал назад керосиновый уют переездов, бледную яркость шлагбаумов и желтые подфарники нечастых машин.

Но скоро и это кончилось, и за окном поплыла и задвоилась в стекле темнота.

Темнота, темнота. Тьма.

И тогда увидел я свое отражение — только силуэт, нещедро высвеченный усталым светом казенной лампочки. Силуэт этот иногда смывали пролетающие мимо просеки, занесенные светом невысокой, ущербной, невесть откуда взявшейся луны. Они были, как выстрел в лицо.

Но секундное ослепление проходило и снова маячил передо мной раздвоенный, и потому неясный мой силуэт.

Был уже конец октября, но холод заморозков накапливался только сейчас, к утру, чтобы прорезать застывший рассвет скрипом двери вот этого дома, который уже пронесся мимо, и которого уже нет и больше никогда не будет в твоей жизни. И только красные, словно набирающие жар городские огни когда-нибудь напомнят тебе эту ночь, когда вся жизнь была только дорогой, лунной просекой и этим черным домом с красными окнами, за которыми продолжалась та единственно верная жизнь, на которую с рождения обречен человек.



Елена ШВАРЦ

## Фрагменты поэмы\*

### *Ипподром*

Слова копытами стучат. В середине дров  
Расколется пылающее сердце.  
Как машут крыльями, свистят  
Ночные демоны, мои единоверцы.

Вот я бегу меж огненных трибун  
Подстриженной лужайкой к небосклону,  
И ставят зрители в сияньи и дыму,  
Что упаду — один к миллиону.

На черную лошадку — на лету  
Она белеет и тончает,  
Хрипит, скелетится, все в пене и поту,  
И Бог ее, как вечер, догоняет.

---

\* "Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца", Ленинград, 1984 г.

## *Вдохновение*

Когда я стихи говорю  
В келье, в пустыню ночи  
Слетается целое воинство  
И образует Ухо.  
Я перед ними — кочет  
Жертвенный. Голошу.  
Мелькают бледные, садятся ближе,  
Подобны торопливому ножу.  
Средь них — как в облаке — себя я вижу,  
Им жизнь дика, я жизнью дышу.  
И думаю — за что ж мне эта сила?  
Мне, жалкой, а не светлым им?  
Да потому же — что цветок из ила,  
Из жертвы кровавой молитвы дым.

## *Псаломщица*

Я вчера псалмы читала ночью  
Над покойником — фабричным счетоводом.  
Было холодно. Луна светила ярко,  
Тени по стене перебежали,  
Медленным водоворотом  
Меж бровей покойника крутились.  
Я читала, а читать мешала  
Мне душа покойного, садилась  
Прямо на страницы и шумела,  
Все она ругмя ругала тело.  
А покойник супился печально.  
"Что же ты со мной, душою, сделал?  
Ты же Будда! Ты же мог быть Буддой!

Он же Будда!" — мне она кричала.  
Я ж читала твердо и крестилась.  
А покойник супился печально.  
"Что же ты со мной, душою, сделал?  
Жил как с нелюбимою женою,  
Как с женой глухою и забитой.  
Ну так и лежи теперь как ящик  
С драгоценными камнями, с жемчугами,  
Но в земле зарытый, позабытый.  
Ты меня глушил вином, работой,  
Болтовней и грязною любовью.  
Я тебе кричала, говорила  
Изо всех твоих священных точек.  
Ты не слушал — вот теперь томись.  
Мне, задушенной и сморщенной, — куда —  
Покалеченной — куда теперь деваться?"  
Так она кричала, выла, ныла,  
А покойник супился печально.  
Он лежал небритый, очень острый,  
С белой розою бумажною в кармашке.

### *Кормление птиц*

С тарелки блеклой оловянной  
Я птиц кормила за оградой  
В сосновом преющем лесу.  
Печаль! — о вдруг  
Меня печаль пронзила.  
Когда тарелку подносила  
К несатым тяжким небесам,  
Как будто край этой тарелки  
Полуобломанной и мелкой  
Вонзился в грудь мне  
И разрезал



И обнажил  
Мою оставленность Тобою —  
Всю, всю.  
(А пятки пели и стучали  
И тихо землю колотили —  
Вот на тебе! вот на тебе!)  
О Боже, я Тебе служу  
Который век, который лик.  
Кричу, шепчу — не отозвался  
На писк, на шепот и на крик.  
О на кого меня оставил?  
Мне холодно! Я зябну! Стыну  
На красноглазой злой земле  
Зиянье я, провал, пустыня.  
А пятки землю отшвырнули,  
И полетела к облакам  
Я вдруг с тарелкою протянутой,  
С кусочком черствым кулича.  
Мелькнула птицею в пруду, —  
Щетина леса, ноготь крыши,  
Через облака и дальше, выше,  
Куда-то к Божьему гнезду.

### *Ворон*

Старый ворон сердце мое просил,  
Воронятам своим отнести —  
"А то закопают в землю тебя,  
Мне уж не выскрести".  
"Злая птица, — ему отвечала я, —  
Ты Илью кормил и святых,  
А меня ты сам готов сожрать,  
Хоть, конечно, куда мне до них".  
Отвечала птица: "Вымерзло все кругом.  
Холодно, греться-то надо.

Я сердце снесу в ледяной свой дом,  
Поклюют пусть иззябшие чада.  
Не шутка — три сына и дочь...”  
Я палку швырнула в него: Прочь!  
Ночью проснулась от боли в груди —  
О какая боль — в сердце боль!  
Спрыгнул Ворон с постели, на столик,  
к дверям —  
С клюва капает на пол кровь.

*Выгоняли меня...*

Выгоняли меня, говорили — иди!  
Спасайся, сестра, где знаешь,  
А нас ты, сестра, ужасаешь.  
Разве вы петуха прогоняли,  
Как хрипя, по ночам орал?  
Разве вы звезду уносили —  
Когда луч ее страшно дрожал?  
Как же я отсель уйду?  
Я поволоку с собою  
Как ядро на ноге,  
Как сурка на плече,  
И лису под рубахой —  
Монастырь весь.  
Уйду — за мной по горам и долинам  
Монастырь ваш на цепи поволочится,  
А трястись весь тяжкий путь мой длинный  
Сладко ли вам будет в нем, сестрицы?  
Лягу в поле спать —  
Под голову положу —  
Хорошо ли вам будет на голой земле?  
Нравятся мне только два,  
Только два жития мне привычны,

Схожие между собою весьма —  
Иноческое и птичье.

*Меж "я" и "ты"*

Снятся мне до сих пор светские сны,  
Грешным делом — даже постом,  
Вот сегодня — будто бы на бегах  
Ставлю на лошадь по кличке "Потом".  
О Боге я думала — где Он — бродя по двору,  
Вдоль стены кирпичной, ворот.  
То к дереву никла, то к нутру.  
И когда он меня позовет.  
Что он мне ближе отца, сестры,  
Но не бренного моего ребра.  
Все искала я слова — роднее, чем "ты",  
И чуть-чуть чужее, чем "я".

1984 г.



## Бармалей

Шипя и обволакиваясь клубами пара, поезд подкатил к перрону какого-то шумного вокзала. Наш "столыпин" шел в самом конце состава. Я прильнул к решетчатым дверям купе-камеры и сквозь сетку на окне узкого прохода углядел — *Челябинск*. На воле было солнечное лето, среди обычной вокзальной суеты мелькали, словно бабочки, пятна женских платьев. Не верилось, что в мире еще существуют светлые пастельные тона всяких батистов, муслинов или крепдешинов, в какие облачаются эфирные создания женского пола. Старому зэку, окруженному в течение многих лет темными ватниками, порыжелой в дезкамерах одеждой, все эти возникающие на миг за сеткой женщины показались персонажами из царства грез и предутренних снов. Видение длилось недолго, ибо уже лязгнули буфера, наш вагон отцепили и отвели в дальний тупик.

У платформы при запущенном пакгаузе, где воняло селедочными и керосиновыми бочками мы вываливались поочередно, купе за купе, на залитую солнцем площадку. Слепленные светом, мы задыхались от безмерности воздуха. В восьмиместные купе впихивали по семнадцать лбов.

Начальник конвоя с ППШ на перевес пересчитал нас — было около ста человек — построил в четверки и, в ожидании воронок, велел всем опуститься на землю, прямо на щебенку и плавающие на солнцепеке куски асфальта. Смолистая масса липла к одежде, которая и без того была грязной.

Солнце и воздух сморили меня, и я вздремнул. Когда я очнулся, наши ряды были уже довольно оживлены, хотя конвоиры время от времени покрикивали, чтоб не "вертухались и не гомонили".

Я осмотрелся. Вид у всех был помятый. В течение недели не было никакой возможности хотя бы ополоснуть руки и лицо. Воды было в обрез, ее не хватало даже попить после пайковой селедки. Синеватая бледность и отечность лиц, как и казенное тряпье, выдавали лагерников, направляемых куда-то по спецнарядам.

Из общей массы эков выделялись два мужика. Мой сосед справа, средних лет мужчина с крупными, выразительными чертами лица и копной седоватых волос, неизвестно как им сохранных. По осанке и бушлату первой категории видно было, что он из важных лагерных придурков. Второй был крупный плечистый человек в измызганном кителе, бранных останках прежнего офицерского великолепия. Кувшинное рябое лицо с густыми темными бровями выявляло характер надменный и жестокий. Во время пути его держали в последнем купе — в одиночку, и оттуда он по любому поводу переругивался с конвоирами. "Фашисты, мать вашу и так и сям, там и сям, — гремело на весь вагон — я за вас на фронте кровь проливал, а вы, гады, не хотите меня лишний раз в сортир сводить. На пол мне, что ли, наложить?" Иногда солдатам надоедала перебранка, они всей сменой

врывались в купе и наваливались на дебошира. До нас доносились только гулкие удары и надсадное кряхтение.

На некотором расстоянии от мужчин расположился десяток женщин. Они жались друг к другу, как бы стесняясь своего тряпья, которое придавало им вид бесполох существ. Выделялись только своим блатным шиком две воровки — в причудливо завязанных головных платках и брюках с напуском, заправленных в брезентовые сапожки с отворотом. В стороне от этой группы съежилась неподвижно довольно миловидная девушка. Заточение не успело еще наложить свой отпечаток на ее лицо. Она, казалось, не реагировала ни на обстановку, ни на окружение.

Трепетный раскаленный воздух и голод доводили меня до изнеможения, тяжелели веки, и я снова уплывал в розовый туман забытья. Громкий гогот возвратил меня на наш пятачок. Это воровки нащупали глазами в наших рядах своих и начали перебрасываться словечками, предложениями любовных услуг и куревом. С обеих сторон не скупилась на обещания самых сильных ощущений и райских наслаждений, как только представится подходящий случай.

Конвоиры спрятались в тень навеса пакгауза и уже не так усердно проявляли служебное рвение. Пользуясь этим, мой седоватый сосед справа, перешепнувшись с сидящими сзади него, быстро поменялся местами и очутился довольно близко к безучастной ко всему девушке. Он был явно взволнован. Пригнув голову и отвернувшись в сторону, он пытался сквозь гам вора окликнуть ее.

— Аня! Слушай, Аня, нам надо поговорить, —

в его голосе чувствовалось напряжение. — Не прикидывайся, что не узнаешь меня.

Между ними пошел какой-то отрывистый разговор, но тут мое внимание привлек бывший офицер. Побагровев от негодования, он шумно фыркал и пронзал сердитым взглядом эту странную разговаривающую пару. Со стороны выглядело так, будто седоватый осыпает ее какими-то упреками, а она, не поднимая глаз и еле шевеля губами, отвечает ему односложно, будто что-то опровергая и припоминая. В моей полудреме я слов не разбирал, но они должны были быть тяжелые как камни и ранили, наверно, болезненно, — оба даже пошатывались от ударов попадавших в них фраз. Они были столь поглощены своим поединком, что не замечали резких выпадов рябого, который ругал каждого из них порознь. Вряд ли это была сцена озлобленной ревности, но этих троих что-то явно связывало в один узел, и счеты их еще далеко не были сведены.

Но как раз уже подоспели воронки, нас погрузили и увезли в пересыльную тюрьму.

Во время санобработки в бане мой седоватый сосед пытался защитить свою пышную гриву от парикмахерской машинки, ссылаясь на свои руководящие должности, но армянин-лобкобрей был неумолим:

— Не рыпайся, старик. Недавно я тут стриг самого маршала авиации Новикова, и он не пикнул. У нас порядок.

Мы попали с седовласым вместе в большую, почти пустую камеру и ждали этапа до своих мест назначения. Времени было много, делать — нечего, мы сблизились тогда с Всеволодом Ивановичем Шишкиным — так звали моего нового знакомого. Я не расспрашивал, — он сам через какое-то время

рассказал, какую роль сыграла в его жизни девушка Аня и рябой офицер.

*Кто за добро воздает злом,  
от дома того не отойдет зло.*

*Книга притчей Соломоновых  
17, 13*

1

Дверь, примерзшая к порогу, с трудом поддавалась: в квартире давно, уже много месяцев, не топились. Воздух в комнате стоял холодный и спертый. Шишкин щелкнул выключателем. Через опущенные шторы и заклеенные полосками газет стекла свет не проникал. Одинокая лампочка-свечка выхватила из темноты всю загроможденность и запущенность просторной, как зал, комнаты. На картинах деда, "отца русского лесного пейзажа", на скульптурах работы матери, ученицы Бурделя, нарос слой пыли, неизвестно как попавший в плотно закрытое и никем не посещаемое помещение. Шишкин давно уже думал, что хорошо бы избавиться от половины мебели, но никак не мог собраться с силами и отказаться от всего этого ампирного великолепия. Оно напоминало мать, детство и всю прежнюю жизнь. В этой четырехкомнатной квартире с окнами на Сивцев Вражек он родился. После смерти матери, признанной заслуженным деятелем искусства, квартиру уплотнили, вселив еще троих жильцов. Ему осталась самая большая комната, в которую из всей квартиры, превратившейся в обыкновенную коммуналку, он перетащил все, что показалось наиболее ценным.



Тогда он еще был студентом, захламленность не досаждала, да и появлялся он дома только с тем, чтобы выспаться или сыграть Шопена на выдавшем виды "Блютнере". Свободное от занятий время он проводил — летом в яхт-клубе в Химках, зимой на лыжах.

С началом войны, когда авиазавод, на котором он работал главным энергетиком, перевели на военное положение, Шишкин стал жить в своем рабочем кабинете. В комнату на Сивцевом Вражке он заглядывал не чаще, чем раз или два в месяц. При транспорте военного времени не просто было бы добираться ежедневно отсюда в Щелково. Заказы с фронта требовали постоянного присутствия.

Еще раз окинув взглядом запущенную комнату, он подошел к большому павловскому шкафу. Инкрустированная дверь открылась с мелодичным скрипом. Его обдало устоявшимся навечно нежным благоуханием маминых духов и трав, которые она вкладывала между стопками белья. Он достал пару простыней и постоял в раздумии. Вспомнив что-то, он нагнулся и вытащил из-под шкафа увесистый газетный сверток. Развернул и вынул большую жестяную банку. Потом сходил на кухню, где стоял прямо-таки полярный холод. Соседи еще в начале войны куда-то бежали или эвакуировались, жилым духом здесь и не пахло. Шишкин достал из своей тумбочки нож и ложку, вернулся в комнату. Когда он поддел ножом крышку банки и отвернул пергаментную бумагу, глазам его открылось сказочное богатство — почти килограмм паюсной икры, отливающей вороненой сталью. Отколов ножом верхний слой и раздробив его, он набрал полную ложку и отправил в рот. Наслаждаясь солоноватым вкусом, он внушал

себе, что этот высококалорийный деликатес прибавит ему сил и энергии для работы. Незадолго до начала войны ему пришлось побывать в низовьях Волги, откуда и привез он это сокровище.

Шишкин уже собирался уходить, как в передней зазвенел телефон. Ошиблись номером, подумал он, собираясь в путь. Но дребезжащий звонок раздавался в пустой квартире громко и настойчиво. Не случилось ли чего на производстве? Он снял трубку.

— Слушаю.

— Здравствуйте. Нельзя ли мне Всеволода Ивановича? — В девичьем голосе на том конце провода чувствовалось волнение.

— У телефона. С кем имею честь?

— Дядя Сева! А я уж потеряла надежду вас поймать. Две недели каждый день звоню. Уже домой собралась.

— Да кто говорит?

— Аня я! Дочь Шуры Серафимович из Рыбинска. Месяца два назад я вам отправила письмо, вы получили?

— Ничего не получал. Да меня и дома нет никогда. А как там мама?

— Я написала вам, что мама умерла. Менингит.

Воцарилось молчание. Шишкин, ошеломленный известием, не знал, как быть. Но все-таки нашелся и спросил:

— Аня, ты сейчас где? Откуда звонишь?

— С Центрального Телеграфа. Приехала поступать в Театральную школу, но у меня не все ладится, и я хотела бы, если можно, с вами посоветоваться.

— Отлично! У меня как раз сегодня выходной. Приходи, адрес ты знаешь. Если на метро, запомни: от Охотного ряда до Кропоткинской. Жду!

Сразу оживившись, он стал приводить комнату в порядок. Довернул еще несколько лампочек в люстре. Смахнул пыль со стола и стульев. Попытался включить паровое отопление, но батареи оставались мертвецки холодными. Зато газ на кухне был, и, включив плиту, он поставил чайник с водой. В тумбочке нашлась щепотка чая и несколько кусков колотого сахара — чай будет. Поставил все на поднос и отнес в комнату.

Все это время не переставал думать об умершей от менингита Шуре.

Как-то, еще студентом, он проходил в Рыбинске летнюю практику. На танцплощадке познакомился со стройной, милой девушкой. Провожал домой, часами гуляли в ночной тишине по набережной водохранилища, первые несмелые поцелуи, потом долгие объятия и напоследок — несколько пылких ночей в ее мансарде. С возвращением в Москву все кончилось. Заверения в любви и постоянстве чувств появлялись в письмах все реже и реже, а затем вся переписка свелась к праздничным поздравлениям. Ну, и, может, раз в год, письмо. Шура заведовала городской библиотекой, замуж не выходила, а из одного письма Всеволод узнал, что она растит дочку Аню. Когда Аня пошла в школу, она стала дописывать своим детским почерком приветы и пожелания для "дяди Севы". Всеволод спрашивал себя время от времени, не его ли она дочка, эта Аня. По срокам это предположение вроде бы подтверждалось, но прямо спросить об этом у Шуры он не решился. Дешевым соблазнителем он себя не считал да и среди друзей и знакомых он слыл человеком благородным и отзывчивым. Кличкой Бармалей он был обязан своей, на первый взгляд свирепой, внешности. Крепко сколоченный силач с обветренным, как из камня высеченным

лицом, с копной рано поседевших волос и густой бородой располагал к себе людей детским выражением голубых глаз. Его мужская сила в сочетании с детской чистотой привлекали женщин, но он избегал связей, которые могли бы угрожать его свободе. Закоренелый холостяк, он гнал прочь любые мысли о брачных узах и семейном существовании. Любимая конструкторская работа, музыка, парусная яхта и лыжи поглощали его жизнь целиком. Шура Серафимович осталась для него не более чем юношеским эпизодом, хотя временами он и ощущал в себе чувство неясной перед ней вины, в которой он и сам себе не хотел признаться. И потому предстоящая встреча с Шуриной дочкой взволновала его.

Анечка привела с собой подругу, тоже из Рыбинска, одноклассницу Веру. Сама Аня оказалась удивительно красивой девушкой, очень похожей на свою мать, но, пожалуй, еще более яркой. Русая коса с черным бантом наводила на мысль о тургеневских барышнях, однако в зеленых кошачьих глазах нет-нет да и вспыхивало какое-то лукавое выражение. Глаза и выдавали ее актерскую натуру. Теплый и ласковый бархат вдруг переходил в холодный, жестокий кинжальный удар, смягченный однако свежестью смазливового личика.

В противоположность Ане, Верочка оказалась скромной и застенчивой девушкой, полностью подчиненной своей бойкой подруге, которая трещала непрерывно:

— Мы обе, дядя Сева, в школе были первыми звездами художественной самодеятельности, и Петр Иванович, наш словесник, посоветовал нам посвятить себя сцене. После смерти мамы меня уже ничего не удерживало в Рыбинске, я собралась в Москву, а Верочка присоединилась ко мне. Всту-

питательный экзамен мы сдали отлично, но вопрос о приеме упирается в отсутствие жилья. В общежитии театральной школы нет ни одного свободного места и даже надежды, что скоро будет. Мы везде искали, но никто не хочет сдать нам комнату или хотя бы угол. Все ноги исходили, но ничего не получается.

— Так где же вы спите? — с изумлением спросил Шишкин.

— А мы оставили вещи у Иры, она тоже из Рыбинска, старше на два класса. У нее койка в общежитии университета. Их комендантша разрешила нам устроиться на несколько дней на полу, а прошло уже две недели. Приходим поздно вечером и стараемся не попадаться на глаза. Но хуже всего, что кончились наши продуктовые карточки, а новых мы не можем получить, так как нигде не прописаны. В основном, питаемся хлебом, который покупаем на черном рынке.

Шишкин спохватился и бегом на улицу — в "закрытую" столовую на углу. Там, пошептавшись с буфетчицей, получил кулек с капустными пирожками.

За чаем, который пили из тонких фарфоровых чашек, расписанных черными розами Чехонина, все девичьи проблемы были решены.

— Вот эта комната — в вашем распоряжении, девушки. Все равно я здесь никогда не бываю. Ночами тоже на заводе. Сплю у себя в кабинете на диване. Оставлю вам записку к управдому, да еще ему позвоню, чтобы не чинил препятствий. И продкарточки оставлю, я мало ими пользуюсь: у нас на заводе свой распределитель и приличная столовая. Вот, бери и отоваривайтесь. Здесь вам запасные ключи от квартиры, так что живите и учитесь. А когда станете знаменитыми актрисами, будете

подбрасывать мне время от времени контрамарочку. По знакомству, да?

И между карточками сунул несколько сотенных бумажек.

Девушки совсем растерялись от неожиданного оборота дела.

— Дядя Сева, можно вас поцеловать? — Аня решительно поднялась и обняла его. Верочка, смутившись, подставила свой лобик.

Они съездили в общежитие за пожитками. Аня рассказала по пути, что звонок к нему был их последним шансом зацепиться в Москве. В случае неудачи завтра они уже возвращались бы в Рыбинск, так как денег у них оставалось только на железнодорожные билеты.

Шишкин еще раз забежал в столовую на углу. Купил у буфетчицы бутылку крепленого портвейна, еще пирожков и кусок ливерной колбасы.

Они сидели у хорошо накрытого стола, пили вино из хрустальных рюмок, которые хозяин дома достал из горки, полной дорогой посуды. У Веры была с собой гитара. Перебирая струны, она напевала теплым альтом задушевные старинные романсы.

Всеволод Иванович откинул крышку рояля. Веселье затянулось допоздна, и Шишкин едва не пропустил последний поезд метро. Чувствовал он себя прекрасно. Хотя бы отчасти, но он выполнил свой долг — так с появлением в его доме Ани он обозначил давнюю смутную вину — по отношению к Шуре, которая, впрочем, никогда и ничего от него не требовала. А чувство вины перешло у него теперь на Аню.

На заводе все, от начальства и до рабочих, уважали и ценили его. Он со всеми находил общий язык. В своей неизменной синей спецовке он ничем не отличался от рабочих, считавших его своим. Контакт с рабочими стал еще более тесным, когда весной 42-го года на завод привезли полученную по лендлизу от англичан портативную радиолокационную станцию (РЛС) для ее копирования. Выполнение этой задачи поручили Бармалею. Был поднят перманентный аврал, и с тех пор Всеволод работал до седьмого пота. С завода он почти не выходил, как и в памятные дни октября первого года войны, когда немцы были уже в десяти километрах от Москвы, где было объявлено военное положение и жители, охваченные паникой, грабили продовольственные магазины, а начальство жгло партбилеты и бежало из столицы. Целую неделю Шишкин один руководил всем заводом, так как не было приказа об эвакуации. Когда угроза миновала и паника улеглась, вышестоящее начальство стало незаметно возвращаться. С покаянным видом и бегаящими глазами — нашкодившие псы с поджатыми хвостами.

В самый разгар работы над заказом произошла история, о которой Бармалей еще много лет спустя рассказывал с горькой усмешкой. Наркому вооружения Устинову понадобились полные сведения от завода о ходе работ над первой советской РЛС. В принципе, с докладом в Кремль должен был ехать сам директор, но тот боялся запутаться в технических деталях и решил отправить Всеволода Ивановича. Это событие взбудоражило всех на заводе. Директор и главный инженер напутствовали посланца, инструктируя, что, как и

где он должен подчеркнуть в разговоре с наркомом, чтобы улучшить поставки. В назначенный день в его распоряжение предоставили машину. Шишкин съездил домой, сбросил свою робу, с трудом влез в выходной костюм, сшитый еще по случаю окончания института. Надел и галстук, против которого, как против хомута, бунтовала его могучая шея. Галстук мстил ему за это, съезжая все время на сторону.

В Кремле Шишкина раз десять проверили и обыскали, прежде чем допустить к наркому. Разговор был деловой и непродолжительный. Шишкин ответил подробно на все вопросы и с чувством облегчения поспешил покинуть стены древнего Кремля.

Директор во главе всего руководящего состава поджидал его во дворе завода. Когда Шишкин вышел из машины, победоносно размахивая большим портфелем с чертежами и графиками, его едва не подхватили на руки и, не спуская глаз с портфеля, повели в кабинет директора.

В кабинете все уставились на портфель. Бармалей перевел дыхание и сказал:

— Все в порядке. Необходимые запчасти мы получим раньше, чем ожидали.

Все молчали. Главный плановик не выдержал:

— Ну, а самое главное?

— Я же говорю — все в порядке, все сказал, ничего не забыл.

— Ну, так давайте же тогда! — выпалил директор.

— Не понимаю... чего давать-то?

— Всеволод Иванович, ну потюмили и будет! Выкладывайте на стол!

— Выкладывать что?



— Дурака валяете, да? Что достали в Кремлевском ларьке?

— Ничего я не достал. Никакого ларька и в глаза не видал.

Присутствующие изменились в лице. Все смотрели на него, не понимая, продолжает ли он свою неуместную шутку или перед ними случай патологической жадности.

— Ну и хапуга! — взорвался плановик. — Вот вам и добрейший Бармалей! Даже показать не хочет.

А Шишкин стоял, окруженный близкими, но внезапно ожесточившимися людьми, и не понимал, чего от него хотят.

Всем, кроме него, было известно, что избранныкам судьбы, которых вызывали в Кремль, дозволялось зайти в тамошнюю столовую и за копейки пообедать, причем обед там был из блюд, недоступных простому смертному даже в мирное время. Кроме того, в ларьке можно было купить на вынос самые дорогие гастрономические лакомства: черную и красную икру, краснорыбицу и осетровый балык, окорок, всякие ветчины и колбасы, не говоря уже о марочных винах и водках. О лучших сортах табака, сигарет и папирос не хотелось и вспоминать. В голодной, лишенной всего Москве военного времени все эти сокровища можно было увидеть если не в Кремле, так только во сне.

Рассказывая об этом происшествии девушкам, Всеволод Иванович от души хохотал и хлопал себя по колену:

— До конца жизни не забуду! Простить себе не могу, что так опростоволохился. Ну и олух! Прости, Господи, дурака!

С тех пор, как поселились у него девушки, стал он часто звонить домой, справляясь, не нуждаются ли они в чем-либо. Выходные дни теперь проводил с ними. Всегда доставал какие-нибудь дефициты и с удовольствием готовил вкусный обед или ужин. Девушки пришли в себя, жилось им неплохо, учеба шла успешно. В доме стали появляться молодые люди в военных кителях или гимнастерках со споротыми погонами, демобилизованные после ранения или контузии. Даже застенчивая Верочка как будто набралась уверенности и чаще стала улыбаться.

Всеволода Ивановича всегда тянуло к молодежи, он прямо расцветал в новой веселой кампании.

Третий октябрьский праздник войны провели особенно весело. Было много выпито, а потом хозяин, вспомнив, как еще во времена немого кино подрабатывал тапером, сел за рояль и стал наяривать вальсы, танго и фокстроты. Стол и стулья сдвинули в сторону, и пары, скользя по паркету, закружились в танце. Потом он пел своим звучным голосом: "По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там..."

Он так разошелся, что даже произнес довольно сумбурный тост. Сказал, что чувствует себя молодым и полным сил настолько, что дай ему пару лыж, так он мог бы оттолкнуться от земного шара — раз! — и оказаться по ту сторону Северного полюса.

Все выпили за "нашего Всеволода Ивановича", за "славного Бармалея".

Расходились за полночь. Девушки стали уговаривать "дядю Севу" остаться. Он дал им убедить себя, однако не согласился занять свою кровать,

в которой подружки теперь спали вдвоем. Из коридора принесли раскладушку, оставленную соседями, и разложили ее под окном. В темноте он быстро разделся, накрылся одеялом и заснул мертвым сном.

Во сне явилась к нему мать. Он лежал в своей детской кроватке, притворялся спящим, а она села на край и затвердевшей от молотка и долота ладонью гладила его по лбу и откидывала непокорные вихры. От этой материнской ласки он испытывал такое блаженство, что даже всхлипнул от счастья и — проснулся.

Сон был до того реальным, что он все еще чувствовал нежное прикосновение ко лбу. Он поднял руку, и пальцы его обхватили холодную слабую руку. Он вздрогнул и сел, задев чье-то голое плечо. Провел по нему рукой и нащупал под сползающей рубашкой со скрутившимися бретельками узкую, хрупкую спину и слабо развитую, чуть ли не детскую грудь. Окно было рядом, и он, еще не совсем соображая, что происходит, слегка отодвинул плотную занавеску. В щель пробился бледный отсвет улицы, и он узнал Верочку. Втянув голову в плечи, она тянулась к нему, вся дрожала, и слышно было как ее зубы мелко стучали. Все еще не уверенный, что это не продолжение сна, он качнулся к ней и, ощущая запах ее тела, покрытого испариной, прошептал:

— Что с тобой, деточка? Что случилось?

Ему почему-то показалось, что страхась какая-то беда и нужна его помощь. Не заболела ли Аня? А может быть вор забрался в квартиру?

Вера вдруг отчаянным движением припала к его груди... И хотя у него был весьма скромный опыт в обхождении с женщинами, но при всей своей некомпетентности в этой сфере, он ощутил

что имеет дело не со спонтанным порывом страсти, а с чем-то поддельным и неестественным. К тому же от него не укрылось, что Верочка то и дело озирается в сторону кровати, где, должно быть, Аня не спала, прислушиваясь к происходящему. Он остановил и сжал блуждающие руки:

— Что с тобой, Вера? Успокойся!

Она прильнула губами к его уху:

— Вы ничего не знаете, дядя Сева... Простите! — и заплакала навзрыд. Она билась в ребячьей истерике, пока дрожь не унялась.

Она оплела его руками, хлюпала носом, а он сидел, не смея шевельнуться, и только проводил руками по ее взмокшим от пота и слез волосам. Понемногу Верочка успокоилась. Потом она поднялась, схватила его руку, поцеловала и ушла к Анечке.

Он долго еще лежал неподвижно, пытаясь разобраться в случившемся. Рассвет начал уже проникать в комнату, когда, наконец, его одолел тяжелый спасительный сон.

Проснувшись, он обнаружил, что кровать девушек уже застлана, а их самих в квартире нет. Стол был прибран, и только батарея пустых бутылок на кухне напоминала, что вчера здесь шел пир горой. Он заварил себе чаю. В голове с похмелья гудело, он плохо соображал, но все-таки пришел к выводу, что все это с Верочкой ему приснилось. Это был просто кошмарный, извращенный сон. Но когда подробности ожили в его памяти, ему стало нехорошо. Хотелось навсегда забыть это ощущение неумелых мокрых поцелуев и беззастенчивых попыток ищущих рук. Нет, это невозможно, внушал он себе. Это плод возбужденной вином похоти. Одно утешение, что даже в этом страшном сне он не запятнал себя чем-то нечестным по отношению

к девушке. От этой мысли стало легче на сердце. Но оставался неприятный осадок от мысли, что, забыв о возрасте, уж больно разгулялся вчера вечером.

Перед уходом он открыл шкаф, взял смену белья и машинально вытянул заветный сверток. В жестянке икры оказалось совсем немного. В недоумении он прошелся по комнате. Теперь только заметил, что и в серванте недостает нескольких серебряных вещей. Особенно жаль ему было серебряной походной фляги деда с дарственной надписью от друзей. Он подумал, что напрасно девушки впускают в дом разных людей. Надо бы их предупредить. Народ пошел сейчас всякий, времена-то тяжелые...

#### 4

До разговора с девушками, однако, не дошло. После той ночи Шишкин снова с головой ушел в работу, а через несколько дней директор известил его, что он должен срочно ехать в командировку. Ижевский подсобный завод задерживает необходимые детали, и надо бы накрутить им хвост. Всеволод Иванович был уверен, что его присутствие в Москве было бы полезнее, а в Ижевск можно послать и рядового инженера, но не в его натуре было возражать. Машину до вокзала ему не дали — директору нужно было срочно ехать в трест. На метро он добрался домой. Девушки были на занятиях. Он кинул в баульчик самое необходимое и выбежал. Не успел добежать еще и до угла, как обогнал его какой-то газик, сразу сбросивший скорость. Через опущенное боковое стекло высунулась голова:

— Всеволод Иванович, куда это вы так спешите?

— К поезду, на Казанский, — бросил поравнявшийся с машиной Шишкин.

Водитель улыбался ему дружески. Лицо показалось откуда-то знакомым, но вспомнить обстоятельства встречи не было времени. Не то на каких-то совещаниях в тресте, не то на пристани яхт-клуба, не то на каком-то лыжном пробеге. Свой в доску с виду парень, курносый, с голубыми глазами и заячьими усами над озорно улыбающимся ртом.

— Я как раз в ту сторону! Залазьте, подброшу.

Шишкин плюхнулся на сиденье, и машина прибавила скорость. О чем вести разговор с удручившим ему водителем он не знал. Все еще не мог вспомнить, откуда они знакомы. Пришлось прибегнуть к общим фразам.

— Ну, как оно живется?

— Да ничего. Вот война кончится, тогда и заживем. А как там у вас, по-старому все? Собираетесь так же часто?

— Да я, брат, честно говоря, так загружен, что нигде сейчас не бываю, — ответил Шишкин. — Не помню уж, когда и отдышал.

— Это точно... Все мы теперь так, — сказал шофер.

Шишкин вдруг спохватился, что едут они по Кузнецкому мосту.

— Ты что, брат? Нам по Охотному ряду надо. К чему такой крюк? Опоздаю ведь я.

— Знаю, да въезд на Охотный закрыт. Успеете!

Водитель прибавил газу, и машина закружила по каким-то проулкам. Неожиданно он громко просигналил, хотя ничто не преграждало им пути. И тут же, вывернув руль влево, въехал куда-то

в широко распахнувшиеся железные ворота, которые сразу же с грохотом за ними захлопнулись. Поднялся какой-то шлагбаум, и они остановились посреди небольшого дворика, на дне колодца из девятиэтажных стен. Все окна вокруг были закрыты плоскими ящиками. У машины появились два офицера с красными петлицами. Один из них жестом пригласил Шишкина выйти наружу.

Потом он сидел на скамье в каком-то коридорчике и не понимал, что происходит. Прошло уже несколько часов с того момента, как старший из офицеров, майор, отобрав у него паспорт и командировочное удостоверение, велел ждать здесь, на этой вот скамье. Мимо проходили военные и гражданские, пытливо всматриваясь в его лицо, как ему казалось, осуждающим взглядом. Майор все не появлялся. Шишкина мучила мысль, что на заводе ничего об этом не знают, и уверены, что он уже на пути в Ижевск. Судя по петлицам военных, находился он на Лубянке. Он был уверен, что его хотят допросить по какому-то делу, и недоумевал, зачем понадобился этот грубый фарс с услужливым мнимым знакомым. Ведь достаточно было позвонить к нему или вызвать повесткой.

Никакой вины он за собой не чувствовал. Совесть была настолько чиста, а нервы здоровы, что от вынужденного безделья он даже вздремнул, прислонившись к спинке скамьи. Разбудил его толчок в плечо. Перед ним стоял немолодой уже подполковник с бумажкой в руках, который, уточнив, он ли Шишкин Всеволод Иванович, повел его в свой кабинет.

Они долго сидели молча друг против друга, пока офицер, зевнув, не начал задавать вопросы, ответы на которые были ему заранее известны: место жительства, работа, занимаемая долж-

ность... Затем, выдержав паузу, спросил в упор:

— Всеволод Иванович, готовы ли вы чистосердечно раскаяться и рассказать следственным органам о своей контрреволюционной деятельности? Мы, конечно, и так все о вас знаем, хотим только убедиться, насколько в вас укоренилось зло.

Шишкин оцепенел. Сидел и бессмысленно хлопал глазами. Хмурый вид подполковника свидетельствовал, что все происходящее — отнюдь не шутка.

— Простите, — ответил он, наконец. — Не понимаю, о какой контрреволюционной деятельности вы говорите. Я всю жизнь держался в стороне от всякой политики. На нее у меня просто времени не хватало.

— В том-то и дело! На Первомайскую, на ноябрьскую демонстрацию трудящихся вам некогда было сходить, но готовить побег за границу — для этого времени у вас было достаточно.

— Опять не понимаю!

— Вот ордер на арест, — сказал подполковник. — Санкционированный военной прокуратурой. И уверяю вас, что следствие полностью разберется в вашем антисоветском нутре.

## 5

Следствие длилось недолго. Шишкину предъявили обвинения в восхвалении капиталистического мира и попытке побега за границу.

Первое обвинение держалось на показаниях токаря Петра Коваленко. Во время предварительного следствия, вызванный в парткабинет завода к оперуполномоченному, подвергся он жестокому нажиму и был вынужден "доказать свою предан-



ность советской власти”, разоблачая классового врага. Хотя ему не было известно ничего, что могло бы опорочить Шишкина, ловкими приемами из него выудили показания о том, как Всеволод Иванович, демонстрируя какую-то мельчайшую деталь британского производства, подчеркивал точность и совершенство исполнения, противопоставляя его родимому разгильдяйству. Но этот материал был шаток и не совсем убедителен. Более тяжелым было обвинение в попытке бегства за границу. Шишкин пытался доказать, что и в мыслях у него ничего подобного не было, что несколько лет назад ему предлагали место главного механика в экспедиции с зимовкой в Беринговом море, где в его распоряжении был бы целый катер, но он отказался.

Ему пообещали устроить очную ставку. Несколько дней ломал он себе голову, кого это они могут привести.

Он не поверил своим глазам, когда место рядом с ним перед письменным столом следователя заняла Анечка. Еще невыносимей было слушать, что она говорила в присутствии понятых. Анечка рассказывала, что на праздничной вечеринке Всеволод Иванович Шишкин заявил о своем намерении перебраться хотя бы на лыжах через Северный полюс в капиталистический мир. Он призывал и других присутствующих пойти по его следам, подчеркивая, что ныне мы *здесь*, а завтра *там*. На вопрос о моральном облике подследственного Анечка показала, что ей известен факт, как гражданин Шишкин пытался заставить комсомолку Веру Курочкину сожительствовать с ним. Однажды, после той же самой вечеринки, она была свидетелем, как Вера боролась с подследственным, который тащил ее в свою постель.

Шишкин всматривался в лицо Анечки, вслушивался в переливы ее голоса и должен был признать, что актерство — ее настоящее призвание. Все дышало в ней искренностью и неподдельным возмущением. Он понял, что она его ненавидит и желает его гибели. Только за что? Подавлял в себе мысль о том, что, может быть, она расплачивается с ним за свое безотцовское детство, за безропотное одиночество матери.

Только потом узнал он подоплеку дела. При всем своем простодушии понял, что все оно было создано с единственной целью — запрыгать его в лагерь на многие годы. Непонятно было лишь одно — кому это было нужно? Кто все затеял? Ведь служил он стране лояльно, выполнял ответственные задания, всегда держался в пределах законности... Только когда следствие было завершено и, согласно 206-й статье уголовно-процессуального кодекса, ему было предоставлено право ознакомиться со следственными материалами, перед ним все открылось.

Суть дела таилась в его комнате и унаследованных им картинах, рисунках и эскизах деда. Оказалось, что еще задолго до войны одному из жильцов их коммунальной квартиры захотелось присоединить к своей скромной клетушке комнату Шишкина, большую и светлую. А поскольку этот человек имел связь с органами, то и начал он писать доносы на своего соседа. Он обращал внимание соответствующих органов на систематические лыжные вылазки и продолжительные парусные круизы гражданина В. И. Шишкина вблизи объектов военного значения. И еще сигнализировал бдительный сосед, что наблюдаемый ведет много телефонных разговоров, по всей вероятности зашифрованного содержания, ибо никак нельзя разобрать, о чем идет

речь. Однако всего этого материала было недостаточно для возбуждения серьезного следствия, да к тому же грянула война, и дело на время заглохло. Лишь когда управдом доложил по своей линии, что Шишкин вселил в свою комнату двух девушек сразу, кто-то наверху решил дать делу новый толчок. За девушками было установлено наблюдение. Через комсомольскую ячейку театрального училища установили контакт с Анечкой. Оперуполномоченный выяснил ее отношения с Шишкиным и в первом же разговоре назидательно указал ей на нравственный аспект проживания девушек в холостяцкой квартире, что может дать пищу разным кривотолкам. Одновременно ей дали понять, что ее благодетель — личность в некоторой степени подозрительная. Не исключено, что его могут лишить права на прописку в Москве и тогда, кто знает, комната может остаться за нею, поскольку она там прописана. Шансы получить место в общежитии были ничтожны, — она уже привыкла считать комнату Шишкина своей — вместе со всем содержимым. Деньги, вырученные в антиквариате за серебряные изделия из серванта, позволили ей обновить свой гардероб. А ей очень не хотелось отставать от других студенток, одевавшихся с шиком, как подобает будущим артисткам.

Она начала исподтишка настраивать Веру против их благодетеля и пугать ее возможностью потери жилища. Но Веру нелегко было втянуть в интригу. Хотя она и не знала, куда метит Анечка, но чувствовала, что назревает что-то неладное. Беседы в комсомольской ячейке, как и допросы оперуполномоченного не давали желаемых результатов. Перед памятной вечеринкой Анечка начала ее страшить неотвратимой перспективой остаться снова без

крыши над головой, так как Всеволод Иванович должен якобы в ближайшее время опять возвратиться в свою комнату. Им обоим надо закрепить положение в этом доме даже путем заведения с хозяином шашней.

Вера должна была пожертвовать собой и прямым приступом взять старого холостяка. В ту ночь, когда Шишкин заснул мертвым сном, Анечка силой, щипками и толчками, заставила упирающуюся Веру идти соблазнять громко храпящего Всеволода Ивановича. В запальчивости не воздержалась даже от пинков, выталкивая из кровати смертельно перепуганную Веру.

Читая составленный следователем материал, Шишкин пришел к выводу, что ему легко будет доказать перед судом всю несостоятельность обвинений. Он затребует вызова свидетелей, которые подтвердят подлинность его доводов.

Никакого суда, однако, не было. Шишкина перевели в Бутырскую тюрьму, где как-то его вызвал к себе начальник и дал подписать листок бумаги, из которого следовало, что решением Особого Совещания при МВД СССР он приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую пропаганду и попытку изменить родине.

## 6

В "стольпинском" вагоне, увозящем Шишкина из Москвы на Северный Урал, урки решили ночью обобрать его. В зарешеченную клетку, рассчитанную на десять человек, впихнули пятнадцать направляемых в лагерь зэков. Четыре матерых урки заняли верхнюю сплошную нару, столкнув осталь-

ных спутников вниз на скамейки и на пол. Бармалей, как новичок, очутился на полу у стены. Его теплая на меху куртка, крупной вязки свитер и высокие лыжные ботинки на толстой подошве привлекли внимание уркачей еще при посадке в вагон. Было решено все у него отнять, а затем поиграть на это барахло в картишки.

Ночью один из урок спустился с верхней нары, разыскал в темноте спящего Бармалея и стал сдирать с него куртку, шипя в ухо: "Молчи, гад, не вздумай брыкаться..." Обиравый спросонья не сразу понял в чем дело, но потом, освободив руку, сдавил попавшееся ему под пальцы горло. Блатнячок, не успев и пикнуть, тут же потерял сознание. Пришлось Бармалю стащить его с себя и лечь на него сверху. Это оказалось даже удобнее, чем отлеживать бока на твердом полу. Поскольку незадачливый грабитель не возвратился на верхотуру, там решили, что он, видимо, не желает с ними делиться добычей и отправили вниз второго, которого постигла та же участь. Когда никто не ответил на цоканье языком и окрики, сверху спустился третий кира и — пополнил подстилку под Бармалеем. Их попытки вылезти он пресекал — ударом кулака по башке или прижатием носа к полу. И все это происходило в полной тишине. Конвоиры ничего не замечали или не хотели замечать. Оставшийся последним блатарь, почуяв неладное, не рискнул до утра выяснять причины исчезновения своих дружков.

В большой камере первой же из пересыльных тюрем неудачливые налетчики, договорившись о подкреплении, накинлись на Шишкина вшестером. Но Бармалей одним рывком разнес нары-вагонетку, выхватил толстый брус, загнал грабителей страшными ударами в угол камеры и заставил их лечь нич-

ком на пол. Затем он выяснил у запуганных сокамерников, что у кого было отнято, и возвратил пострадавшим их пожитки. С тех пор никто из уроков не покушался раскурочить Бармалея или хотя бы чем-нибудь его задеть.

## 7

Строительство Широковской ГЭС на реке Косье, куда Шишкин был направлен, безнадежно затянулось. Со сдачей объекта в эксплуатацию запаздывали уже на несколько лет. С приездом Шишкина темп монтажных работ на электростанции ускорился. Распределительный щит почти целиком сделан был руками Бармалея. Он стал первым человеком на стройке. Хотя срок только начинался, он был расконвоирован, дабы в любое время дня и ночи мог выйти из жилой зоны в производственную. Он пропадал на стройке целыми неделями так же, как в свое время на заводе. Ему разрешили даже смастерить себе парусную лодку, на которой он в редкие свободные часы ходил по верхнему бьефу перерезанной плотиной Косьвы. Уважаемый начальством и работягами, наводивший своей физической силой ужас на блатной мир, он был самым выдающимся эзком в Широклаге.

Был, однако, в этом же Широклаге человек, у которого высококвалифицированные специалисты из инженерно-технического состава стояли на особом учете. Это был старший оперуполномоченный Дурандин. Контуженный в начале войны, он был в звании майора переведен в распоряжение ГУЛага. Свою основную задачу чекиста видел он в том, чтобы не допускать утечки хороших кадров из системы лагерей. Если кто-либо из инженеров,

отбыв свой срок, освобождался, майор Дурандин считал это упущением в работе и своим личным поражением. Шишкин казался ему самой желанной добычей и охотился он на него с остервенением. Он обложил его целой сетью стукачей, завербованных среди эков, но Бармалей, наученный горьким опытом, не давал себя поймать на слове. Попросту не вступал ни в какие разговоры, кроме чисто деловых. Скучные доносы стукачей не давали повода возбудить дело и прибавить сроку. Теряя терпение, майор начал лично рыскать в производственных делах Шишкина, надеясь найти хоть какую-либо улику, свидетельствующую о саботаже.

Однажды Бармалей застал его склоненным над своим чертежным столом и рассматривающим чертеж этажного перекрытия машинного зала. Увидев Шишкина, Дурандин ткнул пальцем в какую-то техническую деталь и спросил нарочито деловым голосом:

— Скажите, Шишкин, к чему эта фуевина?

Ответ Бармалея последовал на том же самом техническом уровне:

— Эта фуевина, гражданин майор, поддерживает эти две вышележащие фуевины, на которых держится вся несущая фуевина.

Дурандин бросил на него из-под насупленных бровей ничего хорошего не обещающий взгляд и удалился, и на сей раз потерпев неудачу.

Где-то под конец 1947 года Дурандин заставил двух своих стукачей дать заведомо ложные показания и добился санкции прокурора на арест Шишкина, которого водворили в ДПЗ при районном отделе МГБ.

Отсутствие ведущего инженера замедлило и чуть не сорвало вовсе пуск гидроэлектростанции. Главный инженер стройки, полковник Кочетов, даже

лично съездил в областной город, Молотов, чтобы хлопотать за своего инженера и унять чересчур ретивого майора Дурандина.

Кочетова ли усилиями или дело было уже раньше решено, но Дурандина вдруг назначили начальником оперативного отдела, находящегося в соседстве с Кизыллагом. Это было лестное повышение, и Дурандин, бросив все, в том числе и незавершенное дело Шишкина, быстро переехал на новое место. Изнуренный трехмесячным арестом, исхудавший Бармалей возвратился без "добавки" на стройку и продолжил свою работу, которая обеспечила светом и энергией громадное пространство таежного края.

Ему возвратили пропуск на бесконвойное передвижение, и однажды, год спустя после злоключений со следствием, понадобилось ему съездить на станцию Половинка, расположенную в тридцати километрах от стройки. Там, проходя мимо при вокзального базара, он заметил женщину, продававшую с рук знакомое откуда-то добротное кожаное пальто-реглан. Это жена Дурандина распродавала гардероб своего мужа. Узнав об этом, придурки выведали у болтливого начальника снабжения историю о взлете и падении майора Дурандина.

Оказалось, что на новом месте майор Дурандин, поверив в свои неограниченные возможности, начал тихой сапой подкапываться под начальство Кизыллага, у которого и на самом деле погрешностей было предостаточно. Но начальник управления и его заместитель были чекистами еще со времен Дзержинского и выучку проходили у Бермана. Они быстро раскрыли козни Дурандина, решили проучить ненавистного всем "кума" и избавиться от него. Мастера провокаций, они устрои-



ли ему западню, в которую тот и попался. Действовали сначала с помощью расконвоированной экспедиторши Маши, пригожей рыжей бабенки, которая славилась тем, что в свое время удостоилась чести принадлежать к сонму "пепеже" (походно-полевая жена) маршала Рокоссовского. Она должна была войти в интимную связь с Дурандиным и дальше действовать по указке. Но привитое старому службисту чувство благоговения перед командующим фронтом сорвало тонкий план. Дело в том, что Маша, желая увековечить апогей своей ратной славы, велела вытатуировать на обеих половинках своего аппетитного зада надпись в форме сердца. Наколотые буквы гласили: "Мое сердце принадлежит Косте Рокоссовскому". Покуситься на собственность трижды Героя Советского Союза старый солдафон не посмел. Пришлось подыскивать другую кандидатуру. Высокое начальство остановило свой выбор на молодой бытовичке Анне Серафимович, бывшей студентке театральной школы в Москве, уже два года находившейся в заключении.

## 8

После ареста Бармалея Анечка почувствовала себя полноправной владелицей его комнаты и всего имущества. Пристрастие к модным тряпкам толкнуло ее на продажу нескольких картин и эскизов деда Шишкина. Они были обнаружены таможенниками у иностранца, отлетающего из Москвы. Началось следствие о попытке вывоза из СССР музейных национальных ценностей. Тем более, что по приговору имущество Бармалея подлежало конфискации. Анечку арестовали, комнату опечатали, все вещи были изъяты. Некоторые из

украденных картин, оправленные в тяжелые позолоченные рамы, украшали потом стены квартир известных советских писателей: Льва Шейнина и драматурга Николая Погодина.

С Анечкой обошлись довольно снисходительно: за хищение национальных ценностей и связь с иностранцами ей дали всего пять лет — детский срок. В Кизыллаге она обратила на себя внимание своей миловидностью и ее определили в машинистки при Главном управлении. "Платила" ли она за это послабление и чем, никому не было точно известно. Однако это не давало покоя Дурандину, который, узнав о ее причастности к делу Шишкина, все чаще стал вызывать ее в свой домик на допросы-беседы, надеясь при этом побольше узнать, чем дышат его противники из лагуправления. Начальник лагеря и его заместитель все это предвидели: Анечка действовала по их указаниям. Ей без труда удалось обольстить и разжечь страсти стареющего чекиста.

Как-то майор велел доставить ее для допроса в свой кабинет в жилой зоне лагеря. Было уже далеко после отбоя. Дурандин явился как обычно, подвыпивший и, манкируя служебными правилами, не сдал на вахте личное оружие. Во время рандеву Анечка ухитрилась вытащить из портфеля майора несколько папок с грифом "секретно" и выбросить их на крыльцо наводившего страх домика "кума".

Ровно в полночь, когда весь лагерь давно уже спал, начальник управления и его заместитель разбудили телефонным звонком районного прокурора и уведомили его, что за ним послана машина, ибо получен сигнал о чем-то неладном, творящемся в жилой зоне центрального лагпункта.

Когда они втроем явились на вахту, начальник

режима и дежурный вахтер доложили, что майор Дурандин пришел после отбоя, как всегда явно под мухой, не сдал на хранение огнестрельное оружие и велел доставить к себе заключенную Анну Серафимович.

На крыльце укромного домика прокурор собственноручно подобрал рассыпанные секретные материалы. Майора захватили врасплох в одних бледнолиловых подштанниках. Анечка же слепила глаза белизной своего обнаженного тела.

Дело бывшего майора Дурандина тянулось недолго. Состав преступления был налицо. Незадолго до описанных событий был объявлен закон о разглашении государственных тайн и разгильдяйстве в хранении секретных государственных документов. Дурандин был одним из первых, на которого новый закон обрушился со всей строгостью. К тому же добавили обвинения в проносе огнестрельного оружия в лагерную зону, сожительство с заключенной женщиной, изнасилованной под угрозой оружия — согласно ее показаниям. Его лишили воинского звания и наград, приговорили к семи годам лагерей. Дурандин мог рассчитывать на льготы и поощрения во время отбывания срока, но строптивый характер навлек на него много бед. Его колотили не только эки за то, что он был ненавистным "кумом", мотавшим людям новые добавочные сроки, но еще больше попадало от вохровцев, которых он всячески оскорблял. Молва о нем еще долго носилась по лагерям Северного Урала. Говорили, что он, мол, совсем спятил, выдавая себя за жертву "жидовского заговора двух старых чекистов", которых он пытался разоблачить.

Анечка после суда над Дурандиным, где ей выпало играть коронную роль главного свидетеля,

не могла оставаться больше в Кизыллаге, и ее перебросили куда-то по спецэтапу.

От Шишкина я узнал, что во время их непродолжительного разговора на станции в Челябинске Анечка назвала его главным виновником ее бедствий: не приюти он их с Верочкой у себя, она возвратилась бы в свой Рыбинск и вела бы тихую жизнь. Москва, мол, ее развратила...

## 9

Мы попали с Всеволодом Ивановичем Шишкиным в только что организуемый на месте бывших Темниковских лагерей Дубровлаг. Крепко подружились и долгие годы делили каждую мысль, каждый лишний кусок хлеба, каждую лишнюю ложку баланды.

Прошли годы. Мы распрощались с Архипелагом ГУЛаг и пытались каждый на свой лад сколотить наши разбитые в щепки жизненные челны.

Раз в два года я навещал Москву, звонил Бармалею, и мы встречались. Жилось ему неважно, но он не жаловался. Работал рядовым инженером на дрянном заводе. Подрабатывал настройкой роялей. Хотя его официально реабилитировали, комнату и изъятое имущество не возвратили. Жил он в одной комнате коммуналки какой-то многоквартирной пирамиды на юге Москвы.

Единственным его утешением остались музыка и лыжи. Иногда летом он отправлялся в отпуск в субтропическую Аджарию, куда приглашал его старый друг, управляющий чайными плантациями. Бармалей был там своим человеком, помогал модернизировать и рационализировать производство. Хоть и была это пограничная зона, тем не менее

ему было разрешено свободно передвигаться и заплывать далеко в море.

Однажды вечером в деревушке Сарпи он вошел в море и поплыл прямо... Его одежда осталась на берегу, а тела никогда не нашли. Через какое то время его официально признали утонувшим. Но нам всем, хорошо его знающим, нелегко в это поверить. Он был слишком хорошим пловцом и мог в течение многих часов держаться на воде. А ведь там стоит только сделать круг в десять-двадцать километров и можно выйти на турецкий берег. Мы, его старые друзья, не уверены, что Барма-лей погиб. Кто знает, не живет ли он где-либо среди свободных людей?

А может быть взлетел в синий простор над морем и возвратился туда, откуда был ниспослан.

Кто знает...



## Радость творческого слова

*Памяти Леонида Ржевского*

Выдающийся русский писатель и литературовед Леонид Денисович Ржевский не оставил своей полной автобиографии или мемуаров. Конечно, ему приходилось давать короткие о себе сведения своим издателям да еще друзьям удавалось из личного общения с ним и разговоров составить более полное представление о его жизненном пути. Можно было бы и здесь ограничиться обычным послужным списком: родился — учился — работал — написал — состоял или не состоял — участвовал или не участвовал — привлекался или не привлекался и так далее до конца. Но как-то уж очень не хочется сводить все к официальному и сухому некрологу. Хочется, пусть заведомо в неполном виде, но передать хоть что-то через его собственное — *художественное* — слово.

Вот и произнесено. Именно слово, слова, язык составляют и главную, и отличительную особенность Ржевского и как писателя, и как литературоведа, и как педагога. Язык, русский язык не только как таковой, но удивительное, редкое сегодня отношение к нему, определяемое одним словом: *радость*. Есть владение языком и владение. Он в совершенстве владел русским *литературным* языком, а еще больше ценил и радовался ему у других. Для него русский литературный язык был данностью, инструментом готовым и совершенным, даром, оставленным нам великой русской литера-

турой — бери и пользуйся. Но Ржевский хорошо понимал гремучесть этого дара. Слово может разрушать и растлевать, и тем больше, чем искуснее и талантливее мастер слова. Наверное, в разное время литература несет разные смысловые функции, лучше сказать, время навязывает ей такие функции. Восстать из немоты и забытия, обличить и показать, напомнить, и тогда совершенство языка уходит на второй план, им начинают пользоваться небрежно, тем самым теряя бережность и уважение к языку, стирая смысл и назначение слова. Ржевский как бы принял на себя задачу сохранения и показа слова. Литература потеряла не просто писателя, она потеряла писателя-стилиста и литературоведа, который умел видеть и высветить литературный стиль у других.

Но все же, писатель когда-то и где-то родился, учился и так далее. Л. Д. Ржевский родился в 1905 году в Москве, окончил школу, университет, аспирантуру, защитил диссертацию по Грибоедову ("Язык Грибоедова..." — тема совершенно "бесхребетная" по тем "героическим" временам, когда "отец народов" был, конечно же, и "корифеем языкознания"). К началу войны был доцентом Московского Государственного Педагогического института им. Ленина. Казалось бы, все обычно. Но это только на первый взгляд. За сухими строчками стоит другое.

Цепкая юная память подростка, мальчика из старинного русского аристократического рода навсегда сохранила вот это:

"Два чугунных льва, кони моего детства, со звонкой, если постучать камнем, чугунной внутри пустотой. Дом непонятной архитектуры, с где попало прилепленными террасами и балкончиками, а внутри — бесконечными коридорчиками и лесенками. Шумные трапезы за длинным

столом, за который садилось голов пятьдесят, — трапезы, кончавшиеся почти всегда оглушительными спорами или таким вдруг неистовым "Вихри враждебные веют над нами", что случайно забредший урядник, примостившись на балконной ступеньке, замирал в страхе, дожидаясь, покуда крамола не кончится..."

Или это:

"Он сидел (дед? отец? — глава дома. — Ек. Б.), заваленный книгами, торча поверх них одной бородой, — маленький такой орлиноносый патриций — бунтарь, которого Третий Наполеон сажал когда-то в парижские тюрьмы, а Третий Александр — в отечественные. Рядом с ним, за сетчатой перегородкой, сквозил бронзой и блеклым маслом портретов "Храм предков", почему-то называвшийся на нашем домашнем жаргоне 'музгаркой'".

А уже в двадцатом:

"Дом стоял, как и прежде, осыпаясь балкончиками: из уважения к революционным заслугам владельца ничего здесь не тронули, но какая скоротечная всюду разруха и нищета!"

И как сразу простая биография становится совсем не простой. Коса новой власти никого не минула, но думается, безоглядней всего, бессожалительней всего секла она именно русское дворянство, отпрыскам которого пришлось заплатить цену, если пришлось, непомерную — просто за выживание. Конечно, Ржевский учился, закончил, защитил диссертацию и преподавал, но неизвестно, ни в каких кругах он жил, ни кто были его учителя или ученики, ни какие работы напечатал — а ведь должен был бы, перед тем как уйти тридцатилетним на фронт, чтобы почти немедленно оказаться в гиблейшем из гиблейших котлов окружения — Вяземском. Есть, конечно, есть и о том времени в его книгах, но там уже трудно отличить



правду от вымысла. Может, потому и не взялся за описание, что, как он сам признавался:

”Нет, разумеется, описать все это в полный пульс и накал мне не под силу. Тут нужен новый Толстой, который непременно когда-нибудь придет...”

Но через все его книги тянется неугасимой болью жуть того, предвоенного, времени — это то обморочное удивление не столько перед тем, как человек может сам пасть, такое нам русская литература в одной линии с Достоевским показала, — сколько перед тем, как еще глубже можно человека *заставить* пасть, казалось бы, против его воли:

”Вы говорите: не покорились бы, лучше смерть. Как вы себе представляете эту смерть? Героические времена эшафота кончились. Даже на виселице можно было еще умереть гордой смертью. Но — не в застенках чека! Там не просто лишали жизни; там коверкали ваше тело и волю, заставляли оболгать друзей, близких, превратиться в слякоть, дрожащую и безвольную — и тогда жертвовали девять граммов свинца в затылок и закапывали в какой-нибудь подлой яме, как падаль”.

Для Ржевского главное — это предательство человеком самого себя. Дело тут не в каком-то фактическом предательстве или его степени. ”Строгое время” парализовало волю к любому виду сопротивления:

”...и это еще ужасней ужасного. Я хочу сказать, что отказываясь от подвига, чтобы выжить, мы истлевали духом. Тоска по подвигу — живая вода хотя бы малого искупления. Но мы молчали, когда надо было крикнуть палачам ”нет!”, голосовали за казни невинных, предавали друзей, то есть, значит, предавали самих себя — самый страшный вид предательства”.

Ибо, как он сказал в другой книге: "прощать его уже *некому* и раскаяться *нечем*..."

По книгам Ржевского можно крупными соборать как бы квинтэссенцию большого романа, который к настоящему времени уже написан другим автором, в других условиях — это роман Андрея Битова "Пушкинский дом", как раз о цене, заплаченной русской аристократией за выживание. Есть в повести Ржевского "...показавшему нам свет" сцена — всего в две странички — унижения старого патриция в опустевшем и запущенном родовом гнезде "мужиковствующим" потомком, женившимся на скотнице. Сцена эта принадлежит, без гиперболизации, к лучшим и сильнейшим страницам русской литературы.

Война обернулась для Ржевского эмиграцией и в каком-то определенном смысле благом, которое дало ему возможность раскрыться — а раскрываться, несомненно, было чему — как писателю, так и литературоведу. Был ли это выход из "внутренней эмиграции" во внешнюю, судить трудно, но уже по первым его публикациям: роману "Девушка из бункера" и литературно-критическим статьям — видно, что эмиграция приобрела в Ржевском сразу зрелого литератора. Он и за редакторство "Граней" взялся именно умелой рукой — у него было литературное чутье и высокий взыскательный вкус, что и помогало ему в смятенное послевоенное время делать настоящий и добротный "толстый" журнал.

С середины пятидесятых годов Ржевский полностью отдался преподаванию, литературоведческим изысканиям и писательству.

Наверное, у каждого писателя есть свое особое понимание литературы, если угодно, концепция, хотя далеко не каждый в состоянии ее выразить.

Понимание литературы Ржевским отличается своей цельностью и законченностью. "Структура, образная система, речевая ткань, образ автора" — вот четыре слагаемых, неслиянных и нераздельных ипостаси литературного произведения, как в написании, так и в прочтении литературно-художественного целого в процессе его эстетического раскрытия. Конечно, такое понимание стоит совершенно в стороне от утилитарно-социологической концепции, которая непременно выдвигает во главу угла "идейное содержание".

В своем творчестве Ржевский эту свою концепцию проводил. Быть может, в художественном письме его больше тянуло к образной системе и речевой ткани — недаром же объектом его литературной любви и преклонения был И. Бунин, а из советского периода — М. Пришвин. В своих же литературоведческих анализах он придерживался своего подхода к "прочтению творческого слова" уже полностью, что и доказывают его работы о ярчайших явлениях русской литературы — Достоевском, Пастернаке, Булгакове, Бабеле, а также о наших современниках Солженицыне, Максимове, Ахмадулиной...

Видимо, нам сегодняшним необходимо временное расстояние, чтобы по-настоящему оценить в полном объеме творчество Л. Ржевского и его вклад в русскую литературу в разных ее областях. Но в одном нет сомнения — это творчество достойно творческого же прочтения и высокой оценки.

Поскольку, думается, Л. Д. Ржевский для широкого читателя больше известен как писатель, а как литературовед меньше, хотя в профессиональных кругах он составил себе доброе и почитаемое имя, мы перепечатаем одну из его работ из небольшой книжечки "Три темы по Достоевскому" ("Посев",

1972). Уже сам выбор темы — мотив жалости — и ее художественное воплощение у Достоевского показывает Ржевского как одного из редчайших в наше время мастеров творческого прочтения творческого слова.

*Е. Брейтбарт*

Леонид РЖЕВСКИЙ

## **Мотив жалости в поэтике Достоевского**

### **1**

О Достоевском написано такое множество книг, что теперь, в столетие со дня его рождения, когда мы его поминаем, кажется, что нового уже ничего и нельзя написать — будто все уже высказано.

И все-таки: Достоевский — философ и душевед, социолог и публицист, Достоевский-художник — все эти различные грани творческого гения вряд ли и посейчас рассказаны до конца.

И когда мы хотя бы бегло просмотрим библиографию по Достоевскому в свете этой его многогранности, то отыщем, наверное, если не "белые", то бледные пятна сравнительно мало еще исследованных мест.

Увы! чаще всего они касаются как раз самой, казалось бы, важной ипостаси Достоевского — Достоевского-художника.

Потому что ведь и Достоевский-философ, и

Достоевский-социолог тем, главным образом, и значительны, что представлены творческим словом великого мастера. Достоевский-психолог, "реалист в высшем смысле", как он сам себя называл, -- не автор труда по криминологии, но художник, написавший роман "Преступление и наказание", в котором, как говорил Пастернак, "присутствие искусства потрясает больше, чем преступление Раскольникова".

Но вот как раз работ, которые занимались бы изучением творческого слова Достоевского, его текстов с художественной стороны, его мастерства, -- сравнительно мало.

И кажется, например, что один из самых близких ему мотивов, выражающий некое органическое движение человеческого духа и столь функциональный в его поэтике, освещен совсем еще недостаточно:

Мотив *жалости*.

\*

Самый, вероятно, автобиографический герой Достоевского -- князь Мышкин -- утверждает в одном из внутренних своих монологов:

"...Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества"<sup>1</sup>.

"Сострадание" и "жалость" -- синонимы. В словарях обычно стоит: "*жалость* -- чувство сострадания к кому-либо или чему-либо"; "*сострадание* -- сочувствие, жалость"... В живом речевом употреблении мы делаем, конечно, смысловые различия, иногда весьма тонкие, но в адекватных значениях предпочитаем менее книжное, более непосредственное "жалость"; "жалость" чаще и охотнее входит в такие, например, экспрессивные сочетания, как

"острая жалость", "болезненная жалость", "мучительная жалость" и т. п.

Именно эти определения — "острая", "болезненная", "мучительная" — оказываются наиболее точными, когда мы говорим о жалости у Достоевского.

Говорить же об этом в юбилейные дни — неизбежно, если мы хотим полнее и ярче представить себе облик этого необыкновенного художника и человека.

Ведь само понятие жалости сознательно и целенаправленно дискриминируется различного рода воинствующими материалистами. Солженицын, например, в "В круге первом" рассказывает о том, как происходит это на его родине: "Все поколение Руськино, — пишет он об одном из заключенных "шарашки", — приучили считать жалость чувством унижительным"...

Для Достоевского же жалость, как уже выше цитировалось, была "... может быть, единственным законом человеческого бытия", неперменным и первым соседом любви, основой христианского гуманизма.

Именно поэтому, вероятно, во времена Сталина Достоевский был так обречен на забвение. В годы тридцатые и сороковые "милость к падшим" не призывал никто, и никто не осмеливался написать "Рассказ о семи повешенных", хотя казнимые исчислялись десятками, если не сотнями тысяч. О Достоевском нельзя было читать публичных лекций — автора этого очерка в тридцатые годы не раз приглашали с докладами в московский Институт костного туберкулеза на Божедомке — здание бывшей Мариинской больницы, где родился Достоевский, но прочесть о самом Достоевском ему не разрешили ни разу.

Тоже и позже, когда, после смерти Сталина, начали издавать Достоевского, появились о нем статьи и книги, — тенденциозные авторы их, типа В. Ермилова, Д. Заславского и других, пытались замалчивать, нейтрализовать и даже искажать именно и прежде всего христианское человеколюбие Достоевского.

В русском литературоведении реконструкция облика автора издавна считалась условием верного критического прочтения его произведения. Об этом писал еще Карамзин. "Творец, — писал он, — всегда изображается в творении и против воли своей... Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: *каков я?* ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего".

"Душа и сердце" автора в произведениях Достоевского как раз и доходит до читателя прежде всего — в том сострадании к героям, их несчастьям, надрывам, томлениям, которое так для него характерно. Картины человеческих страданий — описание характеров, бытовых сцен, драматических переживаний и ситуаций в воплощении Достоевского как бы насыщены жалостью сами в себе, как пористое тело какой-либо острою влагой, и мы воспринимаем одновременно и само изображение "жалостного" и жалость как его внутреннюю эмоциональную субстанцию; да, иной раз так и представляем себе, что вот тот или иной характер Достоевский выписывает с искаженным от жалости лицом. Эта его способность вряд ли имеет аналогию не только в русской, но и в мировой литературе. А творческое выражение этой способности — о котором пойдет далее речь — исключительно по многообразию форм и выразительности.

Малоудачно и вводит в заблуждение прозвище "жестокий талант", данное Достоевскому Н. Михайловским. Многие понимают это прозвище как упрек Достоевскому в том, что изображал, главным образом, человеческие страдания. Но тема страдания — традиционная тема русской литературы; "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать" — сказал Пушкин, не Достоевский. Другие видят "жестокость" Достоевского в том мучении жалостью которому подвергает он читателей, забывая о том, что, муча жалостью, он прежде всего мучится ею сам...

Н. Лосский в книге "Достоевский и его христианское миропонимание" приводит воспоминания о Достоевском А. Врангеля, его сибирского друга, который пишет:

"Все забытое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие; его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем, близко знавшим его; снисходительность Ф. М. к людям была как бы не от мира сего"<sup>2</sup>.

Как природу этой отзывчивости Достоевского биографы отмечают его с детских лет определившую острую впечатлительность, рефлексивность. В рассказе-воспоминании "Мужик Марей" образ болезненно-нервного девятилетнего мальчика автобиографичен.

О Достоевском раннего петербургского периода Авдотья Панаева в своих "Воспоминаниях" писала так:

"С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно подергивались"<sup>3</sup>.



”Я был болен болезнью странною, нравственною, — пишет об этих же (сороковых) своих годах сам Достоевский. — ... Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитою болезненно”.

Собственно — об эмоции жалости как выражении этой впечатлительности Достоевский, уже пожилым совсем человеком, в 1875 году, пишет жене, Анне Григорьевне:

”Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг, бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это, — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!”

В письме идет речь о случае, когда Достоевский на богослужении впервые (ему было тогда 8 лет) услышал чтение о страданиях Иова. Позже он расскажет об этом в романе ”Братья Карамазовы” устами старца Зосимы:

”...Вышел на средину храма отрок с большою книгой... и начал читать... И предал Бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразили диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его... ...И разодрал Иов одежды свои и бросился на землю, и возопил: ’Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!’ Отцы и учителя, пощадите теперешние слезы мои — ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою восьмилетнею грудкой моею... С тех пор... и не могу читать эту пресвятую повесть без слез”<sup>4</sup>.

Биографы-исследователи Достоевского считают, что этой его болезненной чуткости способствовали семейные впечатления детских лет: тяжкий характер отца, безответность матери, бывшей в глазах детей жертвой. Л. Гроссман в своей книге о До-

стоевском в серии "Жизнь замечательных людей" приводит выдержки из писем Марии Федоровны Достоевской мужу в ответ на обвинения в неверности. Есть нечто в трогательности их и стиле, что, кажется, повторится затем в языке некоторых "кротких" из произведений самого Достоевского, так же откликаясь в душе читателя жалостью. В таких строках, например:

"Любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением, тогда как я дышу моею любовью. Между тем время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу, веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей... Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не клянусь, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце"<sup>5</sup>.

Л. Гроссман думает, что именно в связи с горькой участью матери перед будущим писателем-гуманистом вставала, как он выражается, "проблема неповинного страдания, незаслуженного мучительства", в результате чего "основой творческой мысли Достоевского стала этика"<sup>6</sup>.

Непременным и живым звеном этой этики была *жалость*.

Как известно, Достоевскому суждено было вынести еще многое: арест, инсценировку смертной казни, которая — я имею в виду приготовления — осужденным представлялась отнюдь не инсценировкой, но реальностью: "Почти все приговоренные, — вспоминал потом Достоевский, — были уверены, что он (приговор. — Л. Р.) будет исполнен, и вынесли по крайней мере десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти". А затем, в течение четырех лет "мертвого дома", Достоевский оказывается в самой гуще людских

страданий. Эти четыре года, по его признанию, произвели в нем "перерождение убеждений". Основой творческой его мысли становится теперь не этика вообще, но этика религиозно-философская. Тема "не убий" как часть большой темы "о соблазненных" и тема "о положительно прекрасном человеке" оказываются самыми животрепещущими и близкими.

Мотив жалости — обязательный спутник этих тем.

## 2

Обычная форма творческого выражения жалости у Достоевского, как и у большинства других художников, — прямая экспозиция "жалостного", предназначения впечатлить читателя зрелищем людского страдания. Есть в "Дневнике писателя" интереснейшее выражение: "оцарапать вам сердце". Прямая экспозиция "жалостного" и выполняет эту задачу.

Можно различить два типа такой экспозиции: экспозиция "от-авторская" — когда сам автор рисует нечто, царапающее нам сердце, и "самоэкспозиция" — когда это делает в монологе или диалоге тот или иной созданный им персонаж. В прозе Достоевского много элементов драмы, поэтому такого рода самораскрытие героя встречается часто. Собственно говоря, этим именно приемом Достоевский и начал: его первый роман, "Бедные люди", и представлял собой форму эпистолярного диалога (монолога — если говорить о главном герое, Макаре Деушкине). Само заглавие романа знаменует призыв к состраданию, столь характерный для так называемой натуральной школы — русского реализма того времени. Д. Григорович

в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он читал роман Некрасову, они плакали оба. "На последней странице, — пишет Григорович, — когда старик Девушкин прощался с Варенькой, я не мог владеть собой и начал всхлипывать. Я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него тоже текли слезы"<sup>7</sup>.

Всем памятно это окончание романа: Варенька, которую так самозабвенно любит старик Девушкин, вынуждена выйти замуж за своего соблазнителя и уехать из Петербурга. Девушкин болен. Он не представляет себе, как сможет пережить ее отъезд и свое одиночество. В последнем его письме не только отчаяние — здесь звучат нотки почти безумия:

"Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя. Вас увозят, вы едете! Да, теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете? Вот я от вас письмецо сейчас получил, все слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите!

.....

Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастья! Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, ... все оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили.

.....

...ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! ... Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!"<sup>8</sup>.

Продолжая хронологически примеры самовыражения "жалостного", нужно назвать монолог Мармеладова в "Преступлении и наказании" с его истине душераздирающей кульминацией — темой самопожертвования Сони:

"...И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с".

И дальше:

"...Приидет в тот день и спросит: 'А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?' И скажет: 'Прииди! Я уже простил тебя раз...' "9.

Необычен по силе экспрессии, с которой выражены страдание и жалость, — монолог-повесть "Кроткая". В словах рассказчика, жена которого выбросилась с иконой в руках из окна на мостовую, эти страдание и жалость безграничны в нераздельной их слитности: он виноват, он "надорвал ей сердце", как записывает Достоевский в плане повести, она — его жертва, но чья же жертва он сам?..

"...О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! ... Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! 'Люди, любите друг друга' — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?"10..

От-авторская экспозиция "жалостного" представлена во втором романе Достоевского "Униженные и оскорбленные" — в образах больной и несчастной Нелли, старика Ихменева и драматических связанных с этими образами ситуациях. В "Преступлении и наказании" это — среди прочего — сцена конца Катерины Ивановны Мармеладовой. В "Братьях Карамазовых" — эпизоды с Илюшечкой: его болезнь, "бунт" штабс-капитана Снегирева у постели умирающего мальчика.

Страдания детей воспринимал Достоевский особенно мучительно — "концентрированной" эмоцией жалости в повести "Вечный муж" пронизан рассказ о семилетней девочке Лизе, которую этот вечный муж, Трусоцкий, мучит садистски, узнав, что она не его дочь, но — любовника его жены. За словами квартирной хозяйки Трусоцкого, которая об этом мучении рассказывает, ощутима прямо-таки судорога авторского переживания эпизода. Девочка, заброшенная и, видимо, больная, пробралась в комнату повесившегося постояльца.

"...Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, — вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела — она и грохнулась. Билась-билась, насили очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел — исщипал ее всю, — потому, он не то чтобы драться, а все больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел, да и пугает ее: 'Я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь'; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит — кричит, ручонками его обхватила: 'Не буду, кричит, никогда не буду'. Жалость!' "11.

Но мотив жалости у Достоевского может быть не только слагаемым в изображении человеческого страдания, в экспозиции "жалостного", но *самостоятельным и активным компонентом* в структуре целого. Тема жалости, например, может быть воплощена в самом облике персонажа, составлять одну из главных — если не самую главную — психологическую его черту.

Так именно и случилось с героем романа "Идиот".

Образ князя Мышкина, как известно, в какой-то мере автобиографичен — Достоевский придал ему не только свою падучую, но и свою способность жалости — прежде всего. Она, эта способность, оказывается почти ведущей в поведении князя. "Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества", — думает он<sup>1 2</sup>. А про отношение свое к Настасье Филипповне говорит:

"Я ее не любовью люблю, а жалостью..."

Жалость в романе "Идиот" не только черта психологической характеристики, но и действенный структурный компонент; вместе с поведением князя жалость определяет и сюжетное движение — решение сюжетного треугольника: князь — Аглая — Настасья Филипповна, например. Речь идет о сцене встречи "трех", которую устраивает Аглая, чтобы вынудить князя "выбрать" одну из двух соперниц. И князь выбирает, руководимый жалостью:

"...обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже наверно можно сказать. Он только видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглае, у него 'пронзено навсегда сердце'. Он не мог более

вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну:

— Разве это возможно! Ведь она... такая несчастная!"<sup>13</sup>.

И другой треугольник: князь — Настасья Филипповна — Рогожин в окончательной развязке романа решен композиционно тоже мотивом жалости. В заключительной сцене — у трупы Настасьи Филипповны, рядом с лежащим в горячке убийцей, сидел князь и "каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его".

Достоевский признавался как-то, что ради этой финальной сцены "...почти и писался и задуман был весь роман". Сцена эта — символически — не апофеоз ли жалости? Героиня мертва; соперники подле — один в горячке, другой безумен; безумный гладит горячечного по волосам и щекам. Кончились страсти — вождение, буйство, ревность, ненависть; угас сам рассудок. Осталась одна лишь все пережившая *жалость*.

\*

Жалость выступает иной раз как *прием* среди прочих авторских средств и форм выразительности: читательская эмоция жалости необходима для более глубокого и острого раскрытия внутренней темы повествуемого.

Так обстоит дело, например, с развязкой истории Шатова в романе "Бесы": растворенное здесь чувство жалости творчески целеустремленно, так как передает авторское отрицание чудовищности политического убийства.

Шатов решает оставить группу террористов, которых разгадал теперь как "лакеев мысли, врагов



личности и свободы, проповедников мертвечины” — по его выражению. Решения разоблачить своих бывших сообщников он не принимает, но Петр Верховенский убеждает других заговорщиков убить его как возможного доносчика: он не терпит Шатова, который когда-то его оскорбил, и, помимо того, хочет кровью этой жертвы скрепить свою ”пятерку”.

И вот описываются последние часы Шатова. Все в этом описании построено на контрасте: света и тьмы, воскресения и гибели. Накануне убийства к Шатову возвращается жена. Это возвращение и рождение ребенка наполняют его некой блаженной, немислимой радостью. Отчасти, вероятно, — и сознание предстоящего разрыва с ”пятеркой”: он только сдаст зарытую в парке типографию — и конец! Радуются оба — и муж, и роженица:

”...она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтоб он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дуручку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил Бог знает что, дико, чадно, вдохновенно; целовал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут, ’вновь и навсегда’, о существовании Бога, о том, что все хороши... В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.

— Marie, — вскричал он, держа на руках ребенка, — кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!... ..”<sup>14</sup>.

Но с ”мертвечиной” не было кончено. Читатель все время помнит, что вот-вот к Шатову должен явиться посланец от пятерки, чтобы идти вместе в парк, где собрались убийцы. И посланец — Эркель — появляется сразу же после приведенного

выше разговора. Оба уходят, и контраст между блаженной радостью, которая царит в душе Шатова, и тем, что его сейчас же, сию минуту, ожидает, ощущается читателем все острее и болезненнее. "Эркель, мальчик вы маленький! — восклицает Шатов по дороге. — Бывали вы когда-нибудь счастливы?"

А через несколько минут:

"...трое тотчас же сбили его (Шатова. — Л. Р.) с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович с своим револьвером. Рассказывают, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком; но ему кричать не дали: Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор, и — спустил курок"<sup>15</sup>.

\*

Функция жалости как "приема" у Достоевского становится особенно отчетливой, когда экспонируемая автором эмоция жалости обращена не к читателю (точнее — не только к читателю), но к тематико-сюжетной ситуации или к персонажу в самом произведении, "интроверсирована", так сказать.

Такого рода структурное назначение жалости находим, например, в романе "Униженные и оскорбленные". Сюжетная ситуация такова: старик Ихменев проклял свою дочь, Наташу, за ее связь с сыном его врага, князя Валковского. И вот рассказчику приходит мысль попросить Нелли, больную девочку, которую он опекает и в семье которой случилось сходное (дед проклял ее мать, и она умерла не прощенной им и несчастной), рассказать при Ихменеве свою трагическую историю, чтобы,

пробудив в нем сострадание к дочери, смягчить его сердце и заставить помириться с нею. В сцене большого драматического напряжения Нелли, вся дрожа (с ней после случится припадок), рассказывает о том, как ее дед *опоздал* простить дочь — явился, когда она уже перестала дышать. "...Тогда (рассказывает Нелли. — Л. Р.) я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: 'Вот, жестокой и злой человек, вот, смотри!.. смотри!' — тут дедушка закричал и упал на пол как мертвый..."<sup>16</sup>.

И в этом месте ее монолога происходит то, что ожидалось рассказчиком: старик Ихменев вскакивает и дрожащими руками натягивает на себя пальто — он решил идти к своей дочери. " — Простил! Простил!" — восклицает его жена.

Ту же структурную, обращенную к персонажу функцию жалости находим в сне Раскольников, где живописуется, как секут и насмерть забивают лошадь. Здесь — можно было бы сказать — экспонируется даже и не мучение живого существа, но *жалость сама*. И "выговаривает" ее сам собирающийся пролить кровь Раскольников, который видит себя мальчиком и буквально захлебывается этой мучительной жалостью и слезами:

"...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут.

.....

— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошадедку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спи-

ну, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

...бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в иступлении бросается с своими кулачками на Миколку”<sup>17</sup>.

Жалость здесь — аргумент *против* пролития крови в том споре ”против” и ”за”, который происходит в душе Раскольникова и о котором автор рассказывает в первых шести главах первой части романа. Встреча с несчастной семьей Мармеладовых, письмо от матери — это было ”за” возможность убийства; ужас, почти судороги жалости, которые испытывает во сне мальчик-Раскольников при виде зверски забитой лошади, — аргумент, который, казалось бы, должен остановить руку Раскольникова-студента, уже протянутую к топору. Так отчасти и есть — очнувшись от страшного сна, Раскольников восклицает:

” — Боже!.. да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?”<sup>18</sup>.

В качестве *аргумента* выступает жалость и в ”Бунте” Ивана Карамазова; целеустремленное ”мучительство жалостью” передоверено здесь персонажу, и описание детских страданий — в свете проблем теодицеи — имеет целью впечатлить боголюбивого Алешу:

”...Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в

подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к 'Боженьке', чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! ...Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к 'Боженьке'. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша"19.

И дальше, продолжая свою аргументацию жалостью, Иван рассказывает Алеше эпизод с генералом, затравившим собаками восьмилетнего мальчика.

" — ...Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

— Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата"20.

\*

Приведенными выше примерами и завершим тему этого очерка — о столь частом мотиве жалости в произведениях Достоевского; — жалости, которая у него не только сопровождает картины человеческих страданий, но оказывается и действенным творческим слагаемым его поэтики. В свете этой действительности раскрывается этическая сторона жалости в понимании и оценке писателя: жалости — или сострадания — как "может быть, единственного закона бытия всего человечества", без которого жизнь немыслима.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 6, с. 261. Москва, 1957.
2. Н. Лосский Достоевский и его христианское миропонимание. С. 12. Нью-Йорк, 1953.
3. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1, с. 140, Москва, 1964.
4. Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Т. 9, сс. 364—365.
5. Л. Гроссман. Достоевский. Сс. 24—25. Москва, 1965.
6. Там же, с. 25.
7. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1, с. 133.
8. Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Т. 1, сс. 206—208. Москва, 1956.
9. Там же, т. 5, сс. 22, 26.
10. Там же, т. 10, с. 419.
11. Там же, т. 4, с. 495.
12. Там же, т. 6, с. 261.
13. Там же, сс. 646—647.
14. Там же, т. 7, с. 618.
15. Там же, с. 627.
16. Там же, т. 3, с. 353.
17. Там же, т. 5, сс. 63—64.
18. Там же, с. 65.
19. Там же, т. 9, сс. 303—304.
20. Там же, с. 305.



Николай ЛИХАЧЕВ

# Записки о войне

*К 45-ой годовщине начала войны*

В историческое лето тысяча девятьсот сорок первого года я жил в Москве. Полтора года назад я выкарабкался из бездны, в которую столкнула меня ежовщина, и опять получил работу по своей профессии журналиста. Я работал в редакции общесоюзной газеты, органе центрального совета Осоавиахима "На страже" — заведовал отделом.

В месяцы, предшествовавшие 22 июня — дню начала советско-германской войны, несмотря на то, что в советской печати царило безоблачное спокойствие, в Москве плодилось необычайно много слухов о том, что скоро будет война.

Чаще всего говорили о близившемся военном столкновении с Германией. Реже — о возможности открытия военных действий на границе Турции и на Балканах. Велись также разговоры о могущей возобновиться войне с Финляндией. Основанием для последнего утверждения были высокомерные и довольно грубые окрики советской печати в отношении финляндского правительства, в связи с преследованием в Финляндии финских деятелей Общества сближения с СССР.

Было немало симптомов, которые действительно давали основание думать, что на страну надвигаются большие события.

Вне всякой последовательности и полагаясь исключительно на память, я хочу указать на некоторые предвестники войны.

---

Из неоконченных воспоминаний.

Назначение Сталина на пост председателя Совнаркома СССР, а затем на пост народного комиссара обороны связывалось с перспективой вставшей на повестку дня войны. Проводилась аналогия с временами гражданской войны, когда Ленин сосредоточил в своих руках всю полноту государственной, партийной и военной власти.

Незадолго до войны происходило собрание партийного актива Бауманского района г. Москвы. На собрании с речью о международном положении выступал видный докладчик, кажется из наркоминдела, фамилию которого я забыл. Я на собрании не присутствовал, но возвратившиеся с него ответственные сотрудники редакции мне рассказывали, что докладчик, хотя и в общей, но довольно ясной форме, говорил о натянутых отношениях СССР с Германией. Он произнес непривычную для уха рядового советского человека фразу:

— Мы начнем войну не тогда, когда нам ее навяжут, а тогда, когда мы ее пожелаем... Война может разразиться так быстро, как никто этого не ожидает! — воскликнул докладчик.

Ходил слух о германо-советских стычках на границе. Утверждали, что немецкие самолеты в большом числе нарушали советскую границу. Снятие генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Рычагова с поста начальника военно-воздушных сил Красной армии приписывали тому, что не то он сам, не то его помощник в пограничном округе, самовольно, без разрешения правительства, бросил в бой с немецкими летчиками советские самолеты, следствием чего было ухудшение отношений с Германией.

Передавали об интенсивном движении воинских эшелонов к границе.

Много толков и пересудов вызвал необычайный по своим размерам призыв военнообязанных на отбывание военно-учебных сборов при частях Красной армии. В мае и особенно в июне целые потоки военнообязанных направлялись в войсковые лагеря, так что почти все учреждения и предприятия сильно опустели.

В литературных кругах Москвы рассказывали о многозначительном "звонке" Сталина к Илье Эренбургу. К тому



времени Эренбург напечатал первую часть своего романа "Париж", неприкрыто заостренного против Германии. Сталин похвалил роман и сказал, что с нетерпением ожидает второй части, над которой писатель работал.

— Пусть Вас в Вашей работе не связывают соображения дипломатического порядка.— сказал Сталин.

Сообщалось, что издательствам предложено переиздать сданную было в архив книгу Н. Шпанова "Первый удар". В ней описывалась война будущего между СССР и Германией.

В один из дней накануне войны стало известно об аресте НКВД новой полководческой звезды, прославленного за бои с японцами генерал-полковника Штерна, б. начальника военно-воздушных сил Красной армии, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Смушкевича и некоторых деятелей авиационной промышленности. Молва передавала, что арестованным инкриминируется секретная деятельность в пользу Германии. Подчеркивалась немецкая фамилия Штерна.

Но стержнем, вокруг которого вращались все предвоенные толки москвичей, была речь Сталина на выпуске академий Красной армии, состоявшаяся, если не ошибаюсь, в первых числах мая. Речь Сталина не была опубликована в общей печати, и содержание ее передавалось по секрету от одного к другому в вольном изложении. Трудно было установить, где подлинные слова Сталина и где собственный домысел комментаторов. Но общий смысл речи был ясен. Я передаю его в том изложении, в каком услышал от моих знакомых москвичей.

Когда Сталин поднялся на трибуну, кто-то из выпускников академии крикнул:

— Да здравствует вдохновитель и руководитель мирной внешней политики СССР товарищ Сталин!

Сталин, остановив движением руки аплодисменты, сказал с сердцем:

— Кому-кому, а вам о мирной политике пекся не приходится. Ваше дело — война...

Сталин говорил:

— Германия до тех пор, пока боролась за освобождение от цепей Версальского договора, пользовалась нашим со-

чувствием. Но теперь, когда она встала на путь захватнической войны, она рассчитывать на наше сочувствие не может. — Не может! — повторил Сталин и при этом помахал пальцем по воздуху.

Он говорил, что после окончания военных действий в Греции война в Европе зашла в тупик. Германия, завоевав Европу, не разрешила задач, которые она перед собой ставила, начиная войну. Германия не может не продолжать войну. Она будет искать выход из создавшегося тупика и дальнейшее применение своим колоссальным вооруженным силам, которые не могут быть распущены, но которые и не могут оставаться в бездействии. От Германии можно ожидать акта отчаяния...

Сталин выдвинул в своей речи задачу воспитания Красной армии и всего советского народа в наступательном духе.

Вскоре после речи Сталина в советской печати стали появляться в той или иной форме материалы, которые призваны были отражать и поднимать наступательный дух советских людей. В нашей редакции также было совещание по вопросу о перестройке на наступательный лад. Кажется, ничего не было придумано, за исключением единственного предложения — шире показывать в газете военно-технические занятия членов оборонного общества на тему: наступление.

"Комсомольская правда" напечатала статью под симптоматичным заглавием: "Войны справедливые и несправедливые", автор которой преподаватель академии Генерального штаба, полковой комиссар Баканов не минул соблазна поговорить на модную тему о наступательном духе.

Я этого Баканова знал, так как он приходил в нашу редакцию со своими статьями. Как автор, а я его только с этой стороны и знал, Баканов был совершеннейшее ничтожество. Он принадлежал к тому "племени" авторов, расплодившемуся в несметном количестве в советское время, которые, не имея ни малейшего литературного таланта, страдали манией величия и ничем не ограниченным честолюбием. Занятие литературой было для них только средством упиться собственной славой.

Газеты не только печатали этих напыщенных, глупых индюков; за их статьями гонялись сотрудники редакций. Потому что органы, руководившие печатью, требовали от нее обязательно авторов с чином, рангом, именем. Важно было не то, насколько умна и интересна статья, а то, какой величиной она подписана.

Возвращаясь к Баканову. Этот, вообразивший себя ученым маньяк любил писать на теоретические и философские темы. Его статьи поражали полным отсутствием логики и собственной мысли автора и на добрые три четверти представляли собой набор цитат из великих мира сего. На этой-то болезненной любви к цитированию Баканов и срезался. И не только срезался сам, но и подвел тех, из произведений которых он черпал свое творческое вдохновение...

В упомянутую уже статью Баканов вставил старую цитату из Молотова — не помню какую — и так перемешал ее с "собственными" мыслями о наступательном духе советского народа, что Молотов предстал на газетной полосе отъявленным агрессором. Говорили, что за статью Баканова, вернее за то место в ней, где цитировался Молотов, ухватились иностранные корреспонденты в Москве, особенно английские и американские. Они радостно завопили, что наконец-то Советский Союз раскрыл свои карты, его цель — наступательная война. Но против кого Советы собираются наступать? Ясно: против идейного врага № 1 и опасного соседа — фашистской Германии...

Не знаю, получила ли эта статья какой-нибудь резонанс в Германии. Но Центральный комитет ВКП(б) в категорической форме предложил всем редакциям газет и издательствам впредь не выпускать в свет никаких статей и книг касательно внешней политики и международных отношений без предварительного просмотра и визы ЦК и наркоминдела. По незадачливому автору статьи и ответственным работникам редакции прошла партийная дубинка.

Между прочим, по не совсем обычному течению обстоятельств упомянутое постановление ЦК вскоре коснулось лично меня. Вот как это вышло.

В апреле издательство Осоавиахима сделало мне предложение написать брошюру о проведенных в некоторых об-

ластях зимой массовых военных учениях населения по борьбе с парашютными десантами. Брошюре должна была быть предпослана общего порядка статья о десантных операциях и способах противодействия им на примерах современной войны на Западе. Я согласился.

Написав брошюру в сотрудничестве с работником моего отдела Н. и сдав ее издательству, я уехал лечиться в Крым. По возвращении в Москву в первых числах июня, меня огорошили в издательстве сообщением, что с брошюрой "заварилась каша". Брошюра уже была отпечатана пяти-тысячным тиражом и приготовлена к сдаче в книготорговую сеть, когда подоспело постановление ЦК по злополучной статье Баканова. Перетрухнувшие редакторы издательства бросились с брошюрой в управление пропаганды ЦК, так как в ней была "заграничная тема" в виде вводной статьи, трактующей об опыте боевого применения Германией воздушных десантов на острове Крит, в Голландии, Бельгии и Франции. Их не остановило то, что сведения для статьи могли быть взяты мною только из напечатанных ранее в советской печати материалов о войне на Западе. Мои редакторы рассудили точно, что иногда в политике опаснее всего повторение старых истин.

Книжка пошла по рукам "специалистов" и с их отзывами попала к председателю Центрального Совета Осоавиахима СССР, генерал-майору авиации Кобелеву, которому было из ЦК предложено разобраться с брошюрой и определить ее судьбу. Кобелев распорядился не выпускать пока брошюру в свет, найдя, что в ней содержатся некоторые мелкие погрешности и один существенный грех: некритическое отношение к достоинствам и мощи немецких военно-воздушных и десантных войск. (В брошюре действительно не было указаний на уязвимость и слабые стороны десантных операций немецкой армии. Но в советской военной печати никогда не делалось попыток подойти к разбору каких-либо неудач немецкого оружия, так что о них я и знать не мог. Были ли они на самом деле и в чем выражались, я думаю, это было неясно и для самого генерал-майора авиации.)

Для меня же было совершенно ясно, что истинная при-

чина задержки брошюры заключалась в другом, а именно в боязни выпустить в это напряженнейшее, критическое время какое бы то ни было слово о Германии. В истории с этой незначительной брошюркой отразились растерянность и нервозность в высших советских сферах в самый канун войны.

Я считался с возможностью, что мне придется держать ответ перед партийным собранием за "ошибку" брошюры, которая ведь могла быть истолкована и в сугубо политическом смысле. Но начавшаяся война, которая с первого дня так неудачно сложилась для нас, заслонила на время служебные и партийные передрыги и всю сутолоку нашей обыденной жизни, казавшуюся нам столь важной и поглощавшей все наше внимание и время.

В первые дни войны мои друзья утешительно говорили, что теперь-то брошюра увидит свет...

Но это была утопия. Никому уже не были нужны советы брошюры, как проводить на досуге "потешные" военные игры сельского населения и отражать при помощи вил и топоров вооруженные до зубов неприятельские десанты... Да и уместны ли были теперь холодная бесстрастность и корректность брошюры в отношении той армии, на которую со страниц печати и с трибун уже сыпались бесконечные скорпионы ругательств и проклятий?

\*

Несмотря на циркулирующие военные слухи и вполне ощутимые признаки предвоенной лихорадки, многие не верили, что война может начаться, да еще не далее, как текущим летом.

Объяснение этому следует искать, во-первых, в притуплении психической реакции людей на повторявшуюся в течение многих лет назойливую и однотонную официальную версию о "возросшей опасности войны"; во-вторых, в плохо поддающемся пониманию расплывчатом определении, кто является врагом России ("капиталистическое окружение"); в-третьих, в предвзятом, недоверчивом отношении людей к намерениям достаточно себя скомпрометировавшей официальной пропаганды, которая всегда подозревалась

в том, что помимо передней мысли, она имеет еще и заднюю ("когда говорят об усилившейся угрозе войны, знай, что правительство решило еще в чем-то поприжать колхозника, урезать рабочего и т. д.") ... И еще во многом другом, на чем я сейчас задерживаться не буду.

Я принадлежал к тем средним слоям советской интеллигенции, которые хотя и любили посудачить о закулисах мирной политики правительства, пощекотать свои нервы военной сплетней и поразить собственное воображение картиной близившегося взрыва, но в действительности были чрезвычайно далеки от мысли, что костер войны может внезапно вспыхнуть. Эти люди приучены были делать выводы и строить предположения не через рассмотрение явлений и событий жизни в их взаимосвязи, а путем отвлеченных логических умозаключений.

\*

Проснувшись поздно, я заторопил жену со сборами в гости. Вчера мне позвонил мой давний приятель, журналист Сергей Сергеевич Нестеренко, сообщив, что на днях убывает в армию на переподготовку, предлагал вместе провести воскресный день на лоне природы. Он жил с женой и сыном в дачном местечке Строитель, километрах в 30-ти от Москвы.

— Приезжай с женой. Буду ждать тебя в полдень, — сказал Сергей.

Жена, вообще-то не любившая бывать в гостях в малознакомых ей семьях (к Нестеренкам я раньше ездил один), на этот раз особенно настойчиво и без видимых причин (впоследствии она говорила, что у нее было предчувствие) отговаривала меня от поездки.

Мне все-таки удалось, против всякого ее желания, потащить жену за собой.

Мы приехали на Северный вокзал в половине двенадцатого. На готовый к отходу пригородный, загорский, поезд уже не пускали — он был битком набит. Ничего не оставалось, как ждать следующего поезда, пушкинского, отходящего в три или четыре минуты первого.

Вокзал кишмя-кишел пестрой по нарядам, гомонящей

публикой. Это была обычная картинка столичных вокзалов в летний воскресный день. Ничего не подозревавшие москвичи устремлялись в подгородные дубравы пить горькую, закусывать, сплетничать и дышать озоном.

Мы с женой, хотя и стояли близко к пропускным воротам, но, вбежав в вагон, уже не нашли в нем ни одного свободного места. Пассажиры все прибывали, заполняя в вагоне все проходы и постепенно повисая друг у друга на плечах. Людская волна оттеснила мою жену в противоположный конец вагона. Я с нетерпением взглядывал сквозь стекло вагонного окна на вокзальные часы, желая узнать, когда же, черт возьми, тронется этот проклятый поезд, в котором уже нечем было дышать.

В вагон глухо доносился снаружи радио-голос, на который я не обратил никакого внимания. Внезапно публика как-то странно колыхнулась, будто от неожиданной и резкой остановки поезда, и по вагону сухо прошуршало:

— Молотов говорит!

Я весь ушел в слух, но сколько ни напрягал его, ничего не мог разобрать в хриповатом бормотании радиорупора. Слова касались уха, но не хотели войти в него. Необъяснимая тревога охватила все существо.

Поезд тронулся, я вскинул глаза, отыскал жену и встретился с ее взглядом, от которого вдруг почувствовал, что проваливаюсь под колеса поезда. И действительно, в это мгновение я хотел бы провалиться в преисподнюю. Ее перекошенное мальчишеской гримасой лицо, насмешливый прищур глаз, в которых застыл ужас, сказали мне все.

— Ну, что теперь скажете вы, непогрешимые мыслители? На чьей стороне правда? Эта правда разрывает сердце, чтоб вовек не было ее, этой страшной правды. Но, признайтесь все же, с каким комфортом сели вы в лужу со своей разлогичной логикой...” — вот что прочитал я на лице жены.

Я ерзнул всем телом и угодил локтем в живот высокому краснощекому старику в белой русской рубаше, державшему под мышкой бумажный сверток; сверток, булькнув, чуть не выпал на пол вагона.

— Потихе, гражданин, пихайтесь, не в трамвае, — зарычал старик. — Думаете, раз война, то каждому дозволено пихаться...

Война...

Сойдя на станции Строитель с поезда и найдя глазами в толпе пассажиров жену (людской поток вынес ее в другую дверь), я пошел к ней так, словно меня тянули на канатах. Странно, мою мысль в этот момент занимала не война. Из моей головы не выходил наш вчерашний спор, который я в эту минуту проклинал из самой глубины сердца.

...Я медленно, на подгибающихся ногах приближался к жене, пригибая глаза к земле и боясь, что, если я подниму их, то снова увижу тот же нестерпимый насмешливый прищур ее глаз.

Но жена стояла с низко опущенными плечами, бледная и в том состоянии задумчивости, которое производит впечатление горького бездумья. Почувствовав мое приближение, она, не отрываясь от своих дум, сказала с примирительной нежностью в голосе:

— Сходи, Колюша, на вокзал, узнай, когда обратные поезда. Мы поедем тотчас...

— Ну, к чему эта спешка? — возразил я. — Раз приехали, то мы должны зайти к Нестеренкам. Да и кто знает, что там стряслось такое. Может, и ничего серьезного-то нет. У них есть радио, и мы обо всем узнаем...

На самом же деле мне не хотелось отказать себе в удовольствии в разговоре с Сергеем почесать язык на так неожиданно всплывшую большую и острую тему. После минутного потрясения ко мне возвращалась обыденность жизни, и начавшаяся где-то далеко на границе война воспринималась уже не как ужасная трагедия, а как интересная, щекочущая нервы тема. Да и что такое война, как не пошлейшая обыденность? Это я ощутил, правда, не тогда, а гораздо позднее, когда на фронте и в тылу насмотрелся картин первого года войны...

В квартире Нестеренок нас встретила его жена с заплаканными глазами, с бледно-красными пятнами на щеках. Она отрывистыми фразами стала рассказывать что-то о войне, но расплакалась и могла сказать только, что сейчас позовет соседа. Помню, я удивился, как можно плакать только от одного известия, что война.

Пришел незнакомый мне ранее сосед Нестеренок, муж-



чина в больших роговых очках, с растерянным, блуждающим взглядом, и, по моей просьбе, изложил в довольно бессвязной форме речь Молотова, которую он слышал по радио. Мне запомнилась бомбардировка Киева, Одессы и общий тон речи, что война предстоит длительная и жестокая. Это так не вязалось с царившим по сей день в советской печати шапкозакладательством.

— А где же Сергей? — только теперь спросил я.

— Полчаса назад его вызвал райком, — все еще всхлипывая, ответила его жена.

Тут только я спохватился, что ведь и меня могут искать на службе в Москве, и жене больше уже не пришлось торопить меня с отъездом домой. Мы побежали к вокзалу.

По приезде в Москву я отослал жену с поездом метро домой, а сам пошел в редакцию, которая помещалась в нескольких сотнях метров от вокзала. Я шел и думал, что, может быть, мне придется когда-нибудь писать о Москве первого дня войны. И я озирался вокруг, всматривался в лица людей. Жизнь столицы шла своим обычным чередом: лязгали и звенели трамваи, шуршали по асфальту троллейбусы, ревели автомобильные сирены, стояли обычные очереди у тележек с газированной водой, и суетливые москвичи с неизменными свертками и сумками в руках бежали в разных направлениях. Трудно было прочесть что-нибудь на их лицах. Все они, несомненно, знали о разразившейся войне и, пережив встряску нервов при первом известии о ней, теперь бежали каждый по своим делам, углубившись в собственные мысли и заботы. Колесо обыденности продолжало вертеться! Одно могу сказать наверняка: веселости на лицах москвичей не было.

Я ожидал увидеть расклеенные по улицам военного характера распоряжения, лозунги, плакаты. Но, хотя было уже три часа пополудни, еще и речь Молотова не была опубликована.

Проходя мимо табачного киоска, я решил сделать маленькую проверку. Я попросил пачку папирос. Продавец подал.

— А можно еще две? — сказал я, рискуя оказаться заподозренным в дезорганизации торговой жизни столи-

цы в первый день войны. Продавец молча подал просимое.

— Табаку тоже можно?

— Зачем спрашивать, можно ли? — назидательно ответил продавец. — Платите деньги и берите.

Повертев пачку табака в руках и справившись о цене, я положил ее обратно на прилавок и быстро пошел.

В редакции, к моему удивлению, я не нашел никого, кроме сторожихи тети Ньюши. Она объяснила, что двое заходили и тотчас ушли. Мое удивление было вызвано тем, что я предполагал внеочередной выпуск газеты (очередной номер должен быть выйти только в следующую субботу). Но только теперь я сообразил, что ведь собственно я и должен решить этот вопрос: редактор Давид Осипович Чудновский должен был как раз сегодня убыть на военно-учебные сборы как военнообязанный, и я, по согласованию с отделом печати ЦК, вступал во временное исполнение обязанностей редактора.

Звоню на квартиру Чудновского. Он мне сообщает, что разговаривал по телефону с Париновым (отдел печати ЦК):

— Они сами ничего не знают и, если решение о внеочередных выпусках газет будет сделано, соответствующие распоряжения последуют. Бросьте суету и заходите ко мне поговорить, — сказал Чудновский.

Чувствуя легшую на меня ответственность за распорядок учреждения, звоню в райком партии:

— Есть ли какие-нибудь указания?

— Ничего, — довольно сонным голосом отвечает дежурный. — Впрочем, установите дежурство.

Оставляю начальнику издательства, который должен был зайти в редакцию, записку о дежурстве и отправляюсь домой.

У Крымского моста захожу в продуктовый магазин, чтобы купить вина. Обычная толкотня московских магазинов, никаких эксцессов не замечаю. Размышляю: не попросить ли завернуть две поллитровых бутылки водки? Но решаюсь купить только одну: черт знает, может быть уже следят за теми, кто покупает лишнее.

Обедаю дома. Семья молча сидит за столом, только сын Лева болтает, рассказывая самые свежие новости с улицы.

— Один пьяный расселся на мостовой с поллитром и все кричал про Сталина и про войну. Взрослые проходили мимо, только косились, а дети со всей улицы сбежались посмеяться на пьянчугу. И знаешь, мама, он не испугался даже милиционера...

Моя дорогая теща, Евдокия Яковлевна, светлая и добродетельная душа, порывается начать разговор о войне, но, видимо, помня наш вчерашний спор, горестно поджимает губы и замолкает, боясь каким-либо образом задеть мои чувства. На душе очень мутно, и я наливаю рюмки.

— Неприлично пить в такой день, что могут сказать люди, — говорит жена.

Но наша старушка более свободна от предрассудков, нежели ее дочь, и она подвигает ко мне закуску:

— Николай Никитич, пейте на здоровье; может, и удовольствие-то справите в последний раз, нужда ль считаться с мнениями...

Слова старушки настраивают всех на тягостное, щемящее сердце размышление, какое будущее уготовила нам судьба. Жена в приливе нежности произносит:

— Ах, если бы оказалось это возможно, чтоб ты остался в живых! Ничего, ничего я больше не хочу желать. Пусть раненым, но только бы вернулся...

После обеда мне захотелось поехать к кому-нибудь из приятелей, чтобы посудачить о событии. Но я отказался от этого намерения, боясь, что моя отлучка из дома в такой момент ради пустопорожних разговоров с приятелями может оскорбить семью, и решил только подняться ненадолго к Чудновскому (он жил в этом же доме, на третьем этаже).

"Маленький капрал", так шутливо прозвали Чудновского сотрудники редакции за его низкий рост и воинственный вид, сам вышел на звонок. Его, обычно живые, поблескивающие большие черные глаза, были невеселы. Кажется, он искренне обрадовался моему приходу, почувствовав возможность отвести душу в разговоре.

Мы прошли в гостиную и уселись на диван. Молодая

жена Чудновского, шатенка с острым носиком молча укладывала его дорожные вещи.

Разговора о войне не получалось, и мы с трудом выдавливали из себя черт знает какие пустяковые фразы о погоде.

Должно быть, мы оба испытывали состояние гнетущей пустоты. Какую обильную и лакомую пищу давала раньше нашей полуинтимной болтовне назревающая война! Мы способны были видеть ее грозные симптомы и наивернейшие признаки там, где их порой вовсе не было. И все ради того, чтобы пощекотать нервы и блеснуть провидческим талантом, острой наблюдательностью, умной логикой, умением разглядеть тайну, скрытую от глаз простых смертных занавесом официальной политики. В официальных речах мы оба истратили вероятно миллион слов, истекая красноречием по поводу нашей силы и нашей веры: пусть враги бряцают оружием; посеяв ветер, они пожнут бурю; мы не только можем, но и любим воевать!

Но вот прогремели первые раскаты войны, и мы сидим, как в воду опущенные, как на похоронах, не зная, что друг другу сказать.

— Разве не будут устроены демонстрации? — спрашиваю я о чем-нибудь, чтобы не молчать.

Чудновский пожимает плечами.

— Вероятно, нет. Может быть, из опасения воздушных налетов...

Мы снова молчим. Я смотрю в стекла окна на рдеющий под солнечными лучами Кремль и силюсь проникнуть воображением сквозь глухие стены его дворцов, туда, где в правительственных апартаментах бешено вращаются стрелки пульта войны и идет лихорадочный дипломатический торг. Чудновский словно угадывает мои мысли.

— Интересно, что думают англичане. Вы не допускаете мысли что Германии удалось с ними договориться? — доносится до моего слуха, как из могилы, его голос.

Теперь пожимаю плечами я.

— Кто ж его знает. Кажется, англичане злопамятны...

Я намекаю на то, как в 1939 году, не договорившись с руководителями британской политики о совместной

войне против Германии, Молотов язвительно обозвал демократическую Англию алчным хищником, любящим загребать жар чужими руками, и с уничтожающей иронией заявил: "Пусть они (англичане и французы) повоюют одни, а мы посмотрим, что это за вояки..."

Чудновский силится улыбнуться.

— Ну-у, дорогуша, не будьте так наивны. Разве во главе английского правительства стоят сентиментальные девицы, а не трезвые политики?

Хозяйка приглашает нас в соседнюю комнату, где сервирован чай. За столом мы ведем разговор, в котором принимает участие и жена Чудновского, о том, что будет с нами и нашими семьями.

— Я надеюсь, Николай Никитич, — говорит Чудновский, — что вы не оставите без внимания мою семью. Может статься, будет эвакуация москвичей. Так уж вы прихватите с собой и моих сирот.

— Да, вы уж не забывайте нас, — вторит его жена.

Надежда на меня плохая, потому что во всей Москве едва ли сыщешь человека, более беспомощного в таких делах, чем я. Но говорю я другое:

— Помилуйте, Давид Осипович, на каком основании вы увольняете меня от войны? Не пройдет и недели, как и я поеду за вами вдогонку на фронт.

— Никуда вы не поедете. Вас утвердят редактором, а редактор имеет броню ЦК. Кроме того, у вас же отметка в военном билете...

Действительно, в моем военном билете стоял штампель:

"Негоден в мирное время, ограниченно годен в военное время". Мне поставила его медицинская комиссия военкомата при переосвидетельствовании, которое проходило всего лишь несколько недель назад.

Между прочим, это событие имело одно последствие. Через несколько дней после переосвидетельствования меня вызвали в военкомат и объявили, что я перечислен из общевойскового запаса Красной армии в запас береговой обороны Военно-морского флота, в связи с чем пришлось заново заполнять анкеты, пересоставлять автобиографию, фотографироваться. Для меня остается до сих пор загадкой, чем

было вызвано это мое перемещение во флот, к которому всю свою жизнь я решительно не имел никакого отношения. Мои близкие приятели объясняли это двояко: одни говорили, что Тимошенко, нарком обороны, старается избавиться от людей негодных физически и подсовывает их Кузнецову (нарком Военно-морского флота), другие, что в береговую оборону сплавляют людей с политическими пороками (намекая на мое исключение из партии и изгнание из армии в 1938 году), потому что, де, у береговиков и во время войны служба неподвижная и никакими подвохами начальству не угрожает...

Но практически служить во флоте мне не пришлось ни одного дня.

— Что отметка! — уклончиво возразил я Чудновскому. — Кто в войну всерьез считается со здоровьем?..

В дверях показался Лева, пришедший сказать, что мама зовет меня домой. Я стал прощаться.

— Во всяком случае, Давид Осипович, — сказал я с чувством, — если мне представится возможность помочь чем-либо вашей семье, я это сделаю с великой охотой в знак моей особой к вам благодарности...

Мы стояли, не отымая рук, произвольно возрагивающих, как это бывает при расставании надолго, и я в самом деле испытывал прилив нежных чувств к своему патрону. Он не был мне другом, но он многое для меня сделал — главное, дал мне приют в своей редакции в то время, когда я, хотя и был восстановлен в партии, но таскал еще "хвост" строгого партийного взыскания (я имел от партийной комиссии Политического управления Красной армии, которая восстановила меня в партии, строгий выговор за притупление политической бдительности и бытовую связь с врагами народа). Независимо от побуждений, которыми он в данном случае руководствовался, это был довольно рискованный с его стороны шаг, потому что, попади я во второй раз в партийную или энкаведистскую мышеловку, Чудновскому не обобратиться бы от крупных неприятностей...

С начала войны еще полных две недели я продолжал работать в редакции, пока не был призван в Московское народное ополчение.

Чудновский пришел в редакцию на следующий день и объявил, что был в военкомате, где ему сказали, что в самые ближайшие дни он получит назначение в действующую армию.

— Пока же, — сказал он мне, — я, не вступая в должность редактора, буду вам помогать.

Но Чудновский никаким решением сверху от должности редактора не был освобожден. Его лишь призвали на кратковременный учебный сбор, на время которого я должен был его замещать. На сбор Чудновский не поехал и официального извещения из военкомата о мобилизации пока не имел.

— Поэтому, — сказал я ему, — я не считаю себя больше вправе замещать вашу должность и возвращаюсь к своим обязанностям.

Чудновский чувствовал себя очень неловко, потому что подозревал, что некоторые сотрудники истолковали его несостоявшийся отъезд в войсковой лагерь, как попытку получить в качестве редактора броню ЦК и таким образом уклониться от призыва на войну. В этой неловкости Чудновский при мне позвонил генералу Кобелеву и, объяснив ему, что он уже фактически мобилизован военкоматом и лишь ожидает назначения в часть, просил не возвращать его официально к обязанности редактора. Кобелев, подозревая меня к телефону, подтвердил мне, что я должен замещать пост редактора.

25 июня Чудновский в самом деле отбыл в армию, получив полный расчет в редакции и горделиво попрощавшись с сотрудниками: ведь он первым убывал на войну! Но не прошло трех дней, как "маленький капрал" позвонил мне из своей квартиры и нетвердым голосом объявил, что он вернулся, но просит не говорить пока об этом сотрудникам, так как надеется завтра снова убыть.

Однако на следующий день в довольно неказистом виде он пришел в редакцию и, встреченный насмешливо-друже-

любным возгласом личного друга Чудновского Семена Глуховского, "а аника-воин!", смущенно объяснил, что не по своей вине не мог достичь места назначения. С группой мобилизованных командиров запаса он направлялся в Ригу, в распоряжение штаба Прибалтийского военного округа. Чудновский делал секрет из того, на какую работу он посылался, но по некоторым его фразам я мог понять, что он имел назначение на штабную секретно-разведывательную службу.

Где-то в районе Великих Лук поезд остановили и пассажиров объявили, что прямого пути на Ригу нет, так как железнодорожная линия в каком-то пункте была перерезана противником. В Ригу можно было следовать только окольным путем, пройдя до ближайшей станции пешком несколько десятков километров по местности, где уже были замечены немецкие авангарды. Группу, с которой следовал Чудновский, этим путем также не пустили, так как она не была обмундирована и вооружена. Проклиная тыловых головотяпов, полевая комендатура завернула группу обратно, то есть на Москву...

Это сообщение всех нас очень поразило и потрясло: было совершенно невероятно, что немцы с такой молниеносной быстротой могли продвинуться так далеко. Мы еще не знали тогда, что уже 26 июня, на пятый день войны, немецкая армия вступила в Двинск!

Ожидая нового вызова в военкомат, Чудновский ежедневно навещал редакцию, вникая в текущие редакционные дела и даже отдавая служебные распоряжения, хотя теперь уже ему не могло быть до этого ровно никакого дела, так как он был мобилизован в армию. Я расценивал это, как желание с его стороны до отправки в армию не оставаться без дела и совершенно не возражал против его участия в руководстве делами редакции.

Таким образом, в газете фактически оказалось два редактора. Это положение продолжалось до самого дня моего убийства в дивизию Народного ополчения, то есть до 6 июля.

Уже в понедельник, 23 июня, перед редакцией встал вопрос, в каком направлении дальше вести работу. Я позво-



нил инструктору отдела печати ЦК Паринову, прося дать "линию". Паринов ответил:

— Ведь вы выходите в субботу? Ну, до этого еще успеется. Готовьте материал, а там посмотрим, что надо печатать.

Я разогнал сотрудников по московским предприятиям с заданием осветить деятельность Осоавиахима в условиях военного времени. Но сотрудники возвращались с пустыми руками:

— Руководители организаций мобилизованы; военно-учебные отряды распались из-за призыва в армию большинства их состава.

В лучшем случае они приносили так называемые отклики, то есть отчеты о митингах и собраниях, состоявшихся по случаю начала войны.

От специальных корреспондентов с мест поступали вместо материала лаконичные телеграммы: "Призван армию тчк вышлите расчет".

Ряд более или менее ценных материалов был забракован при просмотре в отделе печати ЦК, Центральном совете Осоавиахима и цензурой. Корреспонденция из Киева об участии групп самозащиты в ликвидации последствий бомбардировки была отвергнута с идиотской мотивировкой:

— В корреспонденции показаны разрушения и пожары от вражеской бомбардировки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Если же это и было, то об этом не надо писать, потому что это может повредить оптимизму населения.

Увы, в головах некоторых ответственных товарищей продолжал наигрывать органчик, выкрикивающий слова о полной неуязвимости советских городов, защищаемых гордыми соколами, о неприкосновенности советских рубежей, охраняемых самой сильной армией в мире, и прочая, и прочая, и прочая.

Очерк из Москвы о приготовлениях жилых домов к самозащите от налетов неприятельской авиации органчику не понравился потому, что там шла речь именно о приготовлениях.

— Какие могут быть приготовления, когда давным давно

все приготовлено. А если и есть какие приготовления, то писать о них не надо, потому что это будет подсказка противнику, что столица еще не готова, а только готовится к противовоздушной обороне. Валяй, мол, крой, пока не поздно.

Очерк разрешили пропустить в газету только после замены слова "приготовления" словами: "совершенствование" и "тренировки".

\*

В конце июня 1941 года меня вызвали в ЦК, к инструктору управления кадров Щербакову, и предложили заполнить некоторые документы для утверждения в должности ответственного редактора газеты "На страже".

Спустя несколько дней, 2-го или 3-го июля, в редакции состоялось партийное собрание. Возвратившийся из райкома секретарь партийной организации Николай Дмитриевич Лебедев информировал собрание, что в Москве производится запись добровольцев на фронт. Все, конечно, поняли, что от них требуется, и тотчас загомонили:

— Ясно, пойдем все!

— Записывай всех подряд!

Только один кто-то робко спросил:

— А как же быть с теми, кто военнообязанные? Ведь многие из них имеют приписку к частям. И вообще в отношении их, надо полагать, имеются какие-то мобилизационные планы. Не может ли эта стихийная запись в добровольцы дезорганизовать планомерное формирование новых частей?

Лебедев ответил, что записываться могут все. Ему-то это было абсолютно безразлично, да и едва ли он понимал, в каком порядке формируются войска. Но он должен был донести в райком, что коммунисты редакции на сто процентов горят патриотизмом, и этого было достаточно.

Наскоро был составлен протокол, под которым подписались все. Довольный Николай Дмитриевич со "стопроцентной" бумажкой помчался в райком.

На следующий день в московских газетах была опубли-

кована радиоречь Сталина, в которой, между прочим, Сталин отмечал "возникшее снизу" движение народоополченцев и обещал ему великое будущее.

В полдень некоторые сотрудники редакции, в том числе и я, были извещены Лебедевым, что мы должны явиться в райком, где работала комиссия по формированию ополченческой дивизии Бауманского района. Я писал какую-то срочную статью, и поэтому смог пойти в райком позже всех, около четырех часов дня. Повстречавшийся мне на улице Лебедев (он ходил в столовую райкома обедать) сказал, что в комиссию можно и не ходить, так как она будто уже закончила отбор командного и политического состава. — Но ведь меня же вызывали? — спросил я.

— Ну, зайди, чтобы не было потом никаких недоразумений.

Я вошел в комнату, в которой сидели двое: второй секретарь райкома Шлыков и военный в чине комбрига, как впоследствии оказалось — командир формирующейся дивизии Зайцев.

— Мне приказывали явиться...

— Ага, ну давайте и вас посмотрим. Покажите-ка ваш военный билет.

Комбриг перелистал книжонку и, узнав из нее, что я служил в Дальневосточной армии, разговорился со мной, как старый знакомый. Он, оказывается, тоже служил на Дальнем Востоке, командуя 34-ой стрелковой дивизией, стоявшей в Биробиджане. В 1938 году был арестован. Затем Зайцева выпустили, но генеральского звания не дали, и он продолжал щеголять в упраздненном чине комбрига. В таком положении были почти все комбриги, комдивы, комкоры, которым посчастливилось освободиться из тюрьмы. В полковничьи чины их не разжаловали, но и в генералы не произвели, и ходили они в своих ромбах, как белые вороны, ожидая, когда случай представит им возможность "заработать" чем-нибудь у правительства красные лампасы. Получив назначение на должность командира ополченческой дивизии, Зайцев воспрянул, рассчитывая на то, что вокруг ополченцев неизбежно будет устраиваться громкая шумиха,

во время которой, изловчившись, можно будет отхватить и генеральское звание, и орденки.

— Ну, что ж, вы нам очень пригодитесь, — сказал, обращаясь ко мне, Зайцев. — У нас в дивизии будет своя газета, и лучшего редактора нам желать не надо. Вы согласны?

Я попросил объяснить мне, что за служба будет у ополченцев, и заявил, что если ополченцы будут нести лишь вспомогательно-тыловую службу, оставаясь на своих местах в учреждениях и на предприятиях (по советской терминологии — без отрыва от производства), то я не смогу в этом случае ничем быть полезным, так как в своей редакции занят по горло. Шлыков ответил:

— Все ополченцы немедленно снимаются с производства и будут заниматься только военным делом, как и призывники.

— Ну, тогда возражать не приходится, — ответил я, неясно почувствовав, что попал в какую-то западню.

Комбриг поднялся.

— Сейчас мы поедем с вами в штаб дивизии. У нас еще не пришел начальник политотдела, и вам придется несколько дней исполнять эту обязанность. А потом будет видно, на какой работе вас лучше использовать до создания газеты...

— Нет! — завопил я так, что испуганно забежали черные, угольные глаза Шлыкова. С малых лет я ненавидел военную службу. Мне пришлось, по мобилизации, долго служить в армии, но, к счастью, почти все время — в военных редакциях, где была вполне штатская вольница; только одно лето я командовал подразделением в стрелковом полку и был снят с командной должности за полной неспособностью к какому-либо держанию возжей. У меня никогда не было административной, организаторской жилки. А тут на тебе — начальник политотдела дивизии.

— Нет! — повторил я. — Я — не политработник, и никакого опыта в этой области никогда не имел.

— Брезгуете? — скривился Шлыков. — Да откуда вы, собственно, взялись? Кто вы такой?

— Только два года назад я исключался из партии, — заявил я в отчаянии в свою защиту.

Шлыков широко раскрыл глаза, но в это время комбриг дружески хлопнул меня по плечу. Исключался ведь и он, и тогда же, когда и я, — в ежовщину.

— Э, братец, что вспоминать перегибы, — пробормотал он, но не в мою, а в Шлыкова сторону.

Подхватив меня под руку, Зайцев ринулся по лестнице вниз, на улицу, где нас ожидала его машина.

К моему несказанному удивлению, машина подкатила... к зданию нашей редакции, остановившись у второго подъезда. Оказалось, что штаб дивизии разместился в клубе шоферов, занимавшем вторую половину нашего дома.

Мы поднялись наверх. В прихожей бойко торговал буфет, по коридору сновали штабники, частью обмундированные (кадровые), а частью еще в штатском (запасные), в комнатах неумолчно трещали пишущие машинки. Я удивился, откуда здесь так быстро мог взяться этот "стиль" делового учреждения...

Мы прошли в угловой кабинет, где за столом над картой корпел очень серьезный с виду командир — толстяк с бритой головой и широким, костистым лицом.

— Подполковник Бушманов, начальник штаба дивизии, — представил мне его комбриг.

Фамилия была мне знакома, потому что в центральной печати за подписью Бушманова нередко появлялись довольно дельные статьи по военным вопросам. Полковник, кажется, преподавал в одной из военных академий.

— А это товарищ, который будет у нас временно начальником политотдела, — в свою очередь отрекомендовал меня полковнику комбриг.

Мы поздоровались и, подарив мне полное равнодушие, полковник вновь углубился в карту.

— Располагайтесь в соседней комнате, — сказал комбриг. — В первую очередь нам нужно будет утрясти списки политсостава.

Я взмолился. Как же это так можно уйти из редакции на час и не вернуться. Ведь я же руководитель учреждения! Надо предупредить начальство, сдать дела... Комбриг отпустил меня лишь при условии, что завтра утром я буду здесь, в штабе, свободный от всяких иных обязанностей,

кроме тех, которые возлагает на меня армейская служба.

Итак, я был мобилизованный!..

Прибежав в редакцию к концу рабочего дня, я тотчас позвонил генералу Кобелеву, известив его, что я райкомом мобилизован в ополчение и уже завтра утром должен буду убыть к месту новой службы.

— Что за чепуха! — возразил генерал. — Вас же на днях утверждает ЦК. Никуда вы не уйдете. Я вечером буду разговаривать с Чистяковым (первый секретарь райкома) и все улажу. Продолжайте заниматься своим делом.

Утром следующего дня — пятница, 4 июля — я снова позвонил Кобелеву и спросил, каким образом разрешился вопрос обо мне.

— Пока никак. Чистякова не нашел, разговаривал со Шлыковым. Ни до чего не договорился. Буду говорить еще с Чистяковым, а если будет нужно, позвоню в ЦК. Но вы никуда не уходите...

Ему легко было сказать "никуда не уходите", но мое положение было не из важных. Ссылка на приказание Кобелева отнюдь не могла бы мне помочь, если бы райком и командир дивизии вздумали возбудить против меня обвинение в уклонении от мобилизации. Действовали законы военного времени, шутить с которыми никому не рекомендовалось.

Я сам пошел к комбригу и, ни слова не говоря о своих переговорах с Кобелевым, просил его отсрочить мою явку в дивизию еще на один день, сославшись на то, что вчера из-за позднего времени я не смог передать дела редакции. Неожиданно для меня, Зайцев довольно легко согласился с моей просьбой. Вероятно, в этот день в дивизию прибыл настоящий начальник политотдела, и во мне особой, а может и никакой, нужды не было.

В субботу утром я снова снесся с Кобелевым и выяснил следующее. Он, Кобелев, разговаривал с Чистяковым, но, не добившись положительного ответа, обратился за содействием в ЦК, к Щербакову. Щербаков звонил Чистякову, который ему заявил, что, де, Лихачев сам добивался зачисления в дивизию, поэтому они (то есть райком) считают,

что было бы в отношении меня несправедливо поступлено, если бы не посчитались с моим желанием послужить отечеству в рядах добровольческих войск. Изложив все это, генерал добавил сухо:

— Раз вы так настроены, придется, видимо, вас отпустить.

Мистификация райкомовцев меня страшно взбесила. Кроме того, мне уже решительно претила перспектива службы в ополчении. Упорно утверждали, что ополченцы будут заниматься землекопными работами — строить оборонительную линию перед Москвой. Занятие это меня мало прельщало. Говорили далее, что издавать газеты в ополченческих дивизиях ЦК не разрешил. Следовательно, я был обречен в лучшем случае на роль "мальчика на побегушках", так в армейских кругах прозывались инструкторы политотделов. Наконец, я испытывал чувство уязвленного самолюбия. Для работы в армейских и фронтовых газетах из Москвы отправлялись не только третьестепенные журналисты, но и партийные работники, преподаватели вузов и другие, никогда в жизни к журналистике отношения не имевшие, но имевшие блат у Мехлиса и в ПУРККА. Я же, военный журналист, по злой иронии судьбы как раз с наступлением войны должен был расставаться со своей профессией и получить службу, которая еще представлялась мне в тумане, но которая — это я знал наверняка — обещает мне горчайшие унижения.

Я заявил генералу, что мое стремление в ополчение — есть плод фантазии райкомцев, и рассказал, как было дело.

— Конечно, — сказал я, — я готов, как каждый из нас, немедленно пойти в армию и на фронт. Но мое желание заключается в том, чтобы меня послали в кадровые войска.

Подумав несколько секунд, Кобелев ответил, что еще раз попытается "отстоять" меня.

Однако мне уже была пора идти к командиру дивизии, и я решительно недоумевал, что я могу ему еще сказать, чтобы не приступать к службе в дивизии, пока Кобелев не закончит своих переговоров обо мне.

Чудновский уговорил меня, чтобы я сам непосредствен-

но связался с Щербаковым и разъяснил "недоразумение".

Я позвонил. Щербаков, не дослушав меня, резко сказал, что я сам не знаю, чего я хочу, от чего я страшно оскорбился. В бешенстве швырнув трубку, я, не говоря никому ни слова, выбежал из дома и уже через минуту был в штабе.

В штабе заметно прибавилось служащих и толпилось множество командиров и политработников, призванных из запаса и стекавшихся сюда для выяснения личных вопросов: в печати не было опубликовано никаких законов о прохождении службы, правовом и имущественном положении народоополченцев. Десятки людей приходили с повестками военкоматов, вызывавших их на мобилизационный пункт, и спрашивали, как им быть.

Я с трудом пробился к осаждавшемуся толпой командиру дивизии и, встав по форме, доложил, что прибыл в его распоряжение. Мне показалось, что комбриг едва меня узнал.

— Вы свободны до вечера, — сказал он. — В восемнадцать часов явитесь на совещание командного состава дивизии. К тому времени здесь будет мой заместитель (по существующему положению начальник политотдела являлся одновременно заместителем командира дивизии по политической части), и вы от него получите указание о вашей службе.

К назначенному времени я был в штабе и попытался пройти в кабинет начальника политотдела, но меня туда не пустили, так как начальник перед совещанием переодевался в только что принесенную форму. Через несколько минут в большом зале клуба шоферов открылось совещание. Зал был полон людьми в штатской одежде, но фактически все они уже были военными и занимали должности от командира взвода до командира полка.

Говорил комбриг Зайцев. Я не помню содержания речи — это была обычная выпренная речь со словами благодарности и обещания товарищу Сталину, — но запомнил, что комбриг опроверг версию о том, что ополченцы будут нести лишь тыловую службу, и заявил громко, что московский пролетариат станет защищать свой город на его дальних подступах.



После совещания я повстречался в коридоре с сотрудником нашей редакции Семеном Рабиновичем, тоже призванным в ополчение и назначенным на должность инструктора пропаганды стрелкового полка. Рабинович успел надеть военную форму со знаками различия батальонного комиссара и сиял от удовольствия. Будучи уверен, что я буду работать в политотделе дивизии, Рабинович, подмигнув, просил меня не забывать его и при случае, а особенно, если будет комплектоваться редакция дивизионной газеты, вытащить его из полка в управление дивизии. У меня в каком-то тоскливом предчувствии сжалось сердце, но я ничего не ответил и молча направился в кабинет начподдива.

В кабинете были заместители командиров полков по политической части (принято было называть их комиссарами), которые получали указания от восседавшего за столом лысого, тучного человека в форме полкового комиссара, с орденом на груди и танковыми трафаретками в петлицах. Это был начальник политотдела дивизии Банквицер.

Банквицер в качестве комиссара танковой части участвовал в войне с Финляндией и за нее получил орден. В последнее время он занимал должность директора одного из московских институтов.

Я представился.

— Ага! — неопределенно сказал Банквицер. — Мукомль! — обратился он к высоченному человеку с окладистой черной бородой и молодыми глазами. — У вас в полку, кажется, вакантная должность политрука первой роты? Вот, возьмите его.

Я был совершенно сражен этим лапидарным распоряжением и едва выстоял на подкосившихся ногах.

— Товарищ начальник, я этой работы совсем не знаю... Я не строевик. Меня комбриг брал в дивизию как журналиста, — бормотал я почти бессвязно.

— Ничего, товарищ, — обнадежил меня Банквицер. — Будет у нас своя газета, тогда возьмем вас в редакцию, а пока придется поработать в полку. Политрук первой роты есть заместитель комиссара полка. Почетно!

От такого почета я готов был полезть в петлю. "Влип, вплип, как последний кретин!" — преследовала неотвязная

мысль. Мне предстояло еще раз испытать гнусность солдатского быта, нелепицу муштры, удушающую атмосферу полкового распорядка жизни... Странно, в этот момент я совсем не думал об опасности, с которой была сопряжена служба в роте на войне.

Я чувствовал, что дальнейший разговор бесполезен, что Банквицер своего решения не изменит, и молча стоял в окаменевшей позе человека, который только что узнал, что его подлейшим образом обманули.

— Вот что, товарищ! — сказал, подойдя ко мне, бородач, которого начальник политотдела называл Мукомлем и который оказался комиссаром полка. — Вы можете сейчас отправляться домой, а завтра ровно в шесть ноль ноль должны быть с вещами в полку. Будем принимать людей...

\*

Всю ночь жена и теща собирали мою походную котомку — шили мешок, подрубали платочки, приготавливали провизию. Несмотря на уговоры женщин прилечь отдохнуть, я прободрствовал вместе с ними до утра, перебирая и приводя в порядок свой личный архив рукописей, газетных вырезок и документов. С собой из архива я взял только метрическую выписку.

Лишь в четвертом часу я забылся в чутком сне, а в пять уже был разбужен тещей.

Я вскочил и быстро стал одеваться. Было шестое июля — день моего рождения. Мне стукнуло тридцать шесть лет. Усталые от бессонной ночи жена и теща поздравили меня. Тягостным расставанием с семьей начинался тридцать седьмой год моего существования. Жена разбудила Леву, чтобы он простился со мной. Я обвел глазами комнату и, может быть, впервые с такой режущей сердце остротой почувствовал, что я теряю. Я испытывал свою вину перед женой, в отношении которой часто был несправедлив, груб и эгоистичен. "Что имеем не храним, потерявши плачем". И в самом деле, обняв на прощанье жену, я не мог выговорить ни слова от подступивших к горлу спазм.

Пока я поездом метро до Казанского вокзала, а затем трамваем ехал на Большую Почтовую улицу, где для формирования полка было отведено здание школы-десятилетки, из моей головы не выходило мое назначение в полк, которое я переживал, как личное унижение.

В коридоре школы толпилась группа людей в штатском, к которой я и присоединился. В ожидании появления начальства, люди дымили папиросками. Это были ротные командиры и политруки. Взводные еще не были назначены.

К нам вышел низкорослый фатоватый капитан в казачьей длинной гимнастерке с прямым воротом и кавалерийскими петлицами на нем. Объявив, что он — начальник штаба полка, капитан дико заорал:

— Построиться!

”Начинается” — с тоской подумал я.

Капитан сделал выкричку не по фамилиям, а по должностям. Командира первой роты не оказалось.

— Вы будете за командира роты, — сказал он мне. — Сейчас начнут поступать люди, и вы сформируете мне роту.

— Скотина! — чуть не сорвалось с моих губ. С первого взгляда на этого плюгавенького франта, высокомерного кадровика, с первых звуков его крикливого голоса я почувствовал в нем служаку, то есть тупицу и солдафона, и возненавидел его всей душой. На протяжении полутора недель, пока он был в полку, я имел с ним несколько резких стычек по службе, оставшихся, впрочем, без последствий, хотя он и жаловался на меня комиссару полка. Капитана, по его настойчивому ходатайству, перевели в его родную стихию — кадровые войска, и он уехал, проклиная ополчение.

Едва отошел от нас начальник штаба, как я увидел в конце коридора роскошную шевелюру Семена Рабиновича. В свою очередь он также заметил меня и быстро подошел, здороваясь. Я нехотя, но довольно откровенно рассказал ему случившуюся со мной оказию. Семен лучше меня чувствовал, что я в полку долго не останусь и отнесся ко мне очень сочувственно, заявив, что готов оказать мне любое содействие, если я захочу покинуть полк. Он понимал и

рассчитывал, что я ему буду обязан, когда снова окажусь на "верхах".

Через час в штаб полка из учреждений и предприятий Бауманского района стали прибывать первые партии ополченцев. Их выстраивали во дворе школы и, отсчитывая десятками, передавали командирам рот. Таким образом, я трижды или четырежды за этот день принимал в свою роту людей, переписывал их и размещал в классных комнатах школы, в которых были настелены двухъярусные нары.

Это был невозможный конгломерат возрастов и профессий. Были юнцы 1923 и даже 1924 года рождения, студенты, рабочие, престарелые бухгалтеры, невоеннообязанные и запасные первой очереди. Были воентехники, военинженеры, интенданты всех рангов и даже... летчики, которые одним росчерком пера заводских и учрежденческих головотяпов были зачислены рядовыми в полк. Были цветущие здоровьем спортсмены и люди, едва волочащие ноги. Были военные специалисты, отслужившие действительную службу и несколько раз побывавшие на учебных сборах, и люди, за всю жизнь ни минуты не стоявшие в воинской шеренге и не державшие в руках винтовки.

Собственно, все это меня не очень удивляло, потому что я все-таки понимал, что такое в принципиальном смысле народное ополчение, и допускал, что самый его характер как стихийное добровольческое движение не только не отвергает, но и предполагает известную пестроту его рядов.

Но меня потрясло до крайности то, что все эти добровольцы не были никакими добровольцами, а были загнаны сюда либо обманным путем, либо произволом своего начальства. Ко мне группами и в одиночку подходили ополченцы моей роты с просьбой отпустить их домой проститься с родными, взять белье и так далее. Другие требовали, чтобы их послали на медицинское освидетельствование.

Из их рассказов получалась в сущности одна картина: никаких заявлений о зачислении в ополчение они не подавали. По приходе на работу их собрали в одно место и объявили, что они призываются в армию или же, что они,

согласно постановлению общего собрания, зачисляются в народное ополчение и должны тотчас направиться в часть. И действительно, их строили в одну колонну, которую вел в полк секретарь парткома или директор предприятия.

В иных случаях объявляли, что они идут сейчас только для предварительной регистрации или для прохождения медицинской комиссии. Но ворота школьного двора, куда их заводили, захлопывались за ними, и они оказывались в ловушке.

Большинство ополченцев в самом деле было в рабочей одежде и без вещей. Только студенты имели выдержку и никаких претензий не предъявляли, за исключением скромной просьбы, если возможно, отпустить повидаться с любимой девушкой. Один из них мне сказал откровенно:

— Нам быть призванными так или иначе. Так не все ли равно куда — в ополчение или к черту на рога?

Трудно сказать, какими принципами руководствовались на заводах и в учреждениях, отбирая "добровольцев". Некоторые ополченцы прямо заявляли, что администрация сводит с ними счеты. Другие говорили, что администрация, выполняя разверстку райкома по укомплектованию дивизии, спихивает в ополчение людей неработоспособных или же тех, кто состоит в запасе Красной армии и неизбежно будет мобилизован.

Для меня становилось все более ясным, что, собственно, произошло. Московскому комитету ВКП(б) нужно было продемонстрировать перед всей страной, чего стоит московский пролетариат, когда социалистическое отечество в опасности. Столица должна была показать пример единения вокруг вождя, политической сознательности, патриотической жертвенности, социалистической организованности и прочее. Вполне вероятно, что сам вождь лихорадочно торопил московскую организацию с реализацией идеи ополчения. Красная армия безостановочно пятилась на Москву, один за другим разваливались фронты. Нужно было во что бы то ни стало остановить бегущие войска, вдохнув в них веру в незыблемость тыла. Нужно было приободрить и сам тыл, в котором угрожала распространиться паника.

Для формирования двух десятков ополченческих дивизий города Москвы сверху был дан фантастический срок — два дня! 3 июля Сталин произнес свою речь, а уже 6 июля ополченцы должны были явиться к своим частям. Мыслимо ли было за столь короткое время набрать 350—400 тысяч подлинных добровольцев? Потребовалось бы открыть огромную сеть регистрационных пунктов, развернуть агитационную и справочную работу, определить состояние здоровья и военную подготовку каждого добровольца и, в соответствии с этим, расписать всех ополченцев по родам войск и родам армейской службы.

Времени для всего этого решительно не было дано. Обалдевшие от невыносимых насаждений МК и ЦК, требовавших безоговорочно выполнить точно в установленный срок директиву о формировании дивизий ополчения, руководители районов решили на все эти "формальности" махнуть рукой. По предприятиям и учреждениям были проведены общие собрания и единогласно приняты резолюции, что "мы все пойдем и все умрем". В Советском Союзе на собраниях и даже миллионных митингах от имени партии и правительства можно было провести единогласно любую, самую немыслимую резолюцию: вычерпать море ложками, организовано переселиться на луну, заставить земной шар вращаться в обратном направлении, считать черное белым и так далее. Воздержаться, то есть не "успеть" поднять руку ты еще можешь, но голосовать против предложенной резолюции никак не посмеешь.

"Народное волеизъявление" было проведено, и этого было достаточно, чтобы тотчас после собрания или на другой день директор завода или секретарь парткома мог схватить тебя за шиворот и поставить в строй добровольцев-ополченцев.

— Ведь голосовал за резолюцию: все пойдем и все умрем. Так пожалуйста бегите.

Я, конечно, знал хорошо тайну массовых волеизъявлений в нашей стране, знал методы и приемы, посредством которых достигалось социалистическое единодушие 170-миллионного народа. И все же представившаяся мне картина "вербовки" добровольцев в ополчение сразила ме-

ня наповал. Господи, война, а ничего, ничего не изменилось!..

Я отправился к комиссару Мукомлю и просил его разрешить отпускать ополченцев по очереди домой для устройства личных дел. Заодно в осторожных выражениях я рассказал ему, какие это "добровольцы".

— Об отпусках узнаю в дивизии, — буркнул Мукомль. Потом, резко повернувшись ко мне, спросил: — А чем сейчас занимаются люди в ротах?

— Да ничем, — ответил я. — Идет приемка прибывающих партий.

— Немедленно организовать строевые занятия, — распорядился комиссар. — Сидят без дела, распускают нюни, вот им и лезут в голову всякие вредные мысли.

... Ничего не изменилось!

Я вывел людей на крошечный двор школы и подал команду построиться. Толкаясь и путаясь, ополченцы кое-как составились в две скособочившиеся шеренги. Я стал показывать стойку, приемы поворотов на месте. Из окна здания высунулся Мукомль и закричал:

— Командир роты! Вы погоняйте их, погоняйте, нечего толочься на месте. Авось проветрят мозги.

— Кретин! — прошептал я в бешенстве и заорал на роту:

— Напра-во! ... Шагом марш!

Колонна уперлась в стенку.

— Рота, стой! Кругом! Шагом марш!

Ополченцы, шагая невпопад, понуро брели мне навстречу. Мне пришло в голову, что если они и не ненавидят меня в эту минуту, то посылают ко всем чертям и матерям навечно.

— Гляди веселей! — не унимался в окне Мукомль.

— Ать... два! — мучительно выхаркивал я из горла и чувствовал, как все мое существо охватывает беспредельная тоска.

... Вечером я пошел к комиссару и заявил, что решительно ходатайствую отпустить меня из полка.

— Я обещаю, что через неделю самое большее я уеду на

фронт. Меня военкомат примет и пошлет. Я добьюсь этого, — сказал я, чтобы сразу оградить себя от обвинений, которые я предвидел.

Я объяснил, что в полку мне делать нечего, так как к строевой службе в качестве командира или политрука я не пригоден по причине болезни, а другой штатной службы для меня в полку не найдется. Не зря медицинская комиссия признала меня негодным к службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. Наконец, я хочу работать по специальности, находя, что на этом поприще я буду более полезен делу. Не кто иной, как партия, учит правильно расставлять кадры...

Мы жарко поговорили, но Мукомль остался непреклонен, отвергнув все мои доводы и заявив, что никуда меня не пустит.

— Тогда я буду добиваться своего помимо вас, — сказал я запальчиво.

— Остерегайтесь необдуманных поступков, — резко произнес комиссар. — Вы должны понимать, чем это для вас может кончиться. Партия не любит неповинующихся. Здесь сидит наш новый секретарь партбюро, для которого, я полагаю, не осталось незамеченным ваше поведение.

В комнате в самом деле был еще человек, толстяк средних лет, с довольно добродушным расплывшимся лицом, в костюме и при галстукке. Я потом узнал, что он был секретарем парткома в каком-то высшем учебном заведении.

— Да, товарищ, — подхватил секретарь партбюро. — Всяк должен работать там, куда его поставила партия.

— Ну, хорошо! — ответил я почти угрожающе и встал, собравшись уходить. Я попросил у комиссара разрешения отлучиться на ночь домой под тем предлогом, что я не взял с собой никаких постельных принадлежностей. К моему удивлению, несмотря на столь бурное и почти враждебное объяснение, Мукомль согласился.

По милости судьбы вечер этого знаменательного для меня дня я, как и в предыдущие годы, провел в кругу своих родных.



...На следующий день в полк продолжало поступать пополнение. Роту приходилось выстраивать каждые полчаса: из штаба полка то и дело прибегали угорелые писаря с требованием дать списки роты по новой, уточненной форме, выявить сапожников, портных, пекарей, кузнецов, учесть комсомольцев и прочая, и прочая...

Поздним утром, в одной из служебных комнат нижнего этажа начала работать медицинская комиссия. Из штаба полка приказали объявить по ротам, что медицинскому освидетельствованию подвергнутся не все, а только те, кто заявлял жалобу на здоровье. Сначала у дверей комнаты, где происходил врачебный осмотр, столпилась лишь небольшая кучка ополченцев. Но когда двое или трое из них получили направление на клиническое обследование, а один даже освобождение от службы, в коридоре длинным хвостом вытянулась очередь желающих попасть к врачам.

Взбешенный Мукомль снова накричал на командиров рот и приказал заняться строем, взяв на занятия людей из очереди и отпуская их на комиссию по одному. Тем не менее, как только на занятиях устраивался перекур, коридор снова и моментально набивался людьми. Командирам приходилось бешено орать, выгоняя ополченцев во двор, многие прятались по углам, уборным, классам и даже под нарами и, как только со двора начинал доноситься топот приступивших к занятиям рот, выползали в коридор, к дверям заветной комнаты.

После обеда во дворе школы появилась высокая и плотная фигура комбрига Зайцева. Как раз в это время с фабрики имени Балакирева в полк привели группу добровольцев в 25—30 человек. Комбриг приказал выстроить фабричных и обратился к ним с краткой речью, в которой были перемешаны лесть и угрозы. Комбриг поздравил новых добровольцев с вступлением в ряды народного ополчения и выразил уверенность, что они верной службой советской родине не опозорят имени славного революционера Балакирева. (Слушая Зайцева, я почему-то подумал, что, вероятно, он решительно не знает, кто такой был этот Балакирев. Не знал этого и я.) Далее комбриг заявил, что теперь они — на воинской службе и, хотя считаются доброволь-

цами, ответственны за проступки и преступления по службе, как и мобилизованные. В заключение командир дивизии патетически воскликнул:

— Я знаю, что никто из вас сейчас не задумывается над своим здоровьем, потому что в вас крепок дух патриотизма. Только те, кто уже чувствует себя совершенным калеккой, могли бы обратиться в медицинскую комиссию. Но я вижу, что среди вас таких нет... Кто желает пойти на медицинское освидетельствование — три шага вперед!

С десяток людей решительно шагнуло из шеренги. Остальные, недоверчиво или в смущении озираясь, заколебались на месте, как былинки на ветру. После минутного замешательства к вышедшим присоединилось еще несколько человек. В общем таким, несколько необычным манером о своем нездоровье заявило едва ли меньше половины "славных балакиревых". Гипноз не удался...

Комбриг, видимо, тоже изрядно смущенный, сначала как-то совестливо махнул рукой, а потом, объявив мрачно: "Вы мобилизованы! Понимаете, мобилизованы? Конечно!" — быстро скрылся в дверях школы.

Медицинская комиссия функционировала еще два дня, приняв в общей сложности около трехсот человек, и прекратила работу внезапно, когда на формирование в полк еще продолжали поступать люди, а из поступивших ранее еще далеко не все из заявивших о нездоровье были ею освидетельствованы. Всего вероятней, что из дивизии приказали врачам убираться из полка ко всем чертям. Уж очень сильно компрометировали добровольческое народное ополчение эти унылые хвосты у дверей медицинской комиссии!

Не могу точно сказать, какое количество из освидетельствованных ею ополченцев медицинская комиссия признала больными или инвалидами, но знаю наверняка, что их было ничтожно мало. Несомненно, со стороны райкома и командования дивизии на врачей было оказано сильнейшее давление в том смысле, что они должны руководствоваться не врачебной совестью и долгом и даже не интересами боеспособности формируемого войска, а исключительно соображениями высшего порядка, то есть они должны были поза-

ботиться единственно о том, чтобы Чистяков мог своевременно рапортовать Щербакову, а Щербаков — Сталину, а Сталин дать приказ печати расшуметь, что ополченческие части, благодаря неслыханному энтузиазму столичного пролетариата, сформированы в рекордно короткий срок и пламенеют единственным желанием — поскорее ринуться в бой за социалистическую родину.

Врачи имели все основания опасаться и дрожать, что в случае, если они чересчур кропотливо будут рыться в пораженных туберкулезом легких чахоточника или подозрительно долго выслушивать больное сердце, то могут быть обвинены в укрывательстве симулянтов, в срыве политического мероприятия, во вредительстве и, пожалуй, даже в пособничестве немецко-фашистским захватчикам.

Медицинская комиссия бегло, для виду осматривала ополченцев и особенно настаивающим на своей болезни давала записки, что они не годны к строевой службе и годны только к нестроевой, а явно больных, вернее только тяжело больных с явными признаками болезни направляла на клиническое обследование, боясь даже и в этом случае принять на себя ответственность за освобождение от военной службы инвалида. Я не уверен, что комиссия своим решением освободила от службы больше 5—7 человек, хотя по здравому смыслу все эти люди, обращавшиеся в медицинскую комиссию, должны были бы быть без всякого осмотра немедленно отосланы из ополчения, потому что самим фактом своего обращения в медицинскую комиссию и выклянчивания или вымаливания освобождения засвидетельствовали, что добровольно служить не хотят и загнаны сюда насильственно. Но это уже, конечно, не было делом медицинской комиссии...

Итак, никакого народного ополчения, как свободного изъясления доброй воли людей, не было. Правительству нужно было устроить блеф с ополчением, и по его жесту и по произволу местных властей были насильственно согнаны в полки и дивизии сотни тысяч людей, что должно было демонстрировать патриотический подъем народа. Это была та же мобилизация, но проведенная крайне безобразно и

в обход всяких законов о военной службе и мобилизации, потому что мобилизовывали людей невоеннообязанных или военнообязанных тех возрастов, в отношении которых мобилизация правительством не была объявлена.

Конечно, была среди ополченцев известная, меньшая, часть людей, которые пошли в ополчение в некотором смысле по добровольному желанию или согласию. Это были, во-первых, военнообязанные, обманувшиеся надеждой, что в ополчении им удастся отсидеться вдали от фронта — на оборонительных работах, на службе охраны тыла и так далее; во-вторых, карьеристский элемент, главным образом из среды советской интеллигенции, который строил свой расчет на том, что в ополчении опасности для жизни будет мало, дела еще меньше, а почета много.

В тот же день, 7 июля, было получено разрешение отпустить по очереди на несколько часов ополченцев домой, но не всех, а только тех, у кого действительно не было никаких вещей. В общем, отпущенные возвращались в часть исправно, изрядно запуганные предупреждением, что самовольная отлучка свыше двух часов будет рассматриваться как дезертирство, караемое в военное время расстрелом. Но было и несколько случаев невозвращения. Впоследствии выяснилось, что эти невозвращенцы, придя домой и найдя на столе повестку военкомата, шли на мобилизационный пункт и зачислялись в кадровые или запасные части, махнув рукой на ополчение. Некоторые возвращались в полк лишь утром, с опозданием на целую ночь, ободряя себя тем, что они еще не принимали военной присяги; другие не могли перенести ног через порог, потому что были вдребезги пьяны. Но обещанных строгих мер полковое начальство не пускало в ход, за исключением того, что пьяные вталкивались в школьный подвал на протрезвление.

Отпущенные, конечно, разболтали дома и знакомым, где стоит полк, и на улице, перед школой, все дни до выступления полка из Москвы с утра и до вечера толпились женщины с детьми, приходившие сюда в надежде увидеть своих родных. Здесь же бестолково металась со слезами на глазах женщины, разыскивающие пропавших мужей,

братьев, отцов и сыновей. Не дождавшись мужа или сына с работы, женщина бежала на завод, где ей давали справку, что ее родственник призван, и примерно говорили, где его можно разыскать. Но находились и такие негодяи из породы бдительных, которые под предлогом сохранения военной тайны наотрез отказывались указать местонахождение призванного в ополчение.

В дверях школы были поставлены часовые, которым приказывалось никого не впускать в здание и не выпускать из него, за исключением командиров в форме. На мне уже была военная форма со знаками различия лица старшего начальствующего состава и в виду этого я мог проходить через двери беспрепятственно.

Всегда, когда мне приходилось выходить на улицу, меня осаждала толпа гомонящих женщин с просьбой вызвать на свидание сыночка, передать узелок мужу или только узнать, здесь ли находится такой-то. Причем каждая стремилась перегрузить свою просьбу длиннейшими подробностями, что свойственно русскому человеку. Исполнить их просьбы было архитрудным делом, потому что для этого нужно было вырвать у полковых писарей списки всего личного состава полка и пробежать их глазами (две тысячи фамилий!), чтобы узнать, здесь ли находится разыскиваемый, и если да, то в какой роте, или же обойти с расспросами все роты. Между тем, один батальон полка был расквартирован не здесь, а в другом помещении и на другой улице.

Все же в нескольких случаях мне удалось помочь несчастным женщинам. Ко мне тоже приходили жена с сыном, принося что-нибудь из съестного, и, прогуливаясь с ними по тротуару, я чувствовал, как дорого человеку увидеть еще и еще родное лицо перед расставанием, увы, быть может, навечно.

\*

... В ночь с 7 на 8 июля я впервые остался ночевать в полку. Не оставлявший меня без внимания Семен устроил мне койку в комнате полкового начальства, иначе я должен был бы валяться на общих нарах. Душевное состояние

было прескверное, сердце щемило, и я долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок. "Уйду из полка, уйду во что бы то ни стало", — ворошилась в голове неотвязная мысль.

На следующее утро я узнал новость. В полк прибыла группа выпускников пехотного училища, кажется Ярославского, для замещения должностей командиров рот и взводов. Это были желторотые птенцы, 1921—1922 годов рождения, выпущенные из училища досрочно. В петлицах у них еще не было никаких знаков различия, за исключением курсантских золотых угольничков. Командиром первой роты был назначен высокий паренек с грациозной, женственной фигурой и светлыми глазами. Мне предложено было передать ему командование ротой и вступить в исполнение своих прямых обязанностей, то есть в должность заместителя командира роты по политической части.

Хотя новоиспеченный командир роты отнесся ко мне в высшей степени почтительно, мое самолюбие было еще раз ущемлено чрезвычайно больно. Немного было чести состоять в политических заместителях у мальчика, едва сошедшего со школьной скамьи. Правда, фактически замполиты рот были самостоятельны и независимы в своих действиях от командиров рот. Тем не менее уже самое слово заместитель в данном случае звучало для меня оскорбительно.

Вечером я пошел к Мукомлю, чтобы спросить у него разрешения обратиться к начальнику политотдела дивизии, и сказал прямо, что буду просить начальника политотдела отпустить меня в кадровые войска.

— Этого не будет! Вы остаетесь политруком первой роты. А о вашем саботаже будет доложено комиссару дивизии, — пригрозил мне комиссар полка.

Однако утром Мукомль вызвал меня к себе в кабинет и примирительно сказал, что отныне я буду работать при нем — вроде помощника комиссара полка. Я изумился:

— Как же так? Ведь никакой такой должности по штатам полка не положено! Насколько мне известно, при комиссаре полка полагается лишь писарь-информатор из рядового состава.

— Ничего не значит, — ответил Мукомль. — Пока что жалование вам, как добровольцу ополчения, будет платить учреждение, в котором вы служили. А там видно будет... На первых порах, — продолжал далее комиссар, — вы будете по донесениям политруков рот составлять сводные политдонесения комиссару дивизии. Ну, а еще поможете нам как специалист наладить в ротах выпуск боевых листов и стенных газет.

Через полчаса после моего ухода от комиссара в роту пришел человек в штатском принимать от меня дела. В нем я не без удивления узнал секретаря партбюро, того самого, который присутствовал при моем первом разговоре с Мукомлем, когда я просил комиссара отпустить меня из полка. Оказывается, не знаю почему, Иван Николаевич (так его звали) к своему несказанному огорчению был снят с тепленького местечка секретаря партбюро и замещен на этой должности полковым комиссаром запаса Богдановым, знакомым Банквицера. Ивану Николаевичу же приказали пойти на только что освободившуюся должность политрука первой роты.

Иван Николаевич не скрывал своего раздражения и, беседуя со мной о делах ротных, проклинал Мукомля, и политотдел дивизии, и судьбу, повернувшуюся к нему задним местом.

— Всяк должен работать там, куда его поставила партия. Так-то, товарищ политрук, — не без сарказма повторил я слова Ивана Николаевича, сказанные им третьего дня в мой адрес.

Иван Николаевич мрачно сплюнул и промолчал.

Итак, с моих плеч спал один тяжкий груз, который, к счастью, пришлось носить мне недолго — всего три дня. Я не знал в армии фигуры более жалкой, чем политрук. Бессмысленна, ненужна, пошла и презренна его работа. Редкий политрук не чувствовал себя лишним человеком как среди командиров, так и среди красноармейцев. В этом весь трагизм этих людей, большинство которых безусловно тяготилось своим ложным положением.

...С утра 10 июля я приступил к исполнению своих новых обязанностей, которые были очень расплывчаты и неопределенны и оставляли много свободного времени.

Днем я ходил по ротам и просматривал свежие номера стенных газет, которые еще назывались "боевыми листками". Моей обязанностью было инструктировать редакторов этих примитивных бюллетеней (обычно они назначались из числа красноармейцев-коммунистов), а также политруков рот в отношении задач, содержания, стиля и внешнего оформления ротной и взводной печати.

Перед вечером меня засадили за писание политдонесения комиссару дивизии, и я должен был поторапливаться, потому что политдонесения должны были аккуратнейшим образом ежедневно, не позже 19 часов, специальным нарочным доставляться в штаб дивизии. За опоздания с донесениями нижестоящие всегда получали от вышестоящих большой разнос.

Форма донесения из политотда еще не было продумана, но за годы службы в армии (до чистки 1937—1938 гг.) я, конечно, много раз читал эти штуки и представлял себе, о чем и в какой форме требовалось доносить по начальству. Главное назначение политдонесения — информировать начальство о морально-политическом состоянии личного состава части, в особенности же об отрицательных настроениях, критике линии партии и правительственных распоряжений, контрреволюционной агитации, различных формах антисоветской демонстрации, недовольстве жизнью, службой и т. д. Причем о некоторых событиях подобного рода, подпадавших под рубрику "Чрезвычайные происшествия", требовалось доносить немедленно, не дожидаясь времени очередного политдонесения.

Примеры положительного порядка также должны были составлять специальный раздел. Сюда включались отдельные фразы из "верноподданнических" выступлений на собраниях, примеры бдительности, рвения по службе и военной учебе.



Особым почетом в этом разделе пользовались сведения, говорящие о тяге бойцов в партию и комсомол.

Наконец, в политдонесениях надлежало освещать и чисто военную сторону дела: выполнение приказов вышестоящих штабов, состояние кадров командного состава, бытовое обслуживание бойцов, нужды части, а также проведенную партийно-политическую работу.

Словом, комиссарский глаз должен был чувствоваться везде и во всем. Но комиссар со своей комиссарской вышки мог видеть все полковые закоулки, а что мог знать о них я, никаким краем не входящий в дела командования? Есть у полка нужды или нет? Хорошо или плохо идет формирование части? Как обстоит дело с укомплектованием командного состава? Аллах его ведает! А, между тем, я должен был представить комиссару на подпись готовый проект донесения. Идти к Мукомлю с распросами я почему-то считал для себя зазорным.

Моим материалом могли быть только донесения политруков рот, но, перечитывая их с трудом, потому что они были написаны на обрывках оберточной бумаги, карандашом и безграмотно, я смог отчеркнуть лишь пять-шесть стоящих внимания фраз. Это были, главным образом, ссылки на жалобы бойцов по поводу неправильной или незаконной мобилизации в ополчение. Политруки были в большинстве новички в своем деле, приняли роты совсем недавно, личного состава еще не знали, наладить службу "сигнализации" не успели, да никто и не хотел за это дело браться, пока начальство не подстегивало. О политической или военной работе они также не очень много могли написать: пока что их деятельность ограничивалась вождением ополченцев на обед в городские столовые да бесконечным составлением и пересоставлением списков.

Я решил написать донесение о том, что у меня самого наболело и что действительно было "гвоздем" всех настроений в полку — о насильственной мобилизации людей в "добровольческое" ополчение. Этот "предмет" я знал хорошо. В моих глазах еще стояли толпы рабочих, загоняемых как стадо на полковой двор, сценки из встречи командира дивизии со "славными балакиревцами", огромные

хвосты очередей у комнаты медицинской комиссии, а в ушах еще звучали жалобы на произвол и насилие, жалобы, которых я за прошедшие дни наслышался вдоволь.

Форма секретного донесения была хороша тем, что она позволяла доносившему, если хорошо изловчиться, высказывать, не стесняя себя в выражениях и резкости оценок, самое критическое суждение по любому явлению советской действительности и по любому вопросу политики партии и правительства без риска быть уличенным или обвиненным в "крамоле" и "контрреволюции".

Конечно, комиссар не мог от своего имени написать, например, что ополчение — выдуманная сверху вещь и никакое это не патриотическое движение, а грубая подделка, насилие и шантаж. Но вполне безбоязненно можно было об этом написать, скажем, так: "В полковой уборной подслушан разговор красноармейцев, которые говорили об ополчении, употребляя такие выражения: "Всех нас согнали сюда, как баранов", "Это не ополчение, а народу мучение", "И чего только вытворяют партийные головотяпы"... "Установить личность контрреволюционных агитаторов пока не удалось. Политрукам рот сделано указание о тщательном изучении личного состава".

И уж, конечно, можно было смело описать паломничество в медицинскую комиссию, привести цифры, изложить рассказы ополченцев о произволе в учреждениях и на предприятиях в дни записи в "добровольцы", охарактеризовать состав ополченцев по возрасту, образованию, отношению к воинской повинности, военным специальностям и т. д.

Я изловчился получше и почти не приводя фамилий, но ссылаясь на "учтенные настроения", развернул подлинную картину "патриотизма из-под палки". Этот раздел составлял, вероятно, три четверти всего донесения и заканчивался "предохранительной" фразой: "приняты меры к усилению разъяснительной работы и ликвидации нездоровых настроений".

Мобилизовав все свои писательские таланты, я придал донесению этакий литературный лоск и внутреннюю логическую связь.

Комиссар, прочитав мое "творчество" самодовольно ухмыльнулся. Ему понравилось!

— Хорошо! — сказал Мукомль. — Только вначале обязательно нужно сделать вставочку, что, мол, личный состав ополченческого полка, как это говорится, проникнут боевым духом и, горит, что ли, желанием поскорее броситься в бой за родину и товарища Сталина. Приведи два-три высказывания патриотов. Без этого — нельзя. Все остальное, что тут написано, пойдет после слов: "Но имеются отдельные нездоровые настроения". Тогда уже можно все писать...

Я мысленно хлопнул себе ладонью по лбу. Как это я забыл! Ведь это же положено по советскому ритуалу. О чем бы ни шла речь, сначала нужно непременно сказать, что в общем и целом все обстоит прекрасно, имеются налицо успехи и рост и только после этого можно класть черную краску, да и то в меру. Если бы даже земной шар раскололся, то и тогда следовало бы первоначально восхититься "успехами соцстроительства на одной шестой части его суши", а потом уже указать на отдельные недочеты, как-то: непланово болтающиеся в мировом пространстве половинки бывшей планеты.

— Но где же взять эти патриотические высказывания? — озадачился я. — Ведь в донесениях политруков об этом не говорится ни слова.

— Ну, мой дорогой! — возразил Мукомль. — Да поймайте в коридоре любого красноармейца, порасспросите-ка его, — разве он будет отпираться от патриотизма?

Мне ничего не оставалось, как еще раз хлопнуть ладонью по лбу.... Но ловить в коридоре красноармейца я все-таки не стал, а пошел к ротным стенгазетам и выписал несколько трескучих и бессодержательных заметок.

На следующее утро возвратившийся из политотдела дивизии Мукомль был в великолепном настроении. Увидев меня, он сказал:

— Донесение наше очень понравилось начальству. Интересовались, что за писатель объявился в полку. Наш доклад целиком вошел в донесение политотделу армии. А другим комиссарам был нагоняй — прислали воду на киселе...

Великая штука — уметь сделать доклад начальству! Но,

кроме того, для меня было ясно, что дивизионному начальству донесение пришлось по душе потому, что в нем была найдена форма бросить в лицо правительству обличающие вещи...

\*

В полку все упорнее поговаривали о предстоящем снятии ополченческих дивизий с московских квартир, и в следующий день, 12 июля, я снова наведаясь домой и навел на редакцию. Чудновский продолжал ожидать назначения в армию. Сотрудники еще были на своих местах, за исключением, кроме меня, трех человек.

В тот же день перед вечером было объявлено, что полк выступает через два-три часа, с наступлением сумерок. Рабинович мне сказал, что я могу положить свои походные вещи в автомобиль полкового и начальства. У Мукомля я спросил о моем месте в колонне, на что он ответил, что могу выбирать себе место по собственному усмотрению.

...В сгустившихся сумерках летнего вечера, вытягиваемая из "рулетки" школьного двора лента-колонна, обогнув угол, растянулась по Большой Почтовой улице.

Непостижимо, каким образом могли узнать о выступлении полка родственники ополченцев, которые теперь заполняли тротуары. Вероятно, они каждый вечер дежурили здесь и в прилегающих улицах. Пока колонна, остановившись, с криками и бранью приводила себя в порядок, ополченцы обменивались поцелуями и последними словами с женами и детьми.

Полк в течение нескольких часов молча проходил по темным и пустым улицам города. В Москве уже были введены ограничения ночного передвижения, требовался пропуск комендатуры, и после двенадцати часов на улицах встречались лишь редкие пешеходы. Только во входных дверях домов, не рискуя выйти на тротуары, толпились, перешептываясь, страдающие бессонницей москвичи. Некоторые рьяные политруки обратились к Мукомлю, прося дозволения петь, но петь не было дозволено — то ли по

соображениям бдительности, то ли из боязни, что пение получится заупокойным, привлечет внимание спящей Москвы к этой необмундированной, разношерстной, идущей почти беспорядочной толпой, "армии" и угнетающе подействует на "патриотизм" столичных жителей...



Андрей САМОХИН

# Амурская война

*(К 300-летию первой войны России на Дальнем Востоке)*

## I

### ТРИСТА ЛЕТ НАЗАД

#### *1. Далекий путь на восток*

Год 1984 — год юбилеев. В 1584 г. умер Иван Грозный и открыл своею кончиной дорогу великой смуте, едва не поглотившей Россию. А август 1914 года открыл путь великой трагедии человечества. Вот уже скоро 70 лет тянется, и конца не видно, от петроградских улиц до джунглей Кампучии.

Но приближается еще одна памятная дата, ее, впрочем, не многие помнят, а она очень важна для России. Триста лет назад началась первая война с Китаем — Албазинская осада. Точнее, не с Китаем русские воевали тогда, а с маньчжурами, которые захватили великую страну. И начала действовать в Поднебесной их маньчжурская дай-цинская династия, или цинская. Маньчжуры тогда стали людьми первого сорта.

---

По независящим от редакции обстоятельствам эта статья печатается с неоправданным опозданием, за что мы приносим глубочайшие извинения автору. — Р е д.

События, приведшие к этой войне, начались ровно за сто лет до 1684 г. В тот самый год, когда умер Иван Грозный, Ермак Тимофеич со товарищи "сибирское взятие произвел". Сам пал он в тот самый год, но другие казаки и разные люди русские двинулись за Урал-Камень. Кто счастья искал, кто от несчастья бежал, кто по цареву повелению, не своей волей шел. Но все они шли за землицей хлебушко посеять. Жить хотели свободно. Жить хотели без бояр и приказных. Воли искали. Конечно, потом стали посылать в Сибирь "за казенный счет". Одним словом, и гнали, и сами шли. Вот так дошли до Амура — реки Черного дракона.

До Охотского моря, до тихоокеанского побережья добрались казаки и другие охотники еще до того, как Китай покорили маньчжуры. Земли эти, через которые выходили русские к Тихому океану, в те времена пустынные стояли, хотя в некоторых местах, особенно на Чукотском Носу, племена оказали сопротивление. Это нужно признать, а не писать, как советские историки. Сначала после "великого октября" все они утверждали, что хуже извергов, чем русские, не было. Все труды наполнены были выражениями: колонизационная политика Московского государства; беспощадное угнетение коренного населения Сибири; неравноправные договоры и т. д. Казаки и русские крестьяне изображались извергами и эксплуататорами. Особенно когда коллективизация проходила и добывали русское крестьянство, таких книжек очень много напечатали. Но теперь положение изменилось, теперь и слов таких не увидишь ни в одном историческом труде. Никакой колонизационной политики Московского государства нет и не было. А было — "хозяйственное освоение восточных окраин". Попробуй напиши теперь — колонизатор-

ры! Главлит не пропустит. Теперь пишут — смелые русские землепроходцы.

Теперь выясняется, что казаки были уж и не такими плохими. Напротив, они, оказывается пашню заводили, монастыри строили, землю отечества защищали. Перечислять все эти книги и не стоит. Например, "Подвиг Семена Дежнева", или "Сибирская экспедиция Ермака". Может, Дежнев вовсе и не открыл Берингов пролив, и не плывал через него? Кто теперь знает. А Ермак Тимофеевич не в экспедицию ходил, а "взятие сибирское сотворил", дело неслыханное в истории. "С горсткой товарищей большое царство победил, и не по правде, непрочное это было царство". Не хотели племена, которые в том царстве жили, его защищать. Вот и пало оно быстро. Так теперь пишут, лгут, восхваляют, как никогда историки и при царе не писали. Тогда люди еще черное называли черным, а белое белым.

Сейчас редакторы в исторических работах вычеркивают любые упоминания о схватках между племенами на Амуре и казаками или о методах сбора ясака с этих племен. Сейчас разрешено только положительно о наших дорогих землепроходцах — и никак иначе.

Действительно, могущество Государства Российского создано было казаками. Они заложили фундамент того изумительного, невиданного в истории государственного образования, которое много позже назвали Россией.

Не любили казаки несправедливости, не любили гнета, а особенно от чужеземцев. Себя они гнуть не позволяли. Вот почему и потрясали Россию казачьи войны на протяжении почти 170 лет. Ведь главной силой в так называемых крестьянских войнах, народных восстаниях, мятежах всегда



были казаки. И вот странное дело. Били их. Они били. Ссылали и на каторгу отправляли. Но ни одному царю, даже из иностранных, в голову не пришло уничтожить казачье сословие. Наоборот, после каждого восстания, смотришь, какие-нибудь привилегии давали. А уничтожила их, казаков, эта самая "рабочая власть", "пролетарская диктатура". Истребила. Расказачила. Достала и за границей, — вот в Австрии в 1945 году около 110 тыс. казаков вместе с семьями и детьми малыми. Некоторые матери своих детей сами порешили. А сколько их уничтожили по личному приказу Троцкого прямо в степях. Исчезли они, сгинули. Вот были казаки на Дальнем Востоке. Их там и не так уж много было. Большинство их до конца дралось с насильниками и захватчиками и ушло за кордон в Китай в 1922 году, но были и такие, кто остался: много еще в станицах на Уссури и по берегам о. Ханка осталось казаков. До 1929 года жили, надеялись: вот, может, все кончится и жизнь нормальная вернется. А когда их начали в колхозы загонять да в колымскую тундру, на самый крайний север, погнали, поняли все — уходить нужно. И ушли разом. Сначала все разузнали от своих с той, китайской, стороны. Поднялись в единую ночь. Пограничники да спецотряды ОГПУ и пикнуть не посмели. И ушли... в Китай! Вот оно как, к злейшим врагам, к желтым. И ничего. Там им, чужакам, землю дали. Пожалуйста, ни тебе колхозов, ни ОГПУ. Живи! Езжай куда захочешь. Чудовищно! Бред какой-то. Это с казаками, со своими злейшими врагами. И жили они там до 1945 г., когда и туда нагрянуло, нет, не ОГПУ. К тому времени называлось оно уже МГБ или МВД. Явились, и кого успели, тех похватили и "куда нужно" определили. И даже при Мао еще некоторые уцелели. Говорят, не всех

в СССР выгнали, некоторые успели и в другие страны уехали.

Автор в тех местах бывал. Ходил и ездил там. Нет и следа казачьего. Много раз приходилось в тех станицах ночевать, с людьми беседовать, за столом вино зеленое пить. Там казачество исчезло, даже толком-то не понимают смысл казачьей жизни. Разные там теперь люди. Совсем разные. Сборная деревня, малонаселенная, с бору по сосенке. В основном вином тешутся. Пьют в три горла. Политика там советская изначальная, мешают людей. Основного крепкого единого населения нет и быть при советах не может.

Вот оно как, о казаках-землепроходцах теперь ни слова плохого не разрешают говорить. А казаков самих давно истребили под корень.

Историю Сибири и присоединения ее к Государству Российскому мы знаем. "Присоединили" и "воевали" ее казаки и "охочие люди". Смелые, свободные люди и создали великое Государство Российское задолго до того, как, согласно утверждению Энгельса, политикой России стала заправлять ловкая банда иностранных авантюристов, которая и "подняла Россию до вершин ее могущества". К тому времени, как начались реформы Петра и мучения раскола, в равной мере вызванные и вмешательством иностранцев в жизнь народов России, государство наше уже, плохо ли, хорошо ли, но простиралось до берегов Тихого океана. Но до того, как это произошло, пришлось правительству московскому (тогда правила Софья — сестра Петра) пройти через войну с маньчжурами. Судьбоносная то была война.

Так сложилось, что в XVII веке шла в Китае усобица, а маньчжуры вмешались в нее и захватили власть в стране.

Маньчжуры в истории Китая большой след оставили, да и в русской истории их след есть, и стоит о нем сказать.

Народ этот сыздавна жил южнее Амура, где-то в районе нынешних китайских городов Харбин, Шеньян, Бэньси. Какого они корня, до сей поры даже специалистам не ясно. По-старому их называли одним из тунгусских племен. Некоторые считали, что они нашим эвенкам родственники. Другие полагают, что в древности маньчжуры были очень близки корейцам. Есть одна интересная книга о маньчжурах, которую и в Москве получить можно. Книга эта, однако, думать надо, написана для внешнего употребления. Автор ее Ли Чи, и называется она "Маньчжурия в истории", издана в Пекине в 1931 г. Как раз в то время Япония хотела Маньчжурию к рукам прибрать, и потому книга имеет явно пропагандистский характер. Тем более, что власть маньчжурской династии уже 20 лет как была сброшена.

Ли Чи пишет, что еще до Р. Х. территория Маньчжурии управлялась лицами китайского происхождения и из Поднебесной. Он подчеркивает, что и в расовом отношении маньчжуры принадлежат к той же группе, что и население Китая. Автор убежден, что уже к концу XIX века маньчжуры так ассимилировались, что их, мол, теперь и не отличишь от ханьцев (китайцев).

Заметим, что в начале XX века Сун Ят-сен с такими выводами не соглашался. Но автор упорно повторяет, что Маньчжурия лишь географическое понятие и всего лишь часть Китая (с. 5). Заметим, что по китайской переписи маньчжуров насчитывалось почти 3 млн.

Но в своей книге Ли Чи постоянно выделяет два аспекта: маньчжуры все-таки управлялись из

Поднебесной, и они в расовом и культурном отношении очень близки к китайцам, то есть "ханьцам". Автор пишет, что уже в 1418 г., т. е. XV веке, вся территория Маньчжурии была присоединена к Китаю, т. е. это произошло после того, как китайцы избавились от господства монголов и выкинули их за стены Китая. Что же делали маньчжуры все это время? Спали два века, а потом, в XVII веке ринулись на завоевание Китая?

Автор ясно хочет представить господство маньчжуров как простую смену династий — династию Мин сменила династия Цин — и утверждает, что династия Цин продолжала традиции династии Мин в культурном и политическом отношении. Но многие другие исследователи не разделяют такую точку зрения.

В книге приводится карта расселения маньчжуров. Дальше Амура места их обитания не простираются. Кстати, в книге есть ссылка на какие-то каменные таблицы, находящиеся во Владивостоке, где говорится о владычестве китайцев над маньчжурами, включая и Курилы. Одним словом, книга представляется тенденциозной. Пожалуй, самая интересная часть ее — описание политики заселения маньчжурами их коренной территории, их отчизны. Дело обстояло так, что маньчжуры запретили селиться на своей земле китайцам (ханьцам), испуганные их активной способностью к колонизации. Ли Чи, в частности, приводит несколько другие выводы. Прежде всего Маньчжурия отгородилась от колонизации, чтобы сохранить монополию на торговлю мехами, приносившую маньчжурам огромные прибыли. Кроме того, маньчжуры считали свою землю священной и не разрешали ее обрабатывать. И наконец, правящая элита хотела сохранить расу чистой. Не смешивать маньчжуров

с китайцами. Значит, все-таки различия были. И маньчжуры пытались защититься от ассимиляции их китайцами. Они знали, что это самое сильное оружие ханьцев в борьбе с многочисленными врагами.

Эта губительная политика, чем бы она ни была вызвана, нанесла огромный вред империи Цин. А русские, напротив, заселяли, и заселяли активно, земли, лежавшие по Амуру. В один прекрасный день маньчжуры обнаружили русских у черного входа в свою империю. Мало того, русские оказались рядом с их отчиной, у ее порога. Было от чего заволноваться маньчжурским правителям Китая. Да и в самом Китае захватчики чувствовали себя не очень-то уверенно. Так, окончательно утвердиться им удалось лет через 20 после 1644 г. (года, который обычно считают годом начала их господства в Китае). Например, захватить остров Формозу (Тайвань) им удалось только в 60-х годах XVII века и с помощью голландского флота.

Вот такая военно-политическая обстановка существовала в этом огромном регионе (как бы мы сейчас выразились) триста лет назад, когда русские добрались до берегов Амура и принялись активно объясачивать (собирать налог, в основном, мехами) и обирать местные племена. До сей поры историки (добросовестные и недобросовестные) спорят о том, кто же первый стал ясак собирать с этих бедных туземцев — маньчжуры, русские или китайцы. Смысл спора — доказать, кто же первый начал осваивать эти земли. Как бы там ни было, но русские появились на берегах Амура и стали постепенно осваивать эти слабо заселенные земли.

О движении русских через всю Сибирь немало написано. Быстро прошли они Сибирь, да шли, считай, через пустынные леса, по рекам. Много

объяснений существует этому великому маршу через тысячи и тысячи верст, но вот есть одна, мало кому даже из историков известная, честная, умная книга. Знающим человеком написана. Автор ее Р. И. Кернер, а вышла она в свет в США в 1946 году, в городе Лос-Анджелесе. Название ее — "Стремление к морю", русского перевода (насколько известно автору) не существует. Кернер обращает внимание на путь русских на восток к Великому морю. Он говорит, что шли русские всегда по рекам, через пороги. И начали они этот свой великий исторический путь на Валдайской возвышенности. Почитай от самого Новгорода, еще во времена Рюрика. Пороги, через которые шли русские, оказали влияние на всю историю России, считает автор, на мироощущение русских и даже на жизнь в Советской России. Он приводит в своей работе хорошую карту, на которой прослежен и выделен весь великий путь русских от Валдайской возвышенности до реки Улы, впадающей в Охотское море. Но не только валдайские холмы послужили русской экспансии. Кернер высоко оценивает и роль островов и монастырей в освоении Сибири (с. 87). Вообще, полагает автор, роль духовенства и монастырей трудно переоценить. Действительно, первая церковь в Сибири была построена меньше чем через два года после гибели Ермака Тимофеевича. Кернер прямо так и пишет: что не могли сделать казаки, сделали монахи.

Одним словом, следуя через пороги, стремясь ли за мягкой рухлядью, или просто в поисках земли, на которой можно жить свободно и хлеб сеять, вышли мы к Амуру; как раз в то самое время маньчжуры добились старого китайское государство и стали строить свое — "новое".

## 2. Казаки и маньчжуры

По всем данным первым вышел к Великому океану Илья Москвитин и в устье реки Ульи заложил острог. От него и дошли в якутский острог первые сведения об Амуре. На розыски по Амуру был отправлен письменный голова Василий Поярков со 132 казаками, который и собрал для государства российского ясак с племен, населявших берега Амура. По правде сказать, он оставил, по всем сведениям, самую печальную память о себе; некоторые западные, китайские и русские историки говорят нам, что люди из его отряда даже "баловались человечинкой", то есть занимались людоедством, впрочем, позднее в этом же обвиняли Е. Хабарова и его людей.

Казаки стали "шалить" сильно. Ясак собирали со всех встречавшихся им племен, живших в бассейне Амура и по рекам, впадающим в него. Первым русским людям земля амурская казалась сущим раем. Изобилие пушного зверя и прежде всего соболя, который и составлял главную часть ясака, приносимого местными племенами. Затем оказалось, что земли по левому берегу Амура прекрасно родят хлеб, и туда устремились землепашцы. Воды рек изобиловали рыбой. И самое главное, никакого тебе начальства! То есть, оно где-то там было, но так далеко, что почти не беспокоило. Изредка и с трудом сдавали ясак — соболя казна начальству. На этом его присутствие и заканчивалось. Словом жить можно было бы безбедно. Но, увы, маньчжуры быстро прознали от местных племен, что появились неизвестно откуда "белые демоны" — меха отбирают, женщин уводят и ставят города деревянные.

Достоверно известно, что вслед за В. Поярковым отправился на Амур Ерофей Павлович Хабаров. На его походе стоит остановиться подробнее. О жизни и трудах Хабарова мы знаем много больше, чем о других героях "сибирского взятия". Был он родом из-под Великого Устюга, этого славного северного русского города, так много сделавшего для величия и мощи нашего государства. Именно отсюда и уходили в Сибирь на великий подвиг люди, уходили, чтобы, быть может, и не вернуться никогда. И не были они ни боярами, ни дворянами. Из простых бедных крестьянских семей вышли самые богатые люди в тогдашнем Московском государстве — Ревякины, Босые, Федотовы, украшавшие свой родной Устюг. Даже советские историки писали в 20-е годы о той сказочной роскоши, которую можно было увидеть в крестьянских избах в "темном" XVII веке на русском Севере. Зеркала, оловянная посуда, дорогие материи да заморские игрушки. Не из Москвы шли на сибирский приступ, а из Устюга — шли северяне, привыкшие к труду тяжелому повседневному, в холоде и голоде. Недаром называли город этот Великим Устюгом, а спроси у нынешнего студента-историка МГУ рассказать о городе этом... Да он толком и не знает, где он, этот город.

Вот оттуда родом и был Хабаров. Ушел он из своих родных мест счастья искать или вольной жизни на далекую Лену-реку, где стал землепашцем, и выращенный тяжким трудом хлеб продавал без посредника. И подался он в Сибирь не за длинным рублем, не за веселой жизнью или воровской добычей, а за свой законный и государев интерес. Советский автор проф. С. В. Бахрушин "кусают" Хабарова, обвиняя его в том, что он был нечестным человеком и бросил в родной деревне



свою внучку (!). Из наших историков не совсем ясно, как Хабаров вступил в контакт с тамошним воеводой Д. М. Фрацбековым (Фаренсбах), то ли он разорился на крестьянской хлебной ниве, то ли решил "судьбу поменять", но договорился он с этим воеводой идти Амур осваивать — "землицу разведать", как тогда говорили. Воевода был ливонский немец и втайне протестант, хотя и наружно принял "корысти ради веру Православную". Он деньги в рост давал. Людей кабалил. Воеводы в Сибири в ту пору особенной порядочностью не отличались, но Фрацбеков всех превзошел: у крестьян хлеб отбирал, насильничал. По всей видимости потребовал он с Хабарова очень много, но и помог ему. Снаряжение дал, продовольствие, "огненный бой", "зелье", суда.

Отплыл Е. Хабаров в 1649 году с 70-ю "охочими людьми". Он, видимо, действительно пытался осесть на амурских берегах "без всякие драки", но это у него не получилось; местные племенные князьки никому дани не платили, по-видимому даже китайцам, а уж горстке пришельцев тем более платить не захотели. Хабаров оставил небольшой отряд, а сам ушел за подкреплениями. В 1651 году он вернулся. Вот отсюда, пожалуй, и начинается история русско-маньчжурского конфликта. Хабаров обосновался в городке Албазине, расположенном ниже места слияния рек Шилки и Аргуни, почти напротив нынешнего китайского города Лэньфу, на левом берегу Амура. Албазину предстояло сыграть решающую роль в русско-маньчжурских отношениях XVII века.

Однако первое столкновение русских с маньчжурами состоялось не здесь, а ниже устья Уссури, где Хабаров построил еще один пост — Ачанский

острожек. Это по названию местного племени ачань, или по-нынешнему нанайцы.

Испугавшись не на шутку, местные князьки пригласили маньчжуров. Те и появились весной 1652 года. О происшедшем столкновении имеется "ска-ска" Хабарова. Трудно сказать, сколь точно переданы в этом документе имевшие место события. Бесспорно одно, Хабаров и казачий есаул Андрей Иванов со товарищи нанесли маньчжурам, вооруженным огнестрельным оружием и даже пушками, сокрушительное поражение. Им удалось захватить и всю маньчжурскую артиллерию. После этого начинается быстрое и успешное приведение в русское подданство местных племен и, самое важное, возрастает сбор ясака. Не подлежит сомнению, что встречающаяся в русских источниках цифра — сто сороков соболей — является истинной. Общая сумма, в которую оценивалась соболиная казна — 15 тыс. рублей (ежегодно), была по тем временам колоссальной.

Позже был построен Комарский острог. Он располагался в устье нынешней реки Хумархе. Попытка маньчжуров овладеть острогом, предпринятая в 1655 году, также окончилась безрезультатно. В маньчжурских хрониках XVII века есть данные об этих неудачах (Г. В. Мелихов. "Маньчжуры на северо-востоке". М. 1974, сс. 99—100).

В марте 1656 года в Пекин прибыло первое русское посольство. Возглавил его Федор Байков. Посольство оказалось неудачным. Дипломатические отношения не были установлены. Создается впечатление, что маньчжуры не хотели прямого военного конфликта с Россией в тот период. Обстановка в самом Китае, еще только завоеванном, затрудняла им любые внешние завоевания. Об этом говорит и тот факт, что во время столкнове-

ния Хабарова с местными племенами под Ачинском китайцы (или маньчжуры) в бою не участвовали, а лишь издали наблюдали за сражением. Очень часто они отпускали на свободу захваченных ими казаков. Надо сказать, что и Хабаров, захватив маньчжурского чиновника, вероятно, собиравшего дань с племени дауров, освободил его и одарил. Но это отдельные факты, и русские продолжали успешно колонизировать Приамурье.

Селились основательно, навсегда. Рубили и город, и церковь, и монастырь сразу. Вообще создание Российской Империи на Дальнем Востоке резко отличалось от строительства колониальных империй Великобритании, Голландии, Франции. Так полагали русские авторы. Есть и западные историки, придерживающиеся такого мнения (см. "Иезуиты и русско-китайское соглашение в Нерчинске", 1689, на англ. яз., автор неизвестен. Работа интересна и потому, что автор явно не испытывает симпатии к русским).

Для понимания этого процесса следует, как нам кажется, обратиться к истории казачества. Но тут тома надо писать, настоящая история казачества еще не написана. Следует лишь сказать, что действия казаков на Черном и Каспийском морях, на берегах Амура или на Камчатке играли, может быть, главную роль в нашей истории. Казаки шли сами, очень часто "без царева повеления" (но всегда со священником). А царю оставалось лишь принять новую землю под свою руку. Иногда казакам пытались мешать, как, например, иноземное лобби при Санкт-Петербургском дворе. Или колебались, как Екатерина II в вопросе об Аляске. Русские ухитрились добраться до Аляски уже в 1700 году, считает В. Чек в своей работе "Русско-китайские отношения в XVII веке" (Гаага, 1966 г.,

англ. яз. с. 27). Надо думать, что происходило это много раз. Некоторые считают, еще в XV веке.

Там на берегах Амура и прежде всего в Албазине и вокруг него создали казаки свое маленькое казачье государство. Ну, государство, это, конечно, неверно. Они всегда оставались верны своей Родине и не замыслили отделения от Московского государства. Даже на Аляске, за океаном.

Была это маленькая республика с очень (это следует признать) беспокойным населением. Жила она "по приговору казачьего круга", то есть дела все вершили открыто на общем собрании. Жили по своей "глупой воле". До Якутска да Нерчинска тогда год на коне надо было добираться, а Албазин от Нерчинска по Амуру еще сотни верст. Казакам тогда платили жалование. Правда, весьма нерегулярно. Из-за этого часто и бывали беспорядки в Албазине.

У маньчжуров в то время были свои заботы. Потерпев военные поражения, маньчжуры прибегли к иной тактике. Они стали переселять некоторые племена с Сунгари и Амура, надеясь, что русские, лишившись данников, уйдут. По этому поводу имеется донесение Онуфрия Степанова, который заменил Хабарова, когда тот был отозван в Москву. В русских архивах его донесение сохранилось. Там говорится, что дючеров и дауров с устья Сунгари свели и даже их юрты пожгли. Речь идет о тех племенах, которые давали дань О. Степанову. Последний продержался на Амуре недолго. Летом 1658 года близ устья Сунгари маньчжуры разгромили его отряд. Сам он, вероятно, пал в бою.

Маньчжуров можно понять. Казаки нащупали (намеренно, конечно) их самое больное место. Их, маньчжуров, тыл, прямую дорогу в их отчизну. Вот отсюда и все дальнейшие действия.

### 3. Перебежчики

Среди тех, кто обосновался на берегах Амура, люди собрались самые разные. Как свидетельствует проф. С. В. Бахрушин, в полуразрушенный Албазин перебрался Никифор Черниговский, поляк, совершивший убийство воеводы. Восстановив как мог острог, Черниговский начал сборы ясака. Преимущественно для себя и своих людей. Почти сразу же выяснилось, что среди этих людей оказалось много китайцев. Правда, не всегда можно установить, действительно ли речь идет о ханьцах или имеются в виду люди других национальностей, перебежавшие к русским с маньчжурской стороны. В то время русские прекрасно различали маньчжуров, которых они называли "бодойские люди", и китайцев, которые именовались "никаньскими" людьми. Это не подтверждает версии тех, кто утверждает, что маньчжуры не отличались от китайцев, так как в Китае все так перемешалось — монголы, китайцы, маньчжуры. Они-де сами себя тогда не различали. Это не соответствует действительности. Чужие пришельцы, в первый раз увидевшие человека, прекрасно отличают их друг от друга. Русские источники сообщают об этом. "А приходили дючеры, ачань, а с ними бодойские люди с огненным боем". Все сообщения с Амура и из Нерчинска пестрят подобными замечаниями.

Вместе с русскими на Амуре и в Нерчинске появились и перебежчики, по-нынешнему политические эмигранты. Уже в начале пятидесятых годов к русским бежал Гантимур — эвенийский князь. С собой он увел весь свой род — свыше 500 человек. В русских источниках есть сведения о его родстве с маньчжурским богдыханом-императором. Он-де увидел у русских "жительство доброе, честное",

вот и ушел на нашу сторону. Так ли это, нельзя точно сказать. Но не подлежит сомнению, что вопрос о возврате Гантимура был чуть ли не главным камнем преткновения во всех маньчжуро-русских переговорах, вплоть до заключения Нерчинского договора, то есть на протяжении более 30 лет. И на протяжении всех этих лет маньчжуры с удивительным упорством требовали выдачи Гантимура. Вместе с Гантимуром бежали к русским и другие князья и князьки: Тайдохунь, Баодай, Вэньду. Но вопрос прежде всего стоял о Гантимуре, так что, возможно, он и действительно был сродни императору.

Дж. Фэрбэнк утверждает, что именно бегство Гантимура резко усилило опасения цинов и поставило перед ними вопрос о необходимости борьбы с русскими. "Целью императора Канси было, следовательно, не только изгнание русских с Амура, но также и в первую очередь предупреждение роста их влияния среди тунгусских племен и монголов" (в кн. "Восточная Азия. Великая трагедия" т. 1. с. 45, англ. я., Восток, 1960). К чести русских следует сказать, что никто Гантимура не выдал, несмотря на то, что его выдача могла бы значительно улучшить отношения между русскими и цинами. Гантимуровы же потомки благополучно жили в Сибири, да и в Петербурге еще перед 1917 годом. Они очень разбогатели (не все, правда), большинство из них проживало в районе Нерчинска.

Вообще вопрос о перебежчиках был одним из самых сложных и постоянно ухудшал отношения между двумя сторонами в XVII веке. Переговоры в 1675 году сорвались из-за того, что русские категорически отказывались отдавать беглецов. Беглые китайцы находили приют в Албазине и

принимали активное участие в казацких безобразиях, особенно в сборе ясака с местных племен, среди которых были и родственные маньчжурам.

Видимо, и из монголов также были перебежчики и сторонники русских. Монгольский Алтин-хан еще в 1633 году "подошел под высокую царскую руку", хотя и сделал это корысти ради. Подарки получил богатые. Читаешь и трудно не сравнить. В XVII веке в страну, где живут какие-то разбойники, где и дорог нет, а если верить некоторым историкам, в самую отсталую и деспотичную страну бегут, бегут сотнями. А теперь из самой передовой страны в мире пытаются вырваться сотнями. Куда угодно ведь бегут, не только там в Турцию пытаются прорваться, нет! в Китай бегут, в Иран, зная наверняка, что ставка — жизнь.

Правды ради надо сказать, что и от русских бежали и даже очень важные перебежчики были. Например, А. Русланов — новокрещенный из русских татар; он был приближенным якутскому воеводе и, безусловно, знал очень много (Мясников В. С., "Империя Цин и Русское Государство в XVII веке". М., 1978, с. 79). Но русских подобные перебежчики беспокоили явно меньше, чем маньчжуров. Тогда у русских все свои были, да и они в своей земле были. Пусть вновь приобретенная, пустынная, суровая, да своя, а маньчжуры, цины, как и все чужие да тираны, этого боялись. Они еще до 1867 года своим подданным запрещали выезжать за границу под страхом смертной казни.

Конечно, с опаской жили маньчжуры в завоеванной ими стране. Они даже целый оборонительный вал воздвигли. Назывался он Ивовым Палисадом. Для чего точно его построили, среди историков согласия нет. Одни (О. Латтимор) думают, что он отделял маньчжуров от китайцев на востоке и мань-

чжуров от монголов на западе. Другие полагают, что он был создан как защита маньчжурской отчины от проникновения в нее китайцев, которых маньчжуры считали низшей расой и не хотели заселения своих земель этими "недочеловеками". Браки между представителями "высшей расы" и китайцами, кстати, тоже были запрещены.

Учитывая все эти факты, можно предположить, что многих, живших на территории захваченной маньчжурами, привлекала вольная казацкая жизнь, да и земли давали сколько угодно. Налогов никто не взимал. Некому взимать было. Правда, следовало сдавать в казну ясак. Меха. Но с этой казной соболиной вечно приключения происходили. Сдавали ее тяжело. Приходилось, что называется, "выцарапывать".

#### *4. Албазин — сибирский Севастополь*

Мы уже сказали, что беглый Н. Черниговский укрепил, как сумел, Албазин и зажил там со своими товарищами. Товарищи были натурами самобытными, мятущимися и хорошо вооруженными. На Амуре по этой причине в те времена постоянно происходили настоящие сражения не только с маньчжурами, но и между самими казаками.

Естественно, что при таком положении дел и начальству доставалось. У С. В. Бахрушина есть описание событий в Албазине, связанных с получением ясака. Прибыв в Албазин, тогдашний воевода Воейков с сыном потребовали выдачи соболиной казны. Казаки возражали, требовали выплаты жалования и настаивали на своем праве сдавать казну самолично в Москву. Воевода вышел из себя, стал ругать казаков "ворами". Он утверждал, что среди



казаков множество "новоприбранных" и им жалования вообще не положено. Они могут идти на все четыре стороны. Казаки продолжали требовать денег и даже настаивали на том, чтобы воевода оставил в залог своего сына. Кроме того, воевода отговаривал казаков от их намерения пойти на "бодойскую сторону", на Амгунь "погулять". Он боялся осложнений с цинами. В конце концов воевода спасся в пригородный монастырь, отдав своих кровных 200 рублей за соболиную казну. (В то время под Албазином, этим "воровским острогом", как называл его рассерженный воевода, уже существовал Православный монастырь.)

Отбывая в Нерчинск, воевода называл не только острог "воровским", а и самих казаков также и заявил, что церковь Божию следует разобрать, а этот острог сжечь. (Знал бы воевода, чем станет для России этот острог!)

Казаки продолжали "гулять" в маньчжурские пределы. Их ловили во время сбора ясака и били поодиночке беспощадно. В 1671 году подходил неприятель под Албазин, но взять острог не удалось, Черниговский с казаками отсиделся.

Тем временем обиженный воевода отписал в Москву о "казацких безобразиях". Но и в Москве уже знали, что худо-бедно, а соболя посылают, землю под царскую руку принять просят, да и стоять это в общем ничего не стоило. А под Албазином, в селлах, собирались сказочные урожаи. И было крестьян в те годы уже около 250 человек. Развели они там большое хозяйство, рыбу ловили, собирали удивительные корни, от которых сила к людям возвращается и которыми разные болезни выгнать можно из человеческого тела. А сколько всякого пушного зверя они там добывали: тут и лисы чернобурые, и горностаи, и мед-

веди, и олени. А дальше, вниз по Амуру к Уссури, там виноград рос рядом с пихтой или сосной. Дивились русские крестьяне: "Воистину рай земной, где все есть и все в изобилии".

В Москве думали-думали, как быть, и удумали. Учили, так сказать, и информацию воеводы и слезные просьбы казаков. И сделали по-русски: 15 марта 1672 года их всех, рабов Божиих, приговорили к лютой смерти за воровство и прочие пакости, а 17 марта, по случаю Дня Ангела царя, помиловали и осыпали подарками. Н. Черниговского назначили начальником в Албазине, а его войску отвалил царь от щедрот своих 2 тысячи рублей (С. В. Бахрушин, "Казаки на Амуре...").

А Албазин продолжал процветать. Расположился он на высоком берегу Амура, в красивом месте. Острожек этот по первоначальному и совсем невелик-то был — метров этак 40 длины и метров 30 ширины. А вокруг него курились дымки избушек, да виднелись распаханые, милые русскому сердцу нивы, бродили коровы, да овцы, которых уже тогда там в изобилии было. Торчали маковки рубленых церквей, да и монастырь тут же был, не так далеко.

Начали туда на базары съезжаться и русские, и ясачные люди, и даже монголы изредка стали появляться. Всяк вез свой товар, и жень-шень и шкуры разные, даже тигровыми торговали, и ножами острыми, и камнями самоцветными.

Население на Амуре быстро увеличивалось. Основывались новые остроги: Селемджинский (1677—78), Аргунский (1881), уже на правом берегу Аргуни.

К тому времени цины полностью овладели положением в завоеванном Китае. Да к тому же они понимали, что русские усиливаются буквально на глазах и число поселенцев растет. И император

Канси решил действовать. Мы бы назвали это сейчас превентивной войной против будущего возможного противника. Развязка приближалась. И не так уже и много времени прошло с того года 1638, когда первый встреченный русскими маньчжур получил от них в подарок мушкет. Конечно, Москва не дремала, и за это время было организовано несколько посольств в Пекине, но все они закончились неудачно. И в то время и позднее маньчжуров несколько сдерживала их борьба с монголами, а русские могли действовать свободно, не опасаясь серьезных набегов на практически никак не защищенные сибирские владения.

Маньчжуры потребовали, чтобы русские эвакуировали Долонский острог на Зее. Никаких сил защищать этот острог у воеводы не было, и он решил уступить. Произошло это в 1683 году, но уже раньше поползли по берегам Амура зловещие слухи: война близка, большая война у порога. Есть сведения, что в 1681 году появился в Нерчинск какой-то даур и сообщил о надвигающейся войне. Он хотел перейти в московское подданство. Маньчжуры тем временем начали тихую психологическую войну против русских. Перебежчики у маньчжуров служили толмачами и при удобном случае приглашали казаков на богдыханову службу, а то и с судов бывало кричали, зазывали переходить к цинам. Одиночек, кто за ясаком пошел или корни в лесу искал, ловили и били нещадно. Ясно было: обстановка осложняется.

Из Нерчинска в Москву пошли грамоты, в которых сообщалось, что с "порохом, свинцом и оружием гораздо скудно". Москва помалкивала, а между тем к казакам в Албазин была заброшена "прелестная грамотка болдыханова". Она сводилась к требованию убираться с "высоких берегов

Амура" как можно скорее. Грамотка была зачитана "всему народу православному" и открыто и свободно обсуждалась "на общем собрании". На послание богдыхана казаки отвечали "рады за Великие Государя умереть, а остроги не покинем"! И снова попросили пороха и свинца. Тут и ответ из Москвы подоспел. Пороха и оружия, правда, не особенно много доставили, но Албазин был признан городом и получил свою печать (С. В. Бахрушин).

А великий император Канси готовился к этой войне основательно и продуманно. Он вникал во все тонкости снабжения войск, определял места передвижения и дислокации отдельных подразделений, разрабатывал вопросы разведки. В хронике Цинов за XVII век содержится обильный материал, посвященный этой войне, вплоть до переписки императора с местными начальниками по вопросам снабжения наступающих армий фуражом.

Давление на Албазин продолжалось. В сентябре 1683 года через двух русских пленных было передано грозное предупреждение Канси — не принимать перебежчиков из числа местного населения и немедленно выдать упомянутого Гантимура с семейством. В течение 1683 года маньчжурские войска разоряли русские остроги — в бассейне Амура, — жгли заимки, охотничьи избышки. Сроки решительного нападения на Албазин несколько раз переносились. Историк проф. Курц удивлялся, как могли столь долго состязаться казаки с Цинами, бросившими на эту борьбу многочисленное и хорошо вооруженное войско.

Действительно, подготовка была проведена основательная. Маньчжуры построили в 1683 году крепость Айхунь, чуть пониже впадения Зеи в Амур и там стали готовить осадную армию. Возможно,

они помнили свои поражения в столкновениях с Хабаровым и Степановым, а также неудачные осады русских деревянных острогов, и поэтому были особенно осторожны.

Русские готовились, как могли. Укрепили стены, переселили часть крестьян из окрестных сел и острогов, установили на вершине холма наблюдательный пункт. И постоянно дежурили там.

Уже в июле 1684 года появились под Албазиным вражеские разъезды. Война, собственно, уже шла, но Цины не решились на захват Албазина осенью 1684 г. Император Канси, очевидно, колебался; обвиняли даже одного маньчжурского военачальника в нераспорядительности и бездеятельности, которая и повела к неудаче в 1684 г. Но разведка у цинов была поставлена очень хорошо, и все требуемые дополнительные сведения были получены.

После долгих проволочек войско подошло к Албазину в июне 1685 года и начало артиллерийский обстрел города, а к вечеру этого же дня пошли на штурм. Первый штурм был отбит. Но маньчжуры сумели поджечь городок, и Толбузин, командовавший тогда гарнизоном острога, решил сдаться. Прибыли послы от командующего маньчжурской армией, привезли богатые подарки: кафтаны узорчатые, платья атласные, стали уговаривать переходить на богдыханову службу. Согласились 25 человек. Они ушли к цинам, причем, возможно, силой увели с собой священника. Другие же три с лишним сотни людей ушли. Условия капитуляции были в общем мягкими: все, кто пожелал, могли уходить, но пришлось оставить оружие и продовольствие.

Русские двинулись к Нерчинску, а лазутчики сопровождали их до места слияния Шилки и Аргу-

ни. Маньчжуры справедливо считали Алексея Толбузина весьма хитрым человеком. В одном дне пути воинство Толбузина встретило сильный отряд под командованием Афанасия Байтона с артиллерией, шедший на выручку защитникам Албазина. Все вместе решили вернуться в Нерчинск. Цины же сожгли и разрушили Албазин и разбросали пепелище. Они имели предписание сжечь или скосить хлеб, уже созревший на полях под Албазином, но это приказание почему-то не было выполнено. И напрасно, как потом поняли маньчжуры. Они просто решили, что уж теперь-то "лочам" пришел конец. Так они русских именовали. Как понять это название? Опять существует несколько версий. Одни считают, что имя это означает "белые демоны", другие, что "смелые, как тигры", а есть мнение, что само слово происходит от санскритского "ракта" — "тигр ловкий".

В Нерчинске же события развернулись следующим образом. Власов, воевода смелый, готовый и ответственность на себя взять, приказал всему воинству немедленно возвращаться в Албазин. После уничтожения Албазина войска победителей сразу же были отведены в крепость Хэйлунцзян и даже дальше, в Мукден.

Русские же вернулись. Первое, что они увидели, подошедши к остаткам Албазина, был китаец, горестно сидевший на пепелище и страшно обрадовавшийся возвращению русских. Звали его Уонцин (в русском произношении). Он был твердо уверен, что русские вернутся, когда увидел, что хлеб не был уничтожен. "Уж за хлебом-то они придут", — решил китаец и остался ждать. Он рассказывал, что происходит из семьи, как бы мы сейчас выразились, репрессированных. Его отец был казнен за то, что, управляя судном, посадил его на мель. А сын бежал.

Весь гарнизон немедленно принялся за дело. Отстроили острог и укрепили его, основательно защитив от огня дополнительным валом из глины. Главной фигурой обороны Албазина был А. Толбузин. Этот опытный начальник сумел, учтя первую осаду, обратить Албазин в неприступную крепость. Цины же узнали о возвращении русских в Албазин только в феврале 1686 г., а в июле они уже оказались под Албазином. Начался обстрел города из тяжелых пушек.

В остроге в осаду сели 736 человек, имевшие 5 пушек, 2 затинные пищали, 100 ружей, 850 кремней и 50 бердышей. Теперь маньчжуры учли свою ошибку и начали осаду с уничтожения хлеба на полях и убийства всех, кого они поймали вне стен. Но овладеть острогом им не удалось. Правда, и русские не смогли нанести противнику серьезного ущерба. Маньчжуры же, обложив острог, стали обстреливать его из пушек. В самом начале осады был убит Толбузин, и командовать гарнизоном стал А. Байтон: по одним данным — пруссак, по другим — шотландец. Тут следует сказать, что при второй осаде у цинов тоже были иностранцы — 20 человек, переодетые в китайские одежды (С. В. Бахрушин, "Казачи на Амуре..."; Б. А. Курц, "Русско-китайские отношения в XVI—XVIII столетии", Харьков, 1929).

Байтон был "воинскому делу навьчен и зело хитер". Он умело вел оборону города до самой весны, когда от 736 человек осталось всего 66. Остальных унесла смерть: кого пуля или ядро, но больше всего болезни и голод. Осаждавшие послали в город парламентаров, предлагая сдаться. Они даже были готовы оказать защитникам медицинскую помощь. Но опытный воин разгадал военную хитрость и предложение о помощи отверг

под предлогом, что-де тяжело больных в городе нет, а в ответ на заботу приказал испечь из последних остатков муки каравай весом в пуд и отправить маньчжурам.

На этом, собственно, и закончилась Албазинская эпопея. Русские предложили замирииться и начать переговоры. Император Канси предложение принял и повелел отвести войска от острога. Осаждавшие позволили русским получать помощь извне. Местом проведения переговоров был назначен Нерчинск.

### *5. Нерчинский мир*

Заклученный в Нерчинске мир, или Нерчинский трактат, прекрасно известен и в русской истории, и в истории мировой дипломатии. После длительных переговоров он был подписан в августе 1689 г. Много о нем спорили, а в наше время, кажется, еще больше стали спорить о значении его в истории Государства Российского. Советские историки охотно говорят о том, что договор был заключен в обстановке шантажа и военного давления на русских (см. напр. Д. И. Думан, В. А. Александров, Г. В. Мелихов). Так оно, вероятно, и было. Мы не располагали какими-то значительными силами в Нерчинске или вообще в Сибири. Были и такие историки и политические деятели, которые считали, что Федор Головин, мол, допустил ошибку, согласившись на предложенные маньчжурами условия мира.

Действительно, русским пришлось уйти с берегов Амура, граница была отодвинута далеко на север. Но взять у нас Нерчинск, как, вероятно, с самого начала хотел император Канси, не удалось. И побережье Охотского моря осталось за



Россией. Договор в Нерчинске стал первым договором, заключенным маньчжурами с другим государством. Маньчжуры, конечно, сильно отодвинули казаков от черного хода в свою отчизну, но они же, подписав с нами договор, признали права России на огромные, пусть пустынные, неосвоенные территории. Федор Головин, несомненно, крупнейший дипломат в истории Государства Российского. Он сумел заключить договор, который оказал, может быть, самое большое влияние на русскую историю. Этот договор положил начало целой системе договоров русских с маньчжурами, системе, существовавшей почти 200 лет.

Тогда русские и маньчжуры стояли друг против друга, но не один на один. Была и третья сторона, и даже четвертая — монголы и джунгары. Цины боялись объединения русских с монголами, поэтому и уступили русским почти всю Сибирь. А мы ее заселить сумели.

Головин, несомненно, учитывал позицию монголов в русско-маньчжурском конфликте. В известном смысле Пекин гарантировал России коммерческие преимущества в обмен на нейтралитет в конфликте с джунгарами, но это уже было позднее. Нерчинский мир повел к появлению Кяхты — пункта торгового обмена между Россией и Цинской империей. Это, в свою очередь, сыграло роль в развитии Сибири. Западные исследователи также обращают на это особое внимание (см. М. Манколл). Однако Албазин мы потеряли. Иезуиты помогали маньчжурам при заключении Нерчинского договора.

Итак, проигранная война обернулась победой. "Столетиями Россия была жертвой вторжения племен из Азии", — пишет историк В. Чен ("Китайско-русские отношения в XVII веке", с. 9); дальше он говорит: "Период владения Россией азиатскими

племенами пришел к концу после 8 веков". Это правильно. Тогда, 300 лет назад, наступила на берегах сибирских рек тишина. Этот мир, заключенный, кстати, в то еще время, когда Петр и не приступал к своим реформам, обеспечил нам возможность спокойного развития на столетия.

Вот и 300 лет пролетело. Юбилей прошел. Нельзя сказать, чтобы в советской печати этому уделили много места. Пока автор отметил только одну статью — А. И. Алексеев, Г. В. Мелихов "Освоение русскими людьми Приамурья и Приморья" ("Вопросы истории", № 3, 1984). В статье упоминается известное интервью Мао Цзэдуна с японцами в 1964 году "О счете по реестру". Говорится и о серии статей в семидесятых годах "Открыватели новых земель или грабители, вторгшиеся в Китай?"

В статье отсутствуют сведения о жестокостях со стороны казаков. Без стеснения авторы пишут: "...пришли ...сопровождали ...расспросили местных жителей, ...те показали". Этаким туристический поход по "местам трудовой и боевой славы". Словно не было страшных схваток прямо на судах, сцепленных бортами, когда и стрелять-то не могли, а грызли друг друга зубами, хорошо, если успевали рубануть топором или засапожником ткнуть. Не говорится о засадах на таежных тропах, когда "благодарные местные жители" вырезывали весь, до единого человека, отряд, посланный на сбор ясака. А убийство одного из первых русских послов Т. Ермолина, посланного в Пекин. Автор сопоставил эту статью, написанную, безусловно, людьми знающими, и использованную здесь книгу проф. С. В. Бахрушина "Казаки на Амуре". Тот бы, по нынешним временам, пять лет получил, — признали бы как антисоветскую пропаганду. Давно ли

в советской исторической науке Хабаровов и Поярков иначе, как колонизаторами и убийцами, не называли. Да им и при царе-батюшке тоже от историков доставалось. А теперь — землепроходцы и достойнейшие люди. А выражения типа: "Коварное нападение на русских дорого обошлось маньчжурским агрессорам"; "Нет ни русского империализма, ни экспансии" и т. д. Вот их наука и чего она стоит в советской империи. Изменится обстановка завтра, сядет инонационал на советский трон, и опять станут они "убийцами и коварными ставленниками русского царизма".

Нам кажется, что существует нечто гораздо более важное во взаимоотношениях России и Китая тогда, триста лет назад, и сегодня. И это нечто заключается в том, что когда Россия начала взаимодействовать с Китаем, вступила с ним в "исторические отношения", то властвовали в Великом Китае не сами китайцы, а маньчжуры, силой захватившие там власть и силой и ложью правившие в Китае вплоть до начала XX века. В России же тогда свои правила, худо ли, хорошо ли, но свои.

Но сегодня мы находимся в таком же положении, как китайцы 300 лет назад. Ныне в России правят чуждые ей по духу властители, не русские, а советские, которые точно так же, как и маньчжуры, используют мощь и ресурсы страны, где они сумели захватить власть.

Существует ряд схожих черт в истории маньчжурского правления в Китае с историей советской диктатуры. Те и другие укрепили внутреннее положение государства, затем под завесой миролюбивых заявлений расширили пределы завоеванных ими империй. Маньчжуры нередко прибегали к фальсификации исторических фактов и идеологической обработке населения. Советские власти-

тели довели это до невиданных в истории масштабов, используя все достижения современной техники.

Но все это не главное. Суть "советской ситуации" заключается в другом.

## II

### ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ

Какие же стороны действуют сегодня на тех бескрайних просторах, где когда-то маньчжуры дрались с казаками. Да все те же, скажет нам историк или профессиональный политический обозреватель. Нет империи Цин? Она именуется КНР. Нет Московского Государства? Да помилуйте, оно называется СССР. Даже присутствие монголов можно обнаружить. Даже о джунгарах можно вспомнить. Только вот, кто даже на карте отыщет, где такая Джунгария?

Тогда кто имел свободу рук в треугольнике? Монголы, цины, русские? К 1760 году маньчжуры утвердились в Монголии, и Россия отступила. А когда джунгаров кончали, русские тоже не пошли на конфликт с маньчжурами. В те времена, правда, у цинов иезуиты занимались внешней политикой, особенно во время албазинской эпопеи.

Ныне сложилось удивительное положение. Дело в том, что когда начала Россия взаимодействовать с Китаем, то уже правили там отнюдь не китайцы, а маньчжуры, захватившие власть над великим народом. Повторим это еще раз, не мешает помнить! И продолжалась их власть до 1912 г. Принесла

маньчжурская власть страшные беды Китаю. И то, что сейчас происходит, и долгая гражданская война — все это последствия маньчжурского господства. Как, впрочем, и нападение иностранцев на Китай. Но вот с 1917 года как раз все и меняется в России, власть захватывают коммунисты, враждебные ее народам и ее культуре. И приносят народам Государства Российского немыслимые беды и страдания. Тогда в Китае чужие правила, теперь у нас чужие господа.

Но разница есть. Русские никакого отношения к появлению маньчжур не имели и им завоевывать Китай не помогали. Там маньчжуры одни управились. А вот советские правители помогали тем, кто создавал коммунистический Китай. Оружие давали, обучали, направляли. Даже кормили огромные китайские коммунистические армии, отрывая от своего и без того голодного народа. А теперь в страхе перед своим бывшим союзником и выучеником сосредоточили на всей колоссальной границе армии и выбирают, ждут момент для удара. Вот и вся правда истории так называемого "советско-китайского спора".

Смертельно напуганные старички хотели "пощупать" Китай в 1969—70 гг., может быть, даже тактическим атомным оружием. И какие-то переговоры пытались вести с США да и еще кой с кем в Европе. Но не решились. Тогда надеяться на согласие США разделаться с Китаем не приходилось, а действовать самостоятельно советские правители не решались. Вооруженные силы обычного типа у них тогда не были столь сильными, как теперь. И момент упущен был. И, похоже, навсегда.

Ныне Китай располагает крупными военными контингентами на границе со своим советским соседом. Только в двух самых крупных военных

округах КНР — пекинском и шаньянском находится более трети личного состава сухопутных войск и половина бронетанковых дивизий, а также больше половины ВВС Китая. Но всего, по данным зарубежной печати, по периметру границ советской империи сосредоточено более 2.400 тысяч военнослужащих, то есть большая часть китайской армии.

За годы, прошедшие с первых столкновений на советско-китайской границе в 1969—70 гг., в КНР прекратились судороги т. н. "культурной революции" и несколько улучшилось экономическое положение страны. Китайцы предприняли некоторые действия по улучшению руководства своими вооруженными силами. Начали закупать оружие, за границей. Например, ракетные катера из ФРГ патрулируют на Амуре. В последнее время появились сообщения, что США поставят в КНР некоторые виды оружия. Речь идет о современных противотанковых средствах, в частности "ручных ракет". Считают, что последние хорошо зарекомендовали себя в конфликте на Ближнем Востоке и могут быть успешно использованы против наступающих танковых колонн. Но пока Китай мало что может противопоставить советским вооруженным силам. У КНР 30 танковых дивизий и вооружение их сильно устарело. По данным западного радиовещания, на модернизацию китайской армии потребуется 300—400 млрд. долларов. Этого позволить себе китайцы не могут.

Известно, что в настоящее время КНР располагает приблизительно 700 ядерными зарядами различной мощности. Вопрос только в том, использует ли китайская армия свое ядерное оружие, если советское руководство решится начать действия обычными вооруженными силами. И тем более совершенно неясно, решится ли КНР применить

ядерное оружие, скажем, против Индии, Вьетнама и СССР одновременно, в случае коллективных "акций" армий этих стран. После первого испытания ядерного оружия в 1964 году Китай сделал заявление, что он не применит первым атомной бомбы. Но как знать, когда война идет на твоей земле... Наконец, возможно применение ядерного оружия по чьей-либо личной инициативе. А последствия этого понятны всем.

За последние 10—12 лет советские руководители добились невиданного увеличения своих обычных вооруженных сил. Но нельзя недооценивать и способность Китая к сопротивлению, национальную волю китайского народа, который, несомненно, окажет сопротивление, даже со старыми винтовками в руках.

Однако, учитывая напряженность общих границ и расположение сопредельных территорий СССР и КНР, можно сказать, что китайцы окажутся в крайне тяжелом положении. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — в случае одновременно-го удара советских и индийских войск в Синьцзяне с противоположных флангов у китайцев очень мало шансов удержать фронт.

В этом районе территория КНР образует как бы выступ, вклинивающийся в территорию советской империи. Здесь китайская территория зажата между территорией Монголии и советским Казахстаном. Существует реальная возможность отрезать весь Синьцзян-Уйгурский район, если индусы начнут наступление на северо-восток со своей территории, а войска с территории Монголии нанесут удар в направлении озера Лопнор и перережут железно-дорожные и автомобильные дороги.

По прямой линии от границ Казахстана до хребта Пржевальского (хр. Аркатаг) около тысячи ки-

лометров. По этой горной цепи проходит граница между Тибетом и Синьцзяном. С выходом к этим горам можно считать законченным отделение от КНР огромных территорий. Необходимо, разумеется, помнить о том, каких огромных усилий потребует подобная операция. Уроки войны из-за Фолклендских островов говорят нам: несмотря на полное превосходство ВМС Великобритании они понесли значительные потери от слабейших и в значительной степени устаревших самолетов и судов Аргентины.

Положение КНР ухудшается еще тем, что угроза исходит практически со всех сторон. В одном только Тибете китайцы вынуждены держать 350 тыс. военнослужащих (по данным западной прессы). Не исключено внезапное нападение на китайские посты. Ныне мы можем с уверенностью сказать: Китай окружен. Но старики не решились. Вместо удара по КНР, дотянув до 1979 года, они начали войну в Афганистане и завязли там весьма основательно.

Война в Афганистане затягивается. Добиться окончательной победы не удастся до тех пор, пока партизан не изолируют полностью от внешнего мира, не отгородят от него "берлинской стеной". Пока это не удастся, и партизаны наносят достаточно сильные удары. Потери советских войск медленно, но неуклонно растут. Миллионы людей, скопившихся на территории Пакистана и Ирана, это тот источник, который питает партизанские отряды и движение сопротивления. Границу между Афганистаном и Пакистаном закрыть тоже не удастся. Афганская война становится все более неприятной для советского руководства, и оно вполне могло бы решиться на какие-то серьезные действия против Ирана и Пакистана. Причем Иран ведет



войну с Ираком, который использует, между прочим, советское оружие. Пакистан, со своей стороны, во враждебных отношениях с Индией; лишившись в 1971 году своей восточной части, Пакистан понимает, что Индия приложит все усилия, дабы вернуть себе власть над территориями Джамму и Кашмира. Как раз через эту территорию и проходит "ниточка" стратегической дороги, связывающая КНР с Пакистаном, а через него с другими странами. Важность этой дороги, особенно в случае затяжного военного конфликта, трудно переоценить.

Переход Джамму и Кашмира в руки Индии окончательно замкнет цепь окружения КНР. И облегчит в известной степени любые крупные операции в Синьцзяне или даже в Тибете. Цели советских руководителей и правительства Индии опасно совпадают. Понимая свое отчаянное положение, Пакистан принимает меры для спасения. Он стремится создать свое оружие устрашения. Работы в ядерных центрах Пакистана ведутся с размахом, и, видимо, приближается день, когда в мире на одну ядерную державу станет больше. И советские руководители, и Индия понимают это. И, как кажется, сегодня вопрос стоит так: "Сумеют ли индусы и советские ВВС одним ударом разрушить два основных ядерных центра в Пакистане?" Так, как это проделал Израиль с ядерным центром в Ираке? Безо всякого объявления войны нанес удар обычным оружием и точными бомбардировками с одного раза уничтожил ядерный реактор Ирака. И все смолчали. Почему бы и индусам не попробовать? Причем, Израилю было несравненно труднее добраться до цели, чем индусам или тем более советским самолетам с территории Афганистана: самое большее — 500—600 километров.

Вряд ли это будет означать войну с США. И соблазн велик, как для Индии, так и для советского руководства. Ситуация тем более благоприятная, ибо Иран настолько занят войной с Ираком, что вряд ли сумеет помочь Пакистану в случае широких военных действий. Не исключена возможность, что и Индия, и советское руководство ожидают исхода войны между Ираном и Ираком.

Следует помнить и о том, что на территории Пакистана проживает более 10 миллионов пуштунов, а они принадлежат к "основному населению" Афганистана и заселяют районы, непосредственно прилегающие к афганской территории. Поэтому не исключена возможность, что советское руководство может "вознаградить" Афганистан и присоединить территории, заселенные пуштунми, к Афганистану. Проще говоря, совместно с Индией произвести раздел Пакистана, заодно ликвидировав и все афганское движение сопротивления.

Возможно, острота ситуации постепенно спадет и возникнет новая, неведомая нам историческая реальность, но, во всяком случае, сегодня, в 1984 году все благоприятствует Индии и Советам, и обстановка крайне обострилась.

Конечно, советские руководители своим вторжением в Афганистан начали "неправильную", ненужную войну. Вместо того, чтобы разделаться с одним главным, действительным соперником — КНР, они почему-то двинулись на исламские страны. Что бы там ни говорили и какие объяснения ни предлагали, ясно одно: советская империя втягивается в борьбу с исламом. Советское руководство само себя заманивало в эту войну. Это тем более непонятно, что ислам мог бы до известной степени быть союзником Советов в борьбе с США.

Тогда, в 1979 или даже в 1978, решимости у советских вождей хватило только на Афганистан. Не было у них промеж себя никакого согласия, экономическое положение оставалось тяжелым, да и начинать большую войну с такой церемониальной фигурой, как Ильич II, представлялось невероятным.

Оценивая положение в треугольнике Индия, СССР, КНР, следует сказать, что, несмотря на принципиальные различия между советской империей и Индией, у них есть одна очень важная общая черта — они многонациональные государства и в обоих государственных образованиях нет народа, который составлял бы абсолютное большинство, как в Китае, где ханьцы составляют 95—96% более чем миллиардного населения КНР.

В СССР русские после массовых и систематических уничтожений в период революции, коллективизации и второй мировой войны едва ли ныне составляют 46—47% населения всей империи. В Индии хиндустанцы составляют 32—33% населения Индии.

В состав советской империи входят народы, насильно загнанные в коммунистическое "панургово стадо", в составе Индии также есть народы, вероятно, желающие жить самостоятельной государственной жизнью. И в СССР, и в Индии отношения между различными народами отличаются большой сложностью. В КНР этот момент имеет место, но он не представляет опасности, так как все остальные народы буквально "тонут" в массах ханьцев. К тому же за долгие тысячелетия своей истории китайцы сумели научиться разрешать национальные вопросы с большим мастерством.

Пенджабский вопрос — трудная проблема для Индии. Дело там дошло до настоящей партизанской

войны. Индира Ганди, выступая на совещании высшего командного состава армии, указывала, что "силы внутренней и внешней реакции пытаются подорвать единство и целостность Индии". Она указала, что за "пенджабскими сепаратистами" стоит Пакистан. Оценить, насколько борьба с сикхами и их религией опасна для целостности Индии и кто действительно повинен в событиях в Пенджабе, может только специалист по Индии, которым автор не является. Но только ли использует правительство Индиры Ганди борьбу сикхов в целях пропаганды или действительно ситуация внутри Индии становится опасной — ясно одно: все эти события еще больше обостряют положение, в котором оказались советская империя, Индия, Пакистан. Судя по материалам индийской прессы, которые оказались доступны автору, как будто можно считать, что внутри Индии обстановка действительно осложнилась. И нынешнее правительство Индии может попытаться искать их решения на путях внешней экспансии. А проще говоря, попытаться разделаться с Пакистаном и заодно приостановить помощь пенджабским сепаратистам. У Индии точно такая же цель, как и у советских руководителей.

Вероятность конфликта усилилась в 1984 году, как никогда раньше, начиная с 1970—71 гг. Причем и взаимоотношения Индии и США также ухудшились. Индусы (и уж конечно советская пресса) обвиняют США в попытке "балканизации" Индии, т. е. в составлении планов, предусматривающих раскол страны на небольшие государства.

Что касается США и Индии, не знаю, но, в случае успеха Советской армии против Китая, он будет разделен на несколько государств. Касается это и Тибета. Индия претендует на некоторую часть ти-

бетской территории. И она также бы хотела видеть Тибет скорее слабым и независимым государством, наподобие Бангладеша, чем частью Китая. Духовный правитель Тибета — далай-лама — проживает в Индии после своего бегства из КНР. Тибет, очевидно, самая беспокойная из всех национальных частей Китая. В Тибете находится 350 тысяч китайских войск. Появились, однако, сообщения, что далай-лама ведет какие-то переговоры с китайским правительством, но суть этих контактов остается неясной. Действительно ли какие-то круги из тибетского духовного руководства обратились в СССР с просьбой об открытой поддержке против КНР? Но до сей поры от прямых связей с Тибетом советское руководство воздерживается. И, как полагают, не оказывает ему никакой финансовой помощи.

И советская пропаганда, и печать Индии часто описывают в самых мрачных красках положение в Тибете. Рассказывают о разрушении храмов и массовых казнях. Советская пресса не стесняется описывать преследования буддизма китайцами (последний такого рода материал был помещен в журнале "Азия и Африка сегодня", № 1, 1984 г., сс. 52—56). Стоит только напомнить, что советская пресса раньше называла повстанцев в Тибете фашистами. Теперь же советская камарилья явно тянется к "ключу Азии", как иногда называют Тибет.

Гораздо важнее, чем любые заявления советского руководства или установочные статьи в журналах, другое. А именно тот размах, который приобретает кампания, развертываемая в СССР вокруг наследия (живописного и философского) Н. Рериха. Размах ее, видимо, трудно оценить даже советским гражданам, что же касается Запада, то нам

кажется, что и там не понимают причин и действительного направления этой "прорериховской пропаганды". И здесь дело не в том, что Рерих жил и работал в Индии после того, как он покинул советскую империю, а у нас сейчас хорошие отношения с Индией. Здесь дело глубже. В СССР постоянно повторяются сообщения о письмах от махатм Тибета, переданных, якобы, Рерихом советским вождям в двадцатые годы. Печатается много книг и материалов, связанных с Тибетом и Рерихом, которые вообще-то не должны были, по советским правилам, появиться в "открытом доступе" (правда, некоторые очень малыми тиражами). Существуют даже специальные туристические маршруты "по дорогам Рериха". Все это раздувается сознательно и с определенной целью.

Да и тем в Индии, кто льет слезы по поводу положения в Тибете, стоило бы вспомнить, как во время борьбы с коммунистами в Китае после Второй мировой войны Тибет делал попытки вырваться из состава КНР и взывал о помощи, но безуспешно. Индия в лице Дж. Неру отклонила все эти просьбы. Не нашло поддержки духовное руководство горной страны и в свободолюбивой Англии, и тем более в ООН, где тогда демократическая Америка имела "механическое большинство". Это я для памяти сказал, когда события станут необратимыми, и кто-либо начнет пускать слезы о тибетской культуре и народах этой таинственной горной страны...

Кто контролирует Тибет, тот контролирует Азию. Правда ли это?

Все знают, что Китай страна древнейшей культуры и тонкой дальновидной дипломатии. Но что же случилось с теми, кто правил Китаем с 1949 года? Или у них коммунизм отшиб понимание действительного положения вещей? Они — правители вели-

кого Китая — оказались загадочно наивны и политически слепы. Они помогали Вьетнаму в его войне сначала с французами, а затем с американцами и прозападным режимом. Китайцы приложили много усилий для того, чтобы превратить слабую, раздираемую гражданской войной страну в своего сильного и опасного противника, готового нанести удар "большому другу". Тем более, они должны бы все понимать, что Китай еще при правлении маньчжуров имел опыт походов во Вьетнам и встречал там сильное сопротивление. Естественно, вьетнамцы прекрасно помнили о своих взаимоотношениях с Китаем и не доверяли ему.

Вот так КНР приобрел еще одного опасного противника, которого он в значительной мере создал своими руками на глазах нынешнего поколения людей.

Советские вожди помогли подняться Китаю, а Китай, в свою очередь, Вьетнаму. И теперь сотни тысяч китайских солдат стоят на вьетнамской границе.

Американский исследователь, с некоторыми работами которого автору удалось познакомиться (Джон Ф. Коппер), считает, что в любом будущем конфликте со своими соседями (выразимся так) Китай окажется потерпевшей стороной. Нам представляется, что это не так. Уже сегодня совершенно очевидно, что будущий конфликт с Китаем не будет изолированным столкновением между советской империей и КНР. Похоже, что в него окажутся вовлеченными и другие страны, весьма возможно, что Пакистан, Афганистан, Иран, а это серьезно ослабит силы советской империи. Нельзя забывать и о странах Восточной Европы, находящихся под советским господством. Мало вероятно, что они не предпримут попытки освободиться, когда у их хозяев руки

окажутся занятыми на востоке. И это тем более справедливо, если они увязнут в Китае надолго. Маневры вокруг Восточной Германии в 1984 году, события, связанные с переговорами двух частей Германии и отменой визита главы ГДР в Бонн, видимо, отражают какие-то попытки разных сил, и прежде всего советских руководителей, найти приемлемый путь к разрешению германской проблемы. Для немцев он может быть только один — воссоединение их родины. А для советского руководства — не оставить у себя "в тылу" столь потенциально опасной "зоны", как нынешняя Восточная Германия. Мы уже не говорим о Польше, там события начали разворачиваться уже в мирной обстановке.

Не меньшее значение для исхода конфликта имеет и положение в самом Китае. Мы очень мало знаем об изменениях, которые происходят внутри Поднебесной империи. Намерены ли руководители КНР направить свою страну по пути разумного человеческого развития? Или коммунистическая идеология возьмет верх, и они останутся на нынешней стадии? Действительно ли, что в КНР происходят большие экономические изменения, которые облегчают страдания китайского народа? Сама по себе торговля с западными странами, сколь активна и велика по объему она бы ни была, еще не является спасением для экономики стран, пораженных коммунизмом. Сейчас много говорят о словах президента Р. Рейгана, называющего Китай "так называемый коммунистический Китай".

И долго ли будут процветать в КНР "зоны свободной торговли", о которых с явным озлоблением пишут советские газеты? Сколь широко будет представлена в экономике КНР частная инициатива? Все это вопросы без ответа, но несомненно,



что от их решения будет, в известной мере, зависеть будущее Китая.

И еще один важный момент. В СССР распространяются упорные слухи, подчеркиваю, именно слухи, а не официальная пропаганда, что Китай делает первые робкие шаги прочь от коммунистической идеологии (назовем это так за неимением лучшего определения). Появление статьи Дэн Сяопина (основной фигуры в руководстве КНР в последние 7—8 лет) о марксизме в 1984 году может стать своего рода сигналом, отправной точкой в движении прочь от лживого и преступного марксистского образа существования. Что хотят в Китае? Усовершенствовать модель "рыночного социализма" или понимают, что тоталитарная диктатура не в состоянии прокормить миллиардный народ, хотя бы даже не досыта?

После Второй мировой войны в мире противостояли друг другу две, только две силы. Действительно суверенные и действительно независимые. Собственно, уже тогда и родились эти две сверхдержавы. Это довольно быстро кончилось. Появилась третья сила — Китай. Своей неразумной, непоследовательной политикой советские руководители сделали все, чтобы сначала создать сильный Китай, а затем превратить его в своего смертельного врага. Но они не остановились на этом, а пошли дальше — они сумели превратить Китай и США в союзников. Теперь это очевидно, и, конечно, не потому, что США намереваются строить в КНР величайшую гидроэлектростанцию или экономически помогать китайской промышленности. Безответственная антинациональная политика советских правителей уже привела к тому, что США намерены поставлять КНР некоторые виды вооружения. Нельзя также с уверенностью предсказать, какова будет полити-

ка США в случае прямого военного конфликта между двумя коммунистическими гигантами. Правда, если сформулировать все, что мы видели в мировой политике за последние 30, даже 40 лет, очень не похоже, что США вмешаются в войну на стороне КНР. Особенно, если все кончится быстро и действия будут коллективными. Это представляется особенно справедливым в том случае, если советским владыкам и их возможным союзникам удастся найти приемлемую форму управления на захваченных территориях. Например, создать независимые государства в Синьцзяне или Тибете в случае достижения полной победы.

Если мы посмотрим на эти территории, примыкающие к границам Индии и советской империи, то увидим, что задача облегчается и там, что эти земли пока еще остаются наименее заселенными частями КНР. Так, в наиболее заселенной из них Маньчжурии число жителей составляет 32,7 млн. человек (все данные о населении КНР приводятся по журналу "Демографика", Лондон, 1984, № 1, с. 3). В огромном Синьцзянь-Уйгурском районе 13,1 млн., а во внутренней Монголии — 19,3 млн. Тибет остается наименее заселенной частью страны — 1,3 млн. Правда, за 30 лет, начиная с 1953 года, число жителей внутренней Монголии увеличилось более чем вдвое. Но все же на сегодня общее население всех "спасенных" территорий не достигает 7% — общего населения КНР.

Выводы очевидны. После Второй мировой войны победители в целом за очень короткий срок переселили, а точнее выслали около 13 млн. немцев. Внутри советской империи происходили колоссальные переселения. Правда, в основном, коренного русского населения, а также украинцев. Так что, советские владыки имеют опыт обращения с под-

властными народами. Они их всегда гоняли, как хотели. Словно жестокий пастух своих овец. И если им будет сопутствовать успех, то можно не сомневаться: они-то уж сумеют избавиться от "лишнего населения" в захваченных областях. Мы привели все вышесказанное, чтобы показать, что подобная колоссальная акция вполне осуществима. У них все осуществимо. В России в 1918—22 гг., в 1929—31 гг. и по настоящее время, а в Кампучии в 1975—79 гг. Одним словом, вот уже скоро 70 лет осуществимо.

В 1982 году в июне (разгар войны в Ливане и последовавших за этим событий) последовало рекламное заявление бывшего советского хозяина Брежнева об отказе от применения первыми ядерного оружия. Но все же здесь не только реклама или страх перед "непланируемым, случайным" ядерным ударом. Здесь прежде всего желание показать США: мы не хотим прямого конфликта с вами (пока), но сами станем делать, что захотим, а вы нам не смейте мешать. Брежнев и К<sup>о</sup> надеялись использовать обычное оружие против КНР. Если верить Генри Киссинджеру, то он полагает, что советские правители используют свой военный потенциал против КНР. Принцип все тот же: Китай должен исчезнуть, а советское руководство готово делить власть над миром с США.

Если кто-нибудь полагал, что после смерти тов. Андропова в Политбюро наступит мертвый час, то он ошибся. Напротив, именно за последние 8—9 месяцев в советском руководстве заметны волнения и самые активные действия. Возня вокруг германского вопроса чего стоит? Советские владыки еще раз показали свою силу и сместили строптивного начальника генерального штаба. Это редко бывало. И смело можно сказать, что смещение

это — второе по значению после изгнания маршала Жукова в 1957 г. Сейчас, в обстановке усиливающихся разногласий, как кажется, старики вряд ли сумеют предпринять какие-нибудь решительные действия на востоке. Но, вне сомнения, борьба в высших эшелонах советской власти продолжается. И изгнание начальника генерального штаба — лишь проявление этой борьбы, но не ее конец. Не могут на что-либо решиться старики, духа не хватает. Да и внутри страны обстановка не станет лучше, если кто-то стоит в бесконечных очередях за куском масла (если оно вообще есть), а теперь уже и за хлебом, а кто-то покупает рубины и изумруды "по моде", и это-то в стране победившего "развитого" социализма, в "самой справедливой на планете" стране.

Старики пропустили момент. Он был в 1978—79 гг., но они не решились. А теперь они могут только совместно с другими — Индией и Вьетнамом. Они так, видимо, и готовились, но непрерывные распри в самом руководстве, крайняя слабость советской экономики и постепенно возрастающая зависимость от поставок продовольствия из-за границы вынудили их отложить "большую войну", но они лишь отложили, а не отказались от нее. Да и невозможно отказаться. Не сойти с "китайского круга", где б война ни началась.



# Технология отставания

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Богатство стран некогда оценивалось богатством их недр или их сельского хозяйства. В XIX столетии промышленная мощь считалась ведущей характеристикой передовой и преуспевающей страны. В этот период и родился марксизм. Но за последние 50 лет эти критерии стали заменяться новыми. Экономическое значение страны стало зависеть в первую очередь от прогресса ее технологии, которая, в свою очередь, ускоряет экономическое развитие и помогает повысить стандарт жизни населения данной страны. Так что активная и сильная научно-техническая база, которая сможет обеспечить подобное развитие — важнейший ресурс современных передовых стран.

Как раз сейчас, когда это стало важным, на Западе заговорили о сильном отставании Советского Союза в технологической сфере, ставя его на уровень третьестепенных стран. Такая ситуация создалась, несмотря на то, что в нашей стране есть много предпосылок для того, чтобы быть в числе передовых в техническом отношении. Уже одно количество вузов, выпускников этих вузов, институтов, академий и т. п. больше, чем во всех странах мира. Ведь четверть всех научных работников и половина всех инженеров мира работают в Советском Союзе! Ведь годами твердилось,

---

Доклад, прочитанный на собрании Рабочей Группы "Посева" в Нью-Йорке в декабре 1985 года.

что научно-технический прогресс есть залог успеха марксизма-ленинизма и основа лучшей жизни коммунистического общества в Советском Союзе. А тут и сам генсек Горбачев возвел подъем продуктивности науки и техники в ранг самой важной и неотложной задачи советского правительства, признавая и акцентируя техническую отсталость Советского Союза.

## 2. СОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

С наукой в Советском Союзе, может быть, даже и не так уж плохо. Немало научных открытий и достижений было сделано в Советском Союзе, в особенности в тех областях, где можно продвигаться умственным напряжением, пользуясь карандашом и бумагой или мелом и доской. Ядерная физика или теоретическая математика в СССР признаются передовыми всеми странами мира. С прикладными же науками хуже, так как технические возможности и отсутствие аппаратуры и инструментов тормозят прогресс. Но все же придумали систему Токомак, построили большой Синхротрон в Серпухове и самый большой зеркальный телескоп в Зеленской. Было много достижений и в других областях, например, высоковольтной электропередаче, металлургии, биологии.

Однако мало интересного слышно, к примеру, из Серпухова. За последние несколько лет было открыто очень много элементарных частиц, но ни одной не было открыто в Советском Союзе, несмотря на то, что там этот колоссальный Синхротрон. Лазерные системы для создания контролируемой термоядерной реакции постепенно вытесняют подход Токомака. Ничего путного не было открыто и громадным зеркальным телескопом: он оказался недостаточно точным, видимость очень плохая. Спутник-то запустили первыми, но из-за плохой инструментации прозевали пояс Ван Алена, а маленький американский "Эксплорер" его открыл. Все меньше цитат из советских источников публикуется в работах западных ученых. Количество советских нобелевских лауреатов до 1984 года — восемь

(фактически семь, потому что Павлов был лауреатом еще до образования Советского Союза), а лауреатов США — в 16 раз больше.

Есть мнение, что, если советская научная технология направлена на какую-то определенную цель, то она способна добиться довольно хороших результатов. Приводится как пример, что разрешение военных задач дает такую положительную картину и что в этой области нет пробелов и мало отставания. Да, Советский Союз запустил невероятное количество ракет и построил очень сильную ракетную систему: до 1983 года Советский Союз запустил в космос 2000 ракет, а американцы запустили меньше тысячи. Однако к 1983 году всего 8% из этих 2000 продолжали орбиты вокруг земли, а из американских — 18%. Когда мы говорим о ракетах, то мы должны вспомнить, что в Советском Союзе все основные ракеты (СС-18, 20, 24) летают на жидком горючем, которое уже вышло из употребления, и американское вооружение переведено на твердое горючее 10 лет назад. А с жидким горючим — сложная проблема транспорта и подготовки к старту. А вот не могут внедрить твердое горючее. Вот тебе и всегда срабатывающая военная технология.

Мы все отлично знаем, что произошло со сверхзвуковыми самолетами: "Конкорд" продолжает летать и сейчас даже стал давать прибыль, а "Туполева" пришлось убрать с рейсов из-за невероятного количества неполадок. Так что и концентрация ресурсов на решающих участках в Советском Союзе не гарантирует высококачественность результатов.

Очевидно, что наблюдаемое сейчас отставание советской науки и техники нельзя оправдать количественными факторами, но нельзя винить и качество — техническое обучение как раз поставлено лучше, чем во многих других странах мира. Умов должно хватить у 260-миллионного народа, если стомиллионный народ — Япония — через 40 лет после полного разгрома смог достичь положения второй технологически ведущей страны мира.

Стало быть, причина явного технического застоя в Советском Союзе — система власти.

Если в Советском Союзе есть какие-то достижения, то они — весьма постепенные, эволюционные. Вся технология Советского Союза движется медленными улучшениями известного и проверенного, не выбираясь из проторенной колеи, маленькими шажками. Очень характерная черта всего советского технического подхода это — боязнь риска, страх перед новым, неиспытанным. Это — результат всей академической и образовательной системы, где оригинальность и талантливость преследуются и наказываются, где внедрение нового, непредвиденного, незапланированного мешает и нарушает установленную норму и взаимоотношения и грозит неприятностями начальству, поэтому пресекается или избегается. Тем более, что награда за успех обычно невелика, а провал часто грозит неприятными последствиями всем причастным.

Для эффективности в технологии нужна гибкость в распределении ресурсов, в основном, среди наиболее удачных предприятий, а это невозможно при планировке на пять лет вперед. Да вообще в Советском Союзе эффективность подчинена интересам администрации и секретности, что изолирует ученых от мира и друг от друга, царят местничество, гигантомания, раздувающая штаты, сильная централизация всех начинаний. Например, в Москве сосредоточен 71% членов Академии наук, 115 институтов Академии наук, 600 научных институтов министерств и 76 вузов. Они производят свыше трети всех научных исследований Союза. Корифеи, возглавляющие институты, ведут их по ими выбранным путям, отбрасывая новые конкурирующие направления, — при такой системе ни молодые новаторы, ни свежие идеи, ни пожелания с мест не могут оказать какого-либо серьезного влияния на развитие техники в Советском Союзе.

Эти черты советского научно-технического комплекса вполне видны и на Западе, где уже немало статей посвящено отставанию советской техники и где довольно пессимистически расценивается возможность Горбачева как-либо сдвинуть этот колосс с путей, которые вырабатывались десятилетиями и теперь уже совершенно окаменели. Вся эта ситуация усугубляется еще тем, что сейчас, когда



говорят о передовой технике в мире, имеют в виду, главным образом, электронную и компьютерную технологию, а с ней в Советском Союзе — полный провал.

### 3. СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Специфические свойства компьютерной техники настолько противоречат установленной научной и промышленной системе в Советском Союзе, что нынешнее отставание будет неизбежно прогрессировать. Нельзя сваливать факт плачевного положения электроники в Советском Союзе на то, что Сталин не любил кибернетику и запрещал ее. Сталин ведь умер более 30-ти лет назад, а фактически все развитие современной электронной технологии как раз и началось 30 лет назад изобретением интегрированных схем. С тех пор залогом бурного развития электронной промышленности был невероятный технический прогресс в области микроэлектроники, которая из года в год смогла многократно увеличивать функциональность микроэлементов при постоянном снижении их стоимости.

Этот постоянный рост эффективности обеспечил электронным приборам и компьютерам ту вездесущность, которая сейчас наблюдается во всем мире. Радио уже можно найти во всех уголках мира, а телевидение — почти во всех. В более развитых странах вся жизнь постепенно пронизывается электроникой: в доме, в автомашине, в канцелярии, на заводе. Например, улучшение потребления горючего в автомашине теперь можно достичь только путем электронного контроля, микрокомпьютером. Секретарши в канцеляриях США уже забросили пишущие машинки и с большим восторгом применяют более мощные и более удобные "ворд процесёры" — текстообработывающие машины. Компьютеры стоят на столах у инженеров и чертежников. Без компьютеров остановилась бы вся мировая коммерция, так как вручную невозможно произвести миллиарды необходимых операций в день. Постепенно электроника входит в различные промышленные цеха, контролируя всевозможные процессы, станки и машины. Все это повышает

продуктивность, ускоряет поток необходимой информации и облегчает жизнь на работе и в доме.

Эти атрибуты электроники дали ей возможность расти на 13%—14% в год, в два или в три раза быстрее, чем другие отрасли промышленности. Сейчас она достигла объема около 400 миллиардов долларов, а через 10 лет она достигнет 1000 миллиардов долларов и будет самой большой промышленностью в мире. Доля США сегодня — приблизительно 45%—46% мирового производства. Очевидно, что страны, ведущие в развитии этой технологии, могут извлечь из нее громадную пользу. Поэтому государства повсюду, включая малоразвитые страны, дают много льгот и пособий институтам, школам и предприятиям, действующим в электронной области, и стремятся привлечь заводы и необходимые знания из США, Западной Европы или Японии в свои страны.

Советский Союз тоже явно обеспокоен этой ситуацией, но пытается разрешить ее несколько своеобразно: вместо усиления собственной технологии или покупки со стороны нужной технологии, советское правительство решило ее красть. За последние годы во много раз усилился советский шпионаж в индустриальных центрах мира и попытки нелегального вывоза необходимых изделий или аппаратов в Советский Союз. Раскрытые случаи очень больно отражаются на репутации Советского Союза, но подобная активность не прекращается, поскольку другого выхода для улучшения положения в советской электронике советские правители, очевидно, не видят. Например, два года назад французской разведкой был опубликован список желаемой технологии, содержащей свыше 400 страниц, приготовленный особым отделом советской Академии наук для своих посольств. Много компьютеров и машин для изготовления микроэлектроники было перехвачено в Швейцарии, Швеции, Австрии при попытке нелегально провезти их в Советский Союз через третьи страны.

Очень характерна невероятно истерическая кампания против проведения исследований о возможности противоракетной обороны. На Западе эта кампания вызывает усмешку, так как показывает, что это предложение вызвало

стихийную панику в советской верхушке. Разработка эквивалентного плана и контрмер в Советском Союзе будет зависеть от наличия очень развитой компьютерной техники, да и других, не менее передовых технологий. Таковых в Советском Союзе сейчас нет; не будет, по всей вероятности, и в ближайшем будущем. Поэтому и поднята такая шумиха, чтобы прекратить все техническое развитие в этом направлении на Западе.

#### 4. ПРИЧИНЫ ОТСТАЛОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ

Следующая часть этой статьи есть попытка проанализировать три причины, которые, по мнению автора, не дадут возможности Советскому Союзу побороть свою техническую отсталость в микроэлектронике и в компьютерной технологии.

##### *А. Обмен информацией*

Первая проблема — простая: отсутствие адекватной и актуальной технической информации. Все научные общества, включая советские, печатают работы своих членов и периодически устраивают съезды или симпозиумы, где читаются доклады о результатах работ. В Советском же Союзе из-за секретности и междудомственного соревнования многие работы просто не печатаются, а получение иностранных материалов ограничено и обмен информацией скуден и редок. Поскольку только горсточка советских ученых и инженеров имеет возможность посещать иностранные конференции, они потеряли чувство интернациональности науки и техники, как раз когда во всем мире, и в особенности в электронике, идет глобализация техники. Научные съезды устраиваются во всех концах мира, а докладчики, в большинстве случаев — из США, но все чаще и чаще и из других стран: до трети — японцы, 10% — из Европы, а иногда даже и из Китая. А самое важное при посещении таких конференций — возможность поговорить с докладчиком и с

глазу на глаз выяснить, что же действительно происходит сейчас, а не во время написания доклада (обыкновенно описывающего события 2-летней давности).

Но даже когда инженеры в Советском Союзе читают опубликованные работы западных техников, это ведет лишь к передаче концепции и к сознанию, что вот такое возможно сделать. Но как сделать? Передача самой технологии не происходит, это осуществляется только при непосредственном человеческом контакте и открытом обмене опытом.

Эти проблемы значительно усугубляются отсутствием в Советском Союзе другой системы информации западного типа — коммерческих технических журналов, издающихся во всех странах мира, по всем отраслям технологии. Их репутация зависит от публикации нужных, своевременных и технически грамотных статей. Эти статьи обыкновенно — скорее прикладные, чем академически направленные исследования, публикуемые в журналах технических обществ. Эти статьи передают информацию, нужную работающему инженеру, помогают ему преодолеть его сегодняшние практические проблемы и способствуют быстрому внедрению новейших процессов или методов. А из объявлений можно точно узнать техническое состояние данной области и заказать предлагаемые аппараты для прямого применения на собственном заводе. Подобной возможности использовать последнюю технику у советских инженеров практически нет, хотя бы по валютным соображениям.

Наиболее эффективный способ почувствовать пульс данной области это — посещение технических выставок, которые обычно связаны и приурочены к той или другой профессиональной или коммерческой конференции. Как посетители, так и выставяющие становятся все более и более интернациональными. Здесь можно посмотреть, понюхать, потрогать, поговорить с инженерами и выяснить, что происходит с твоей конкуренцией, в твоей области — здесь все налицо. Посещение таких выставок дает невероятный запас новых идей, новых возможностей, новых путей, так как тут встречаешься с новыми людьми, видишь новые аппараты, что страшно будоражит фантазию, и ты

приезжаешь домой с головой, полной идеей, и стараешься все увиденное провести у себя на заводе. Подобных выставок по разным областям электронной техники в западном мире происходит примерно около ста в год, и они теперь устраиваются повсюду, включая даже Австралию, Сингапур и т. д. В Советском Союзе проводятся 1—2 электронных выставки в год для тех, кто хочет продать что-либо Советскому Союзу.

Быстрое развитие технологии, в особенности электронной, зависит от постоянного обмена идеями и информацией. Это понимают японцы, все более участвующие во всех конференциях и выставках и уже открыто рассказывающие о том, что они делают. Без возможности выезда за границу, без мало-мальски постоянного контакта с техническим развитием Запада рядовой советский инженер работает вхолостую, неэффективно, несмотря на его образование и, может быть, талант. Изолированный, централизованный, контролируемый, засекреченный технический мир Советского Союза не может думать, что он будет в состоянии соревноваться в этих условиях. Копирование — это не развитие технологии. Импортирование готовых заводов не ведет к созданию собственной техники — все это лишь убежание от риска и напряжения, необходимого для развития и внедрения собственной техники. Недаром, когда идут разговоры на электронных конференциях и выставках о технологическом развитии в разных частях мира, то говорят о технологии Японии, Англии, даже Испании, Кореи и Тайваня, но очень мало слышно об электронной технологии Советского Союза — ее как будто бы нет. Это приводит ко второй причине, тормозящей развитие технологии в Советском Союзе, гораздо более серьезной и трудно преодолимой.

### *Б. Отсутствие подсобной промышленности*

Это — вторая причина отставания. Когда появляется новый процесс изготовления, скажем, микросетей, или новый вид компонентов, то для их внедрения требуется новая

аппаратура, новые материалы, новые процессы. На Западе эту функцию берут на себя или существующие поставщики, видящие увеличение своего рынка в продаже новых приборов или материалов, или формируются новые компании для использования коммерческого потенциала новых продуктов. Подобная обслуживающая промышленность для электроники сама по себе уже довольно велика, она составляет примерно 20% всей электроники. В ней включены как отдельные большие фирмы (Дюпон, например), так и маленькие, сформированные только для обслуживания какого-либо весьма ограниченного участка электронной промышленности. Все эти фирмы отличаются очень быстрой реакцией на техническое развитие, так как, во-первых, их заказчики не согласны ждать годы, чтобы пустить в ход новый цех или выпустить новые приборы, ну, а во-вторых, если они будут долго тянуть, то рядом может оказаться более агрессивный конкурент и опередить их.

Подобная обслуживающая промышленность, готовая быстро и доброкачественно помогать расти другим видам и отраслям технологии и таким образом самой расти ускоренными темпами, почти отсутствует в экономике советского блока, а если она и существует, то ее продуктивность довольно мала и ограничена.

Это вытекает из самой системы планового хозяйства: изобретение не запланируешь, а аппараты и материалы, необходимые для внедрения только что изобретенных процессов — тем более. Пока это все обсудят, пока это доберется до верхов и потом спустится обратно вниз через плановую бюрократию, на Западе уже будут внедрять третье поколение усовершенствований. В Советском Союзе ни научно-техническая система, ни система капиталовложений, ни тем более психология на производстве никак не в состоянии жить этими быстро реагирующими темпами развития западной технологии. А эти темпы на Западе все ускоряются.

Один пример. Есть большая электронная фирма Хьюлетт-Паккард, выпускающая инструменты и компьютеры. В 1984 году она получила заказов на 6,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 21% заказов был на инструменты, ко-

которые были выпущены на рынок в том же 1984 году. Следующие 26% — на инструменты, выпущенные в 1983 году, и оказалось, что в общей сложности *до двух третей заказов 84 года было на изделия, которые еще не существовали три года назад*. Как вы это запланируете в пятилетку? И это — не единичный случай, а скорее, типичный. С каждым годом сроки жизни каждого аппарата или компьютера сокращаются, не из-за неудачного решения или плохого качества, а просто потому, что конкуренция выпускает на смену более рационализированные, более мощные, более удачные варианты. В ответ, для сохранения своей части рынка первая компания должна ускорить выпуск улучшенного продукта. Это — характерная черта современной западной технологии, в особенности электронной и компьютерной, где постоянная необходимость "обскакать" конкурента очень быстро продвигает технологическое развитие любой области. Дошло до того, что во многих больших фирмах существуют параллельные группы, которые разрабатывают следующую систему, чтобы выбрать из этих конкурирующих вариантов лучший, чтобы обеспечить постоянно кипящий котел новых идей, новых решений.

Бюрократический мир планового хозяйства в Советском Союзе не может функционировать и реагировать с надлежавшей быстротой, чтобы конкурировать на этом рынке.

Приверженцы планового хозяйства всегда утверждают, что оно дает гораздо более продуктивное использование ресурсов, не разбазаривающее таланты на многочисленные параллельные разработки, типичные для конкурирующих фирм на Западе. Возможно, что в установившемся рынке и при зрелой технологии это случается, хотя сомнительно, что система, где корифеи разрешают производить исследования только по им знакомым областям или любимым направлениям, игнорируя и затирая другие возможные направления, может быть очень эффективной. Во всяком случае, эта современная бурлящая технология, движимая предприимчивыми людьми, очень трудно укладывается в рамки регулируемого планового хозяйства, и я не думаю, что это свойство так легко удастся скопировать в Советском Союзе.

Перейдем к третьему пункту отставания советской технологии — компьютерам, с которыми в Советском Союзе наиболее уязвимая ситуация. Казалось бы, плановое хозяйство может значительно выиграть от внедрения компьютеров. Ну, а вот пример: в США 100% всех значительных заводов (свыше 500 рабочих) имели компьютерные установки уже в 1976 году. В Советском Союзе еще в 1984 году только треть подобных заводов имела компьютерные установки. По некоторым вычислениям, сейчас в Союзе 30 тысяч больших компьютерных систем, а в США — 620 тысяч. Да и сами компьютеры в Советском Союзе устарели. Например, "Ряд" — это копия "ИБМ-360", который был выпущен в начале 70-х годов и уже снят с производства лет 10 назад и заменен более быстродействующими и мощными системами. Такая же ситуация с миникомпьютерами, они — копии "ПДП", выпущенных в 1974 году, которые в США уже давно заменены системой "ВАКС". Очень много пишется за границей о том, что компьютеры, будучи глупыми, но точными, не годятся для советской системы, поскольку они не различают завышенные цифры от настоящих, не распознают очковтирательство и халтуру, а действуя на основании неполных или неправильных данных, они моделируют фиктивную реальность и этим не помогают ничем и никому. Но разговоры о том, нужны ли компьютеры при плановом хозяйстве или нет, становятся менее существенными для будущего развития техники в Советском Союзе из-за появления на Западе новых направлений в развитии компьютерной техники. За последние пять лет наметилось два главных направления: сверхкомпьютеры и микрокомпьютеры.

В ряде случаев для предсказания погоды, решения математических или инженерных задач нужно производить невероятное количество вычислений, да как можно быстрее. Поэтому мощность компьютеров стала измеряться в единицах "скорости операций" в секунду, или миллион операций в секунду — мипс. Сейчас в соперничестве между США и Японией инженеры умудрились довести технику сверх-



компьютеров до 40—60 мипсов и начинают доходить до границ физически возможного. Оказывается, скорость света чересчур медленна для этих компьютеров. Поэтому сейчас идет развитие других архитектурных систем, которые могут дать в будущем от 100 до 400 мипсов. Эти компьютеры как раз и будут принимать участие в защите от ракет. Советской техники и ресурсов, нужных для самостоятельного создания подобных сверхкомпьютеров, просто не существует, и вряд ли одни лишь призывы Горбачева к улучшению продуктивности науки их сотворят.

Для будущего развития всей технологии эти сверхкомпьютеры — даже не самая важная проблема. Куда более серьезную проблему для Советского Союза создает второе направление развития компьютеров, это — стихийное развитие микрокомпьютеров на Западе. Первый микрокомпьютер был спроектирован в 1971 году и зачал так называемую "вторую индустриальную революцию". На основании микрокомпьютерных элементов — чипов — развилась целая промышленность, которая внедряет чипы в разные аппараты и придает им "мозги" для увеличения их функциональности. Уже в середине 70-х годов два молодых техника Стивен Джобс и Стивен Возняк (им было около 20 лет) построили в своем гараже, на основании такого микрочипа, первый персональный компьютер, АПЛ-1 и таким образом направили развитие компьютерного мира по совершенно иному пути, чем все теоретики предполагали. Микрокомпьютеры дали мощность солидного компьютера, не меньше, чем некоторые версии "Ряда", прямо на рабочий стол. Стоит сейчас это удовольствие менее 2000 долларов, и цены падают ежемесячно. Эта компьютерная сила стала доступна каждому, и ее стали широко использовать. За последние три года в США было продано на 7 миллиардов долларов более примитивных домашних компьютеров, которые стоят меньше тысячи долларов, покрывая примерно 14% всех домохозяйств. Но более важное — это употребление персональных компьютеров (PC): на работе, на заводе. За последние два года в США их было продано 6,5 миллионов, а в 1986 году ожидается, что будет продано еще 4,5—5 миллионов. Это более мощные системы; они стоят

каждый свыше тысячи долларов — до 5000, но они сейчас везде. Например, в цехах "Дженерал Моторс" их стоит 20 000. Они применяются чертежниками, инженерами, секретаршами, — у нас на заводе нет рабочего стола, где бы не стоял один "РС", а то и два.

Иными словами, ожидавшееся развитие применения компьютеров по иерархическим ступенькам, при котором где-то на высоте царит колоссальный, всеведущий центральный компьютер, который собирает и рассылает свою информацию по каскадам нижестоящих установок, оказалось, только одним из вариантов применения компьютеров. Этакая система и мерещилась советским плановикам. Но вот распыление применения компьютеров оказалось куда более продуктивным для произведения многих функций на месте, не требуя никакой коммуникации с центральным компьютером. Правда, очень многие персональные компьютеры теперь связываются, когда нужно, и с центральным компьютером, и между собой, формируя локальную цепь. Во всяком случае, наличие таких установок на каждом рабочем столе увеличивает продуктивность; по мнению опрошенных инженеров и чертежников, от 30% до 50%. Помножить это на миллионы персональных компьютеров в употреблении — и получится огромное подспорье для ускорения технологического и экономического развития страны.

## 5. ПРИЧИНЫ ОТСТАЛОСТИ С КОМПЬЮТЕРАМИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Почему этот опыт нельзя повторить в Советском Союзе? По ряду причин.

### *А. Свобода обмена информацией*

Первое, это — опасность для системы. Дело в том, что каждый персональный компьютер имеет память и магнитные диски, на них можно нанести любые мысли, доклады,

сравнения, даже крамольные. Диски можно копировать в секунды, и их содержимое можно уничтожить в доли секунды. Употребляя печатные установки каждого персонального компьютера, такую информацию можно быстро распространить даже среди тех, у кого нет персональных компьютеров или дисков. Одна из сил персонального компьютера — возможность подключиться к телефонной сети и затем разговаривать с подобной установкой во всем мире. Недавно была статья о группе американцев, общающихся с какой-то академической группой в Советском Союзе по телефону через компьютеры. В США подобная связь развита до предела, здесь любая информация доступна через свыше полутора тысяч центральных распределителей информации, так называемых "буллетен бордс", организованных для использования коммуникационных способностей "PC", и они все — вне контроля государства, независимы. Не надо быть слишком прозорливым, чтобы предвидеть, что подобная аппаратура в руках советских граждан может быть нежелательна для советской власти, которая вряд ли допустит широкое и быстрое развитие этого потенциально опасного явления. Остановить нелегальную информацию персонального компьютера будет куда труднее, чем держать копируемые машины под ключом и надзором и наказывать семилетним сроком за нелегальное их использование. Таким образом, вряд ли можно ожидать, что развитие микрокомпьютеров в Советском Союзе будет в состоянии проходить темпами и методами, которые мы видим сейчас в США. В результате будет расти технологическая отсталость, где большинство чертежников, инженеров и научных работников будут вынуждены разрешать проблемы карандашом и бумагой, а не молниеносной скоростью компьютеров.

### *Б. Гигантомания*

Вторая причина это — полное отсутствие условий для создания, роста и развития маленьких компаний, которые фактически ведут развитие и применение микрокомпьютеров на Западе. Буквально тысячи таких компаний нахо-

дят всевозможные новые пути для использования и внедрения силы микрокомпьютера во все области жизни, коммерции и промышленности. Они возглавляются энтузиастами, уверенными в своей способности удовлетворить тот или иной спрос, которые находят финансовую поддержку, нанимают служащих и предлагают новые изделия рынку. Некоторые преуспевают, многие прогорают, но на их место идут все более и более многочисленные новые начинания.

Хочу отметить, что в 1976 году в США было сформировано около 300 000 новых компаний. Уже в 1984 году было сформировано вдвое больше, а именно 615 000 новых компаний. У меня нет статистики, сколько из них были в электронном секторе, однако, зная, что для людей, размещающих капиталы, популярность электронной технологии очень велика, можно считать, что не менее 10%-ной доли приходится на этот сектор. Таким образом, выходит, что в 1984 году в Америке могло быть создано свыше 60 000 новых компьютерных и электронных фирм. Вот эти начинающие фирмы, главным образом, и творят то, что называется "рейгановским чудом", то есть ежегодно создают миллионы новых рабочих мест. Несмотря на быстрый приток людей рабочего возраста, им всем находится работа и заработок, а безработица остается стабильной или даже постепенно снижается. Было совсем точно установлено, что новые рабочие места в США не создаются большими фирмами (которые как раз стремятся улучшить свою продуктивность за счет сокращения штатов), а вот этими маленькими гибкими фирмами, подвижными интересами техники и рынка. Сейчас даже большие фирмы стали использовать некоторые версии опыта и задора подобных предпринимателей для ускорения внутреннего развития своей технологии и улучшения способности конкурировать. Все это происходит в атмосфере поисков нового и не ограждается путями системы, привычек и заявлений "у нас так не делается".

Приготовление программ для компьютеров, без которых они совсем беспомощны и слепы — это стихийное, совершенно не поддающееся планированию творчество. Не только всевозможные энтузиасты все время обмениваются улучшением существующих программ через подключение к "буллетен бордс", или "электронным стенгазетам" (которые тоже вряд ли будут допущены в Советском Союзе), но на этих обменах создалась целая новая промышленность, неплохо зарабатывающая на продаже программ тем, кто или не хочет, или не умеет придумать свои собственные программы. Таких компаний сейчас в США 15 000, продающих свыше 27 000 видов программ. Они продали в США 39 миллионов копий этих программ в 1983 году стоимостью свыше 5 миллиардов долларов.

Эти цифры доказывают, что широкое развитие и быстрый рост микрокомпьютеров построены на возможности рядовой публике купить готовые программы и использовать компьютер сразу для своих нужд, без необходимости сначала становиться программистом. Стало быть, развитие применения компьютеров идет по пути, каким шло развитие автомобиля, телефона, телевизора, где потребитель не должен знать в деталях, как это устройство работает, чтобы его эффективно использовать.

А в Советском Союзе идет движение, по-видимому, как раз наоборот. В школах сейчас предлагают ученикам новую программу: учиться программированию, никогда в жизни не видав компьютера и не имея возможности его когда-либо увидеть и проверить результаты своей работы. Это приводит меня теперь к последнему пункту — проблеме компьютерной грамотности в Советском Союзе.

### *Г. Компьютеры в школах*

Естественно, что компьютерная грамотность достигается, начиная со школьной скамьи. В Советском Союзе стали сильно думать об этом сейчас. Пытались скопировать

"АППЛ-1", называли его "Агат", но он не сработал, не смогли приготовить магнитные диски. Сейчас для школ закупили 4000 японских "Ямах", который японцы даже не экспортируют в США. Но на 90 миллионов учеников в школах Советского Союза это — немного. В США сейчас в школах на 40 миллионов учеников — свыше миллиона компьютеров. В среднем американский школьник может работать с компьютером 45 минут в неделю, а во многих школах — куда больше. Сейчас в Советском Союзе копируют компьютер "ПДП" для школьных целей, а ему уже добрых 15 лет. Вот и запланировали в прошлом году, что к 1990 году в советских школах будет один миллион компьютеров, ну а недавно это число сократили наполовину. Но к 1990 году в США будет уже три миллиона компьютеров в школах. Учитывая разницу в количестве школьников, выходит, что в 1990 году в США будет примерно в 10 раз больше компьютеров на долю учеников, чем в Советском Союзе. Это — колоссальная интеллектуальная потеря, так как молодые ребята очень легко усваивают компьютерные системы.

Компьютер облегчает обучение и расширяет возможности преподавания. Сейчас уже более двух десятков американских университетов поставили одним из условий принятия студента наличие к нему персонального компьютера, так как педагогический состав находит их применение незаменимым для улучшения преподавания. И, парадоксальным образом, больше всего энтузиазма для внедрения персональных компьютеров в университеты обнаружилось среди представителей общественных наук, а не точных.

Предполагается, что ныне у примерно 20% студентов колледжей есть персональные компьютеры, а остальные имеют сравнительно свободный доступ к мощным университетским установкам. Вызвано это щедрым пожертвованием университетам своих компьютеров главных фирм, их производящих. Эти фирмы убедились, что, если студенты привыкли в школе к употреблению определенных систем, то они имеют тенденцию заказывать те же самые системы, когда поступают на работу. Выгода всем: университетам, фирмам и студентам. К этому надо добавить, что все крупные технические университеты имеют колоссальные ком-

пьютерные отделы с самыми последними типами компьютеров для обучения и для исследований. Таким образом, в США — и в несколько меньшей степени на Западе вообще — растут поколения, для которых компьютер — нормальный помощник и облегчитель в любой работе. Но вот цитируя Ершова: "Лет через двадцать-тридцать в Советском Союзе будет создана система центров, где люди смогут брать напрокат персональный компьютер, как книгу из библиотеки", — видим несколько другую перспективу.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммирую: очень трудно ожидать улучшения технического развития без расширения личного общения и свободного обмена мнениями, но паранойя советского строя не может этого допустить. Ускорение темпов развития, столь характерное для современной высокой технологии на Западе, несовместимо со всей плановой, корифейной, окаменелой системой советского научно-промышленного комплекса. Таким образом, Советский Союз останется за бортом развития наиболее мощной современной техники: электроники и компьютеров, которые будут контролировать промышленность и коммуникацию всего мира. Создающийся мир, построенный на свободном и широком развитии информатики, не созвучен взглядам людей, правящих Советским Союзом, и они, изолируя его, опускают Советский Союз до уровня третьестепенной технологической силы. Советский Союз становится островом технической затхлости.

Уже сейчас проскальзывают в советской прессе некоторые нападки на результаты внедрения компьютерной технологии на Западе. Можно ожидать, что с увеличением очевидности отставания Советского Союза в развитии современной компьютерной и других высоких технологий поднимется в Союзе (а потом будет им инспирирована и на Западе) сильная пропагандная атака, подчеркивающая бесполезность и опасность электроники, компьютеров и других видов технологии, быстро продвигающих развитие челове-

ческих и экономических отношений вне Советского Союза. Но подобная кампания не поможет ни правительству, ни населению, ни техникам Советского Союза, которые будут продолжать влачить жалкое и обесцененное существование, как до сих пор.

## 7. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Теперь немного о положительном. Когда мы говорим об альтернативах, мы часто говорим и о том периоде, когда советской власти уже не будет. Как тогда будет дело обстоит с техникой? Первым делом, естественно, откроются границы и сможет появиться живой человеческий контакт между техниками всего мира и России. Это будет очень большая помощь, потому что талантами мы богаты и мозгов у нас хватает, а вот система не дает возможности развернуться.

Труднее предвидеть, как можно будет быстро создать подсобные или мелкие предприятия, которые должны оживить и внедрить новые технологические изобретения. Будут ли они возникать стихийно? Да и вообще, как соотносятся два пути изобретательства — самодеятельность в гараже и у гигантов промышленности?

Мы можем присмотреться к опыту больших компаний, которые сами иногда выделяют группу новаторов и дают им капитал, говоря: изобретайте, делайте и продавайте — под ширмой компании. Такие группы довольно успешно двигают технологию, которую сама компания по тем или иным причинам не хочет выпускать. Надо также присмотреться к опыту Японии, которая небогата мелкими фирмами. Там — крупные и сильные концерны, которые создали очень серьезную конкуренцию Соединенным Штатам как раз в этих областях. Вот они сумели найти способ эффективного технического продвижения, но надо понять, что тут была и национальная необходимость, чувствуемая всеми 120 миллионами японцев: конкурировать и продавать, для обеспечения своего существования добиваться высшей технологии. Это у них — с молоком матери, весь их пафос



построен на этом, и они этого добились. Удастся ли такой пафос создать потом в свободной России, еще не ясно, тем более, что Европа с ее большими концернами сегодня сильно отстает, несмотря на попытки тоже создать систему активных предпринимателей. Большие европейские заводы, хотя и тратят невероятное количество денег на исследовательские бюро, технически догнать американцев и японцев никак не могут. Так что тут два подхода — японский и европейский, но один сработал, другой не срабатывает.

Конечно, в этой технологической чехарде играют важную роль и большие лаборатории, как Белл Лабс, поскольку они имеют десятки тысяч научных работников, большие ресурсы, колоссальные вспомогательные учреждения; они открыли теорию "биг-банг", услышав остаток шума от сотворения мира; они же открыли и транзистор. Потом, пока они продолжали серьезно думать, возникло приблизительно 50 фирм, которые стали использовать этот транзистор для всевозможных целей. Вот они-то и схватили эту идею и помчались с ней, платя, конечно, некоторую мзду Белл Лабс за ее использование. Однако следующее революционное открытие — интегральную схему — уже сделал не Белл Лабс, а Тексас Инструментс. Становится очевидным факт, что те фирмы, которые выросли на одной технологии, обыкновенно неудачливы в применении другой и новой технологии. Например, те, которые работали с электронными лампами, оказались вне развития интегральных схем, потому что они продолжали мыслить "лампами", и т. д.

Однако подобный институционный застой можно эффективно побороть, если большие компании будут прислушиваться все время к нуждам своих заказчиков или направлению развития рынка. Такой подход обеспечил многолетний успех и быстрый рост самой крупной в мире компьютерной компании ИБМ, а также ее японских конкурентов. Но это означает постоянные перемены в структуре, подходах и технологии. Например, ИБМ выпустил на рынок микрокомпьютер "РС" только в 1981 году, а уже к 1985 году захватил 28% всего рынка. Для этого они создали отдельную группу, которой нарядили: изобрели, построй и продавай. Разрабатывая микрокомпьютер, они пошли по

путям, которые были совершенно нетипичными для конструирования постройки других систем ИБМ. Они стали импортировать части с Тайваня, чего ИБМ никогда не делала. Но вот разрыв с установленными традициями и применение смелых новых подходов и создало основу для такого быстрого проникновения на рынок. Таким образом видно, что сочетание гибкости в организации и производстве и знание требований рынка может помочь и гигантам промышленности приобрести некоторые атрибуты агрессивных мелких компаний. Все стихийное развитие электронной и компьютерной технологии на Западе как раз и обуславливается этими динамичными взаимоотношениями между постоянно возникающими мелкими компаниями и солидным техническим прогрессом, осуществляемым в лабораториях гигантов.

Вот создание подобного динамичного баланса и будет задачей и условием успешного технического развития в свободной России. А это будет зависеть больше от качеств людей, чем от размеров предприятий. Тут надо отметить, что популярность ИБМ-овского "РС" была также результатом наличия у ИБМ колоссального пакета "математического обеспечения" — программ, операционных систем, которые были лучше, чем у их конкурентов. Это был главный козырь, привлекающий покупателей к системам ИБМ, да еще и репутация безоговорочного и быстрого обслуживания и помощи при затруднениях.

Но с программированием у нас в стране не так уж плохо, у нас к этому подлинный талант, тем более, что это как раз то поле деятельности, где, в основном, нужны только "карандаш и бумага". Программирование и введение микрокомпьютеров в освобожденной стране сначала можно будет провести через приобретение лицензии, чтобы обрести основные навыки и технические данные. Потом собственные богатые таланты смогут это дело уже дальше быстро развивать, — если не саму микроэлектронику, что довольно сложно, то применение микроэлектроники к разной аппаратуре, используя наш талант к программированию.

Конечно, сняв жесткую оболочку советской системы,

можно предвидеть, что многое из того, о чем говорилось как о невозможном при советском строе, станет возможным, и технологическое отставание прекратится. Я думаю, что перегнать Запад за обозримое время мы не успеем, но догнать, может быть, сможем, довольно быстро.



## БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ — ЗНАЯ ЕГО ПРИРОДУ...

Виктор Астафьев — писатель, привлекающий внимание всем, что бы ни написал. Возможно, потому, что он еще и гражданин, что его имя стоит в первом ряду тех беспокоящих людей, которые задолго до провозглашения курса на "гласность" пытались отстаивать здравый смысл вопреки сложившимся партийным догмам.

Поэтому неважно, называть ли "Печальный детектив" Астафьева романом или нет (по-моему, это и не роман, и не детектив, а повесть с элементами очерковой публицистики). Важны мысли, которые сумел донести до читателей автор. Мысли эти кому-то покажутся не новыми, но благодаря тому — где и, фигурально выражаясь, каким тиражом они произнесены — они достойны внимания.

В откликах на "Печальный детектив" в СССР чаще всего приходится слышать, что Астафьев, пожалуй, впервые в советской литературе, отразил истинный размах преступности в СССР, привел много ужасающих примеров, складывающихся в довольно безысходную картину. Обращают внимание и на высказывания, появившиеся в результате перемен при Горбачеве. Например, главный герой повести Сошнин

"...научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо или что-либо, тем более крупного философа да еще превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться..."

---

Виктор Астафьев. Печальный детектив. Роман. — Москва: "Октябрь" № 1, 1986 г.

Виктор Астафьев. Место действия. Рассказы. — Москва: "Наш современник" № 5, 1986 г.

Однако, несомненно, более важно то, что, затрагивая проблему преступности в СССР, Астафьев дает христианское толкование природы зла — устами того же Сошнина, милиционера, соприкоснувшегося вплотную с самыми неожиданными, рационально необъяснимыми проявлениями злой силы, существующей в мире. Работа в милиции открыла ему глаза на то, что помимо "необъяснимой русской жалости", "которая веки-вечные сохраняет в живой плоти российского человека неугасимую жажду сострадания, стремления к добру, и в этой же плоти, в 'болезной' русской душе, в каком-то затемненном ее уголке, таилось легко возбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное, необъяснимое зло..."

И это зло не только российское — оно общемировое. Причем оно не просто отсутствие добра. Оно существует само по себе, наряду с добром, как противоположный ему полюс магнитного поля земной жизни. Зло можно потеснить, даже победить на духовном уровне, но его не победить утопическими теориями достижения земного рая, путем одного лишь изменения социальной среды, как то вознамерились социалисты и наиболее последовательная их разновидность — коммунисты, присвоившие себе право на любое насилие над человеком во имя этой утопии. Сила зла насмеялась над наивной самоуверенностью этих утопистов, превратив их в орудие своего же утверждения в мире. С точки зрения борьбы с мировым злом, коммунистический эксперимент над Россией оказался глубочайшим провалом, высвободившим в людях то самое "слепо вспыхивающее, необъяснимое" — раньше оно считалось злом и грехом, а теперь стало псевдо-научно обоснованной закономерностью развития, стало править страной: "Беззаконие и закон... размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи".

Почему же сегодня, — спрашивает Астафьев при виде этой страшной картины, — "не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих давно опочивших, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла?"

Наверное, потому, что эти "учители" еще не поняли того, что понял Астафьев. Им все еще кажется, что стоит лишь вернуться к пресловутым "ленинским нормам", лучше внедрять "Моральный кодекс строителя коммунизма" да устрожить продажу алкоголя — и...

В "Печальном детективе" авторское ощущение проблемы весьма пессимистично:

"Есть... книга с пророческим названием: "Преступление и наказание". Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев 'не переброешь!'. Их много, и они сила, хорошо защищенная".

И главный герой Сошнин, израненный, физически сломленный (уволен из милиции по инвалидности) — но теперь он и начинающий писатель — садится за стол и надолго замирает над чистым листом бумаги.

Что он напишет? Может быть, ему удастся за письменным столом достичь большего в борьбе со злом, чем за годы работы в милиции, которая хоть и сила, но ее "...доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидающая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще с маслом... — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая".

Хочется надеяться, что если, помимо Ницше, Сошнин прочтет и Евангелие, и книгу "О сопротивлении злу силою" И. А. Ильина, да и хотя бы, из более доступного, последние рассказы самого Астафьева в "Нашем современнике", он напишет что-то еще более определенное, с более четким ответом на поставленный вопрос, чем дает "Печальный детектив".

В одном из этих рассказов, представляющих собой наиболее позднюю публикацию Астафьева, после описания счастливого праздника Пасхи в детстве — "Весна, тепло, святой дух праздника, сама природа и душа пронизаны им, взывают к милосердию и состраданию", царит "желание... делать себе и всем тоже только радость, полниться счастьем и ощущением доброты..." — писатель вопрошает:

"Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на деревья в тайге и друг на дружку в миру, не

выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим..."

В этом страстном крике, почти молитве, неожиданно всплеснувшей среди, казалось бы, спокойного и совсем на иную тему рассказа ("Слепой рыбак"), Астафьев уже дает ответ — и кто, и зачем, и кому... Далее в рассказе следует описание сегодняшнего, случайного празднования Пасхи на рыбалке: "Христос воскрес! Воистину воскрес!" (Жаль, не знают рыбаки более торжественного — "воскресе!"...)

И еще одна цитата, из рассказа "Ловля пескарей в Грузии". Пересказав предание, как на завоевателей-татар, осквернивших Гелатский собор в Грузии и разложивших в нем костер, пролился расплавившийся от огня свинец с крыши храма, писатель выражает такое пожелание:

"...вот если бы на головы современных осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов низвергся вселенский свинцовый дождь — последний карающий дождь — на всех человеконенавистников, на гонителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым, добрым взором, с рукой, занесенной для благословения к труду, любви, против насилия, сабель, ружей и бомб".

Нельзя не отметить, что за такое положительное отношение к религии Астафьев, вместе с Ч. Айтматовым и В. Быковым (многих других почему-то забыли) подвергся критике со страниц "Комсомольской правды" (30. 7. 1986), правда, не очень компетентной в вопросах богословия, хоть критик и доктор марксистских наук.

Но, возможно, Астафьева за "христианство" критикуют слишком поспешно. Возможно, он всего лишь хочет подчеркнуть прагматическое значение религии для укрепления духовного здоровья нации. Может быть, именно поэтому он желает при этом и столь практической меры, как свинцовый карающий дождь на головы современных осквернителей и горлопанов, то есть духовно неразвитых дикарей (сознательно так воспитанных теми самыми "учителями"), забывая, что христианство призывает своих последовате-

лей возненавидеть грех, но пожалеть грешника и слепца. Правда, иногда это по-человечески трудно, и эмоции Астафьева тут можно все же понять. Но тогда можно понять и эмоции грузин на VIII съезде писателей, которые, пожалуй, имели какие-то основания обидеться на резкость суждений Астафьева об их грузинских горлопанах в том же рассказе. И хотя прав Распутин, что резкость Астафьева здесь продиктована болью за судьбы грузинской культуры, — все же эта дискуссия показывает, что с "карающими дождями", даже словесными, лучше обращаться осторожнее...

Думаю, что некоторых почитателей Астафьева должна также смущать совсем не христианская, то и дело встречающаяся у него ксенофобия — как правило к так называемым "капиталистическим" странам. Например, американцам та же "Ловля пескарей в Грузии" дает гораздо больше оснований для обид, чем грузинам. Вот, как пишет Астафьев о цветке-сорняке, попавшем на Кавказ в годы войны вместе с поставками овса из Америки, для военных лошадей:

"...он, паразит, как и полагается янки, захмелел, задурил на чужой на кавказской стороне, начал поражать собою лучшие земли...

Н-да, подарочек! То цветочек с овсом, то колорадский жучок с картошкой, то варроатоз на пчел, то кинокартиночку с голыми бабами-вампирами, то наклейка на форменные штаны переучившемуся волосатому полудурку с надписью отдельного батальона, спалившего живьем детей в Сонгми, — буржуи ничего нам даром не дают, все с умыслом".

Так вот "с умыслом", оказывается, были все эти "подарочки", в которые янки подмешали нам сорнячок, предотвратив попутно крах советской экономики в первые годы войны: 14,5 тысяч самолетов, 7,5 тысяч танков, на 1 миллиард долларов амуниции, 475 тысяч тракторов и тягачей, 30 тысяч металлорежущих станков, 2000 локомотивов, более 300 тысяч тонн цветных металлов (без которых не были бы собраны две трети советских самолетов), резина (без которой не были бы "обуты" три четверти колесного транспорта), 2 миллиона тонн продовольствия, одежды... Овес для лошадей, наверно, тоже был. Интересно, подмешивают ли янки что-либо сегодня в поставки зерна?..



Жаль, что Астафьева здесь опять-таки заносит — но уже на уровень, совсем огорчительный для талантливого писателя. Конечно, Америку есть за что критиковать — это далеко не благополучное в духовном отношении общество. "Бабы-вампирки" в пошлейших кинолентах или преступление в Сонгми — это проявления все той же "слепой и необъяснимой" силы зла, существующей в мире, в том числе и в Америке. И там, где человеку дается больше свободы, он свободнее проявляет не только свои лучшие, но и худшие стороны. Зло старается пользоваться свободой, превращая ее порою во вседозволенность, размывая четкие критерии добра и зла под эгидой всеядного "этического плюрализма".

В демократическом обществе эта неизбежная обратная сторона медали более видима, она более коробит нас. Но в условиях свободы зло не занимает монопольного положения. Оно компенсируется силами добра, которые там тоже действуют, противостоят злу, — и их не бросают за это в тюрьмы, психушки и лагеря.

Основная проблема западного общества — как сделать, чтобы помочь этим силам добра, не ограничивая при этом свободы человека. Во многом это вопрос воспитания, отстаивания тех же поблекших на Западе христианских традиций, о роли которых с таким пониманием пишет Астафьев, когда речь идет о России. Кстати, есть критика слабостей Запада и с этих христианских позиций — у Солженицына.

Как показывают примеры подвижников, человек способен сопротивляться злу, благодаря заложенной в нем "искре Божией". Это задача нашей земной жизни. И к более совершенному обществу человечество тоже должно стремиться. Мы, русские, из одних исходных позиций, американцы из других. Но напомним почитаемому нами писателю слова его героя: "Отрицая что-либо, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться..."

*М. Назаров*

## ПЛОДЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛИ

*(О социальных исследованиях В. Н. Чалидзе)*

Валерий Чалидзе, издатель и диссидент, был известен на родине и в эмиграции как литератор-эксперт в области прав человека.

Но вот, с некоторых пор, в творчестве публициста наметился крен в сторону глобальных социальных исследований. Первая книга этого цикла — "Победитель коммунизма" — хоть и не сделалась вехой на пути осмысления проблем современности, но несомненно поразила читателей смелостью выводов. Утверждения идеологов партии, что Советский Союз достиг стадии зрелого социализма, действительности не соответствуют. Нынешний СССР, утверждает Чалидзе, "не имеет с социализмом ничего общего". Не кто иной, как именно "Сталин одержал победу над социалистической революцией, уничтожил коммунистическую партию и реставрировал Российскую империю". А раз так, заключает Чалидзе, то "не стоит бороться против коммунизма и тем самым расходовать силы впустую".

Там, где поколения русских историков и мыслителей усматривали трагедию России, Валерий Чалидзе сумел увидеть возрождение былой Российской империи, лишь с примесью "марксистской фразеологии и неразборчивости в средствах".

Со дня издания этого неординарного исследования прошло уже несколько лет, а книга не только не стала бестселлером, но и не удостоилась подобающего внимания эмигрантской прессы.

Следом в свет вышло его второе провидческое произведение. Отдадим должное автору — он верен единожды избранному предмету исследования: Россия. На этот раз — ее будущее. Так книга скромно и озаглавлена: "Будущее России".

Обе книги Чалидзе — плод его неустанных дискуссий со своими друзьями. Этот факт отмечается в специальном авторском предисловии, и приводится перечень именитых

---

В. Ч а л и д з е. Будущее России. — Нью-Йорк: Chalidze Publ., 1983. Победитель коммунизма. — Там же, 1981.

друзей. "Исключительно ценными", как подчеркнуто автором в предисловии ко второй книге, оказались для него "разговоры с супругой Лисой". Супруга — американка. Она и поведала мужу "об американской системе права". Какое отношение имеет данный вопрос к будущему России, неясно. Вообще это исследование ждет своего комментатора; судя по содержанию, участники дискуссионных бесед подбросили автору немало вызывающих сомнение истин. Они же, видимо, и отвлекли его от широко задуманной заглавной темы.

Страшное дело — эти российские застольные разговоры. Чего только нет на страницах этой убористой книги! Тут и байка Хрущева — из его мемуаров — о Принцевых островах, и собственные воспоминания автора о путешествии из Мангышлака в Москву, где он в Актюбинске едва не схватил холеру, и глубокомысленные рассуждения о том, "что заложено в сознании миллионов советских граждан", о "несомненной гордости русских людей их теперешней властью", о "высших нормах их поведения", об их "невротическом комплексе неполноценности", "двойственном патриотизме" и о многом, многом другом, не менее значительном и интригующем.

Но все-таки автор — человек ответственный. Он вовремя спохватился и последнюю, девятую главку книги посвятил задуманной теме. Правда, высказать все, что задумано, от тут, разумеется, не успел, но зато откровенно признался: "Я не способен построить какую-либо определенную модель будущего развития". И объяснил почему: "Потому что любая экстраполяция подобного рода основывается на предположении, что будет идти развитие постепенное, а мы знаем, что в развитии общества случаются потрясения, предсказать которые, как правило, невозможно".

Все ясно, и претензий к автору никаких.

Но есть опасение, что и это, его второе исследование, не получит в наши дни достойного критического отклика. Поэтому попытаемся изложить свое мнение о некоторых, на наш взгляд узловых, размышлениях автора.

Вначале — несколько слов об одной исторической недостоверности.

"Правая и левая" — так озаглавлена глава книги. И она открывается фразой: "С тех пор как 21 сентября 1792 года жирондисты уселись по правую сторону залы Национально-

го конвента Франции, а монтаньяры — по левую, эпитеты "правый" и "левый" вошли в международный политический лексикон". Но, во-первых, жирондисты и монтаньяры сидели не "справа" и "слева", а "внизу" и "вверху". Монтаньяры (от французского слова *montagne* — гора) были названы так именно потому, что сидели на верхних скамьях. А разделение на "правых" и "левых", как учит история, произошло не на заседании Национального конвента Франции, а на форуме Законодательного собрания.

Это, конечно, мелочь. Но в серьезном исследовании и такие промашки обидны.

Теперь — по существу.

Идеологические пристрастия автора достаточно хорошо известны — и по его выступлениям в эмигрантской периодической прессе, и по тем выводам, что мы обнаружили в его предыдущей книге. Уже упомянутая нами идея о том, что Советский Союз не что иное, как порождение старой Российской империи, тоже не новшество в творчестве публициста, скорее наоборот, — если к нашему автору подойти как к историку, то именно эта идея окажется в основании его концепции, краеугольный камень которой — культ личности Грозного и Петра...

Суждения о "народе", о "власти" щедро разбросаны по страницам книги. Суждения веские, категоричные. Например, вот такое: "Что бы ни говорили о критическом отношении населения к советской власти, какие бы анекдоты ни пересказывали, будем помнить, что для русских людей теперешняя власть в России — это их власть... это предмет несомненной гордости". Но что означает такая цитата? Что русские любят теперешнюю власть в России, а остальные народности — нет? И как удалось рассмотреть Чалидзе, что русские гордятся теперешней властью? Может, чиновник какой и гордится, но вряд ли гордятся узники политлагерей, закрепощенные колхозники, жители небольших городов, что годами не видят ни мяса, ни масла... Или такое: "Народу нелегко забыть лозунги вроде "Мы — лучшие", "Догоним и перегоним" и тому подобные". Это тоже сомнительно. Лозунги, может, и помнят, по долгу службы, партийные агитаторы. А "народ" в лучшем случае их носит на демонстрациях. Но в мыслях, как известно, не держит.

Зато, когда автор переходит к проблемам более сложным, он подводит читателя к выводам весьма и весьма лю-

бопытным. Всего лишь на нескольких страницах исследования Валерий Чалидзе подвергает анализу современную экономику. Сравнительному — СССР и США. Ибо, как он сам замечает: "Знакомство с американской системой расширило мой кругозор".

Для начала он дает нам такую исходную формулу: "Теперь Россия является современной индустриальной державой, однако отставание от наиболее развитых стран является ощутимым". Если помнить, что во всякой банальности содержится доля истины, то и эта посылка не покажется заурядной.

Далее автор, ссылаясь на результаты исследования одной, видимо, очень авторитетной американской фирмы, сообщает такой многозначительный факт: начиная с 90-х годов прошлого века и до нынешних дней российская экономика отстает от экономики США в среднем неизменно на 35 лет! Из этого факта он делает вывод, что промышленное состояние теперешнего СССР не является порождением советской системы хозяйствования, а уходит корнями в экономику дореволюционной России. "Если вспомнить те 35 лет, — размышляет Чалидзе, — на которые в среднем отстает российская промышленность от Соединенных Штатов, и тот факт, что она так же отставала в конце прошлого века, становится ясным, что собственно советская система экономики тут ни при чем".

Странно. Даже если поверить результатам исследования почтенного американского учреждения, они еще ничего подобного не доказывают. Россия дореволюционная была страной преимущественно сельскохозяйственной, ее индустрия еще только набирала темпы, народ ее не надрывался, и цели "догнать Америку" она перед собой не ставила, продавая излишки товарного хлеба на Запад. Но после октября 17-го хозяйственная атмосфера в стране меняется в корне — строятся ГЭС, заводы, вспахиваются целинные земли, работает каторжно все население во имя заветной, магистральной цели — догнать и перегнать Америку... И вот, оказывается, отставание — на том же "имперском" уровне. В этом-то и беда коммунистической власти. Но Валерий Чалидзе, видимо, замороженный магической цифрой, не подвергает сомнению выводы фирмы. "Это очень поучительные результаты", — подводит итог он своим размышлениям и сомневающимся добивает иронией: "Мне смешно, когда упрекают Россию в том, что она отстает от

США. Да и советским руководителям, — рекомендует Чалидзе, — следовало бы относиться к факту этого отставания более философски”.

Дает он совет и исследователям, ”в том числе неподцензурным”, — ”заняться изучением вопроса, какие социально-экономические проблемы в СССР порождены причинами историческими, психологическими, то есть независимыми от политического строя”. От исследователей, предупреждает Чалидзе, ”потребуется изрядная доля смелости”, каковой несомненно обладает сам автор, ибо он знает, что ”есть люди, чей патриотизм столь горяч и слеп, что они готовы все, что им в их стране не нравится, отнести за счет дурных действий своего правительства, и когда кто-нибудь пытается проследить исторические параллели, это у них вызывает ярость”.

И все же Чалидзе не так уж прост. Он вряд ли бы взялся за книгу о будущем России, не рассчитывая освежить эту тему, может быть даже осовременить. Потому-то она и включает загадочный подзаголовок — *”Иерархический анализ”*.

Что же сие означает?

”Биологически мы — порождение жестокой борьбы, начиная с одноклеточных”. Кому принадлежит это высказывание? — Ну, мог сказать Энгельс, мог Дарвин или Ламарк... Но это сказал — Чалидзе. На страницах все того же исследования. И чтоб не прослыть эпигоном упомянутых корифеев, он добавляет в следующей фразе к слову ”борьба” свой, специфически смелый термин — ”иерархическая”. А дальше уже как по маслу — ”иерархический призрак”, ”иерархическая диагностика”, ”иерархия силы”, ”иерархия состояний”, ”единая иерархия”, ”полииерархия”, ”волевая иерархия”... Зная по опыту, какой экстаз вызывает у слушателей эта его изысканная терминология, он поверяет читателям свои ощущения, довольно пикантные, от разговоров на эту тему с друзьями: ”Иногда, излагая свои представления об иерархической борьбе в обществе, я чувствую, что реакция собеседника почти такая же, как была бы у скромной романтической красавицы 19-го века, если бы ее страстную влюбленность, ее нежные вздохи и бессонные ночи я попытался бы объяснить напряжением в известных органах”. Он, видимо, это почувствовал, когда излагал собеседникам свое, доселе неслыханное определение капитализма: ”Это такой общественный строй, в ко-

тором в процессе иерархического соперничества победители заинтересованы в иерархическом росте побежденных”.

Удалась ли попытка автора модернизировать учение Маркса, подменив ”классовую” его теорию собственной, ”иерархической” — не нам судить. Но сам по себе термин ”иерархизм” применительно к науке о развитии общества безусловно оригинален, а, может быть, в отдаленной проекции, и не лишен перспективы...

Увлечение Чалидзе таким для него, да и для нас всех, новым явлением как ”иерархизм”, думается, не случайно. Годы творческой зрелости посвятил он другой, куда более популярной проблеме — Правам Человека. Выпестованное им движение по подъему правосознания граждан и их правителей перешагнуло границы, и уже здесь, в эмиграции, Валерий Чалидзе заявил об этом печатно: ”Без влияния нашего движения на западные умы невозможно представить себе американского президента, объявляющего международную защиту прав человека частью политики правительства”.

Но — ничто под луною не вечно. Меняются президенты, меняются части правительственной политики.

В таких обстоятельствах переключение творческих интересов с одной, теряющей актуальность, проблемы на другую, обещающую стать перспективной, не может не показаться разумным и своевременным.

В рассматриваемом нами исследовании автор сумел увязать иерархизм не только с наукой о развитии общества, но, попутно, и с человеческой психикой. В наш смутный век, когда растерявшееся поколение в поисках смысла жизни обращается часто к потусторонним учениям, наподобие оккультизма, Валерий Чалидзе в своих интеллектуальных исканиях не отрывается от реальности и, похоже, использует новейшие данные современного психоанализа. В потоке авторских размышлений мы встречаем такие понятия, как ”суррогаты воли”, ”экономия воли”, ”воля сознательная”, ”индивидуальная” ... И в ряду тех же понятий, но уже в собственной интерпретации — ”иерархия воли”. Все это, оказывается, заложено, вернее, стыдливо сокрыто в самой природе человека, в его иерархической психике. ”Да, — подмечает автор, — как ни странно, люди следуют своей иерархической страсти, но стыдятся ее”.

Вообще любит Чалидзе замысловатые термины, туманные фразы. Особенно, когда это касается анализа собственных размышлений. Тут, правда, автор не всегда последова-

телен. Так, в одном месте он вроде себя успокаивает: "Напрасно я огорчился дихотомизму моих построений". Но в другом — уже будто опять сомневается: "Меня иногда огорчает дихотомичность моих историософских представлений".

Читателя, человека простого, тоже.

Ну, коли уж мы отметили элемент непоследовательности в рассуждениях автора о своих эмоциях, то стоит, наверно, упомянуть и еще об одном замеченном нами противоречии — в оценках такого явления как социализм и его эволюция на путях становления советского государства.

Мы не можем не помнить приведенное выше кардинальное высказывание Чалидзе о нынешнем СССР: он "не имеет с социализмом ничего общего". Но вот, на последних страницах исследования автор находит уже социализм для советских людей *"единственно пригодным лозунгом"*. "Я должен признать его немеркнущую привлекательность, — заявляет автор и уточняет, — для масс". "Лозунг социализма с человеческим лицом страбotal в Пражскую весну, — рассуждает Чалидзе далее, — и может сработать еще раз в России", ибо он *"симпатичен широкой публике"*. Наблюдение меткое. Затем выясняется, что он, этот лозунг, симпатичен не только публике, но и ее руководству, которое загодя, уже сегодня *"использует страны Восточной Европы как плацдарм для социалистических экспериментов"*. Это было бы для советских правителей очень трогательно — уберечь свой народ от экспериментов, чреватых последствиями непредсказуемыми, и использовать для этой цели пусть хоть и братские, но все ж не свои народности...

А социализм, как мы здесь узнаем, имеет среди населения СССР широкую базу. "Реабилитированные старые большевики, вдовы расстрелянных коммунистов и их дети сохранили в своих сердцах едва теплящуюся ленинскую искру, а лучше сказать, искру верности социалистическим идеям". Это тоже очень пронзительно. Кому как не вдовам и детям расстрелянных *"сохранять искру"*?

Так вот эти самые вдовы и дети расстрелянных, по наблюдениям автора, вместе с уцелевшими большевиками *"исповедуют очищенный социализм (еще один свежий термин!)* европейского социал-демократического типа". Онитo, оказывается, и составляют в нынешнем СССР ядро со-



циалистической оппозиции, которое "является элементом плюрализма в советском обществе".

"И нет никакой опасности, что теоретический (?) социализм победит", — успокаивает Чалидзе тех, кто, видимо, еще опасается.

Тут мы обязаны процитировать печальные строки лирического отступления автора, касающиеся многих из нас, его соотечественников в эмиграции:

"Из-за политической нетерпимости современной российской эмиграции я оказался чуть ли не единственным русскоязычным издателем, готовым поддерживать российскую социалистическую оппозицию".

Мотив одиночества, надо заметить, пронизывает в книге почти все его идеологические рассуждения.

Напрасно Чалидзе кручинится. Как там в издательском деле, ему, конечно, видней, но в диссидентской среде эмиграции несомненно есть люди, родственные нашему автору по социалистическо-плюралистической ориентации. Можно напомнить ему о таких именах как Лев Копелев и Ефим Эткинд. Есть и другие — М. Михайлов, П. Литвинов, Б. Шрагин... Так что ощущать себя здесь, на чужбине, идеологической сиротой нет никаких оснований.

И еще один интересный момент. Чалидзе вычислил, что нынешняя Россия — "это правая диктатура с правой тенденцией развития", но "будущее, — предупреждает автор, — рано или поздно должно привести к еще большему растяжению иерархической пружины"!

Это ж надо, что ждет Россию...

А вычислил он это научно, с помощью физики. Физика, по его изысканиям, использует для предсказаний общественного развития "поэтапное описание с различной степенью точности". "Задача настолько сложная, — уверяет автор, — что без сильной схематизации объяснить ее невозможно". И тут он приводит "графы", своеобразные схемы. Своеобразные необычайно! Разъяснить их суть, наверно, можно, но лишь овладев в совершенстве узорной, присущей автору словесной вязью, вроде такой его фразы: "Если посредством конечной последовательности законных или незаконных, но политически правых шагов можно перейти от современного демократического капитализма к системе, которая политически и экономически полностью подобна современной советской системе, то результат этих правых

шагов не может быть левым". — Как в той песне: "Правая, левая, где сторона?.."

Итак, в результате целого ряда физических экспериментов Чалидзе постиг, наконец, идеологическую сущность Российской империи на данном, послеоктябрьском этапе ее развития: "Советская система совершенно отошла в своем развитии от марксистских предписаний, отказалась от коммунистических целей, в СССР построена новая общественная формация — крайний монополизм, являющийся противоположностью социалистическим и коммунистическим снам". Но как он вычислил то, что "ни Сталин, ни теперешние его наследники не руководствовались учением Маркса и Ленина при построении этого сильного государства" — загадка. Кстати, а чем же они руководствовались? И почему бы тогда им не отказаться публично от марско-ленинской, коммунистической идеологии, тем более уже "выхоленной"? Тут бы и открылась дорога к детанту, к займам, кредитам, субсидиям и прочим дарам экономической помощи, которая нужна позарез...

На эти вопросы в данном исследовании ответов, к сожалению, нет.

Где-то в глубинах своего подсознания ощущает Чалидзе шаткость, логическую уязвимость применяемой им "экспериментально-физической" методологии. Такого же рода крамольные мысли могут возникнуть и у читателя. И автор свой внутренний диалог выносит на страницы исследования:

"Нет ли здесь логического подвоха? — спросит читатель. — Не вижу".

Но читатель пошел дотошный. Того и гляди, увидит.

А мы наш критический комментарий на том и закончим.

*Юрий Штейн*

## ТОЛКОВАЯ ПСАЛТИРЬ ЕВФИМИЯ ЗИГАБЕНА

По благословию Преосвященного Виталия, тогда еще Архиепископа Монреальского и Канадского, ныне же Митрополита и Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, в память 1000-летия Крещения Руси была переиздана ценнейшая книга, золото духовное для всякого православного христианина: толкование псалмов Евфимия Зигабена.

Псалмы — древнейшие духовные песни, одновременно молитвы и пророчества — были естественно восприняты первыми христианами. Сам Господь пел с учениками (Мк. 14, 26) псалмы, в беседах Своих Христос неоднократно толковал псалмы, например, в "заповедях блаженства" (Мф. 5, 5) или в вопросе о том, что Он есть Спаситель-Христос (Мф. 22, 44), в связи с предстоящим разрушением Иерусалима (Мф. 23, 39). То, что Господь говорил не иначе как в притчах, Евангелие объясняет словами Псалма 77 (Мф. 13, 35), а св. апостол Петр словами псалмов объясняет в Деяниях Апостолов и предательство Иуды (ДА 1, 20), но и воскресение Христово (ДА 2, 25—28). Сам Христос говорит ученикам после Своего воскресения: "вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению писаний" (Лк. 24, 44).

Из житий мучеников мы видим, как первохристиане укреплялись на подвиг словами псалмов, и пели псалмы, будучи ведомы на истязания. Церковь издревле поет псалмы: всю Псалтирь в течение недели, а в Великий пост —

---

З и г а б е н Евфимий. Толковая Псалтирь. В память 1000-летия Крещения Руси. Репринт. Пер. с греч. — Монреаль: Изд. Монреальской и Канадской Епархии Русской Православной Церкви за границей, 1986. 1162 с., 27 см. К сожалению, нет данных о первоиздании.

Евфимий Зигабэн — Византийской богослов и экзегет. Монах Перивлептосского монастыря около Константинополя. Жил и творил в XII веке. Написал комментарии к Псалтири, к Четвероевангелию и к Посланиям апостола Павла. Изложил православное учение и разъяснил при этом отклонения и различные ереси (в частности, он опровергал ересь современных ему богомилов).

дважды в неделю всю Псалтирь. Не говоря уже о том, что основная структура богослужений построена на псалмах, Псалтирь справедливо можно назвать основополагающей книгой молитв христианской Церкви.

Но не так-то легко воспринимаются псалмы, тем более на слух. К сожалению, в русской Библии официальный синодальный перевод следует не тому тексту, которым пользуется Церковь в богослужениях, а так наз. мазоретскому еврейской Библии, а церковно-славянский перевод следует греческому переводу семидесяти толковников, тому тексту, которым пользовались христиане, ибо он был распространен в иудейской диаспоре во времена Христа. Таким образом, следить за богослужением в церкви по русскому переводу оказывается невозможным. И для многих — утеряно великое сокровище, поскольку хотя из богослужебных песнопений многое уясняется, однако, далеко не все.

Потребность в толковании псалмов была всегда. Псалмы толковали уже св. Афанасий Великий, св. Иоанн Златоуст, св. Василий Великий и др. Но это толкования неполные. Толкование Евфимия Зигабена, написанное сравнительно поздно, в начале второго тысячелетия Церкви, основано на этих толкованиях и собирает воедино множество других.

Тому, кто начал пользоваться в своей ежедневной молитве псалмопением (или -чтением) открывается необъятный мир жизни Церкви, дыхание и сердцебиение Ее. Тому, кто начал уразумевать Псалтирь открывается неизследимая Премудрость Божия. Ныне доступное толкование Псалтири, действительно, неопишущее сокровище.

Толкование Зигабена снабжено множеством подробных примечаний и комментариев. Помимо ссылок на упомянутых выше Отцов Церкви есть указания на высказывания свв. Апостолов, Григория Богослова, Григория Нисского, Кирилла, Дорофея, Исихия, Аммония, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и многих-многих других.

Стих за стихом следует это церковное толкование тексту Псалтири — от первого до 150 псалма, на почти 1200 страницах. И думается, сколько света может пролить в наше восприятие Церкви Христовой вдумчивое чтение этой книги! ... остается лишь протянуть руку, взять этот светильник Божий и принести в дом свой.

Н. А.

## РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ

Два потомка русских эмигрантов, Патрик де Гмелин и Жерар Горохов, оба страстные коллекционеры русской военной старины, выпустили во Франции альбом — "Российская императорская гвардия". Указанный на обложке период (1886—1914 гг.) позволяет показать все многообразие гвардейских традиций в период нового их расцвета (т. к. Николай II вновь восстановил их после периода определенной унификации при Александре III).

Более того, собранный материал отражает в исторической ретроспективе возникновение каждой из 41 гвардейских частей, принципы набора в них, участие в военных действиях, чем прославлены и т. п. В этом смысле данный альбом может служить единственной пока в своем роде энциклопедией российской гвардии — с множеством фотографий (около 500), цветных изображений военных форм и полковых знаков.

Нужно отметить, что полковые традиции в России не были чем-то искусственно введенным. Начиная с первых гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, учрежденных Петром I в конце XVII в., эти традиции естественно вырастали из повседневной и военной жизни того или иного полка, отбирались памятью самих воинов, и были у каждого полка свои — порою неожиданные. Так, у одного из гусарских полков коричневый цвет формы был потому, что в конце наполеоновской войны, будучи в Западной Европе, воины обносились, и — за неимением иной материи — форму пошили из коричневого сукна францисканских монахов, — так и осталось. Или у Апшеронского полка красные отвороты на сапогах были не прихотью модельера, их называли: "в крови по колено", — то есть было в истории апшеронцев такое кровавое испытание. В Павловском гвардейском полку кивера передавались из поколения в поколение, и можно представить себе, как относился новичок к своей выправке и манере дер-

---

Patrick de Gmeline, Gerard Gorokhoff. "La Garde Impériale russe. 1896—1914". — Paris-Limoges: Charles-Lavauzelle, 1986.

жаться, как ощущал свой воинский долг, если ему, скажем, доставался кивер, пробитый пулей в Бородинском сражении.

Эти традиции впитали в себя историю России и имели важное патриотическое значение, вырабатывая особую гордость — принадлежностью именно к своему, а не иному полку. Оскорбление, нанесенное полку, воспринималось как личное. Проявление недостойного поведения приводило к исключению провинившегося из полка судом товарищей по оружию. Новый офицер принимался в полк тоже только общим решением офицерского состава — такая своеобразная "демократия" существовала в этих элитарных частях, попасть куда порою не удавалось даже представителям высшей аристократии.

Правда, если вспомнить описание русской армии Куприным или "Август четырнадцатого", то становится ясно, что положение год от году становилось все более неблагополучным, в том числе и в высшем офицерском составе гвардии. Была болезнь более глубокая, которую надо было лечить реформами, а не удерживать элитарными традициями...

После революционное время выходит за пределы нашей заметки, однако стоит напомнить, что стало с российскими воинскими традициями впоследствии.

Красная армия с момента своего создания (беспощадными террористическими мобилизациями, заложничеством семей, децимациями) оказалась от этих традиций отрезанной. Начали насаждать новые, интернационалистические. Но первые же месяцы войны СССР с Гитлером показали им цену: в плену у немцев оказалось около трех миллионов советских солдат, о которых в сталинском приказе 0019 говорилось так:

"На всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие, /.../ в то время, как число стойких комиссаров и командиров не слишком велико".

Понадобилось срочно прибегнуть к "исторически переходящим, реакционным" понятиям российского патриотизма и даже прямо заимствовать элементы дореволюционной формы, введенные в ходе войны.

Оказалось, что военные традиции — не игрушки. Они первая ступенька тех духовных ценностей, за которые,

начиная от чувства товарищества и кончая чувством родины, воин готов проливать свою кровь не под страхом трибунала, а по велению долга.

Интересно отметить, что дореволюционные гвардейские традиции вновь привлекают сегодня внимание некоторых кругов в советской военной среде. Так, в статье Васильева (автор знаком с жизнью этих кругов) в "Посеве" № 10 за 1986 г. среди прочего сообщается, что определенный процент офицеров ГРУ (очевидно у военной разведки более широкие рамки допустимых вольностей) имитирует "жизнь офицеров царской гвардии, прямыми последователями которой они себя почему-то считают. Обращаются друг к другу по имени и отчеству..." Порою в ресторанах ими разыгрывается почти спектакль, "изображающий, в представлении этих людей, гвардейскую жизнь в царское время. В семидесятые годы они увлекались книгой 'Николай и Александра', квартиры у многих декорированы изображениями гвардейских форм, кирасами, фальшивыми или настоящими амосовскими клинками полков..."

Вероятно, фальшивые бывают там не только клинки. Фальшь неизбежно подмешана в само понятие советского патриотизма и в двойственный смысл военного долга в СССР: защищать не только страну и народ от внешнего врага, но и коммунистическое правительство от собственного народа. Хотя и тут есть место для настоящей офицерской чести, которая дороже жизни — как то показали, например, капитан, покончивший с собой, чтобы не стрелять в рабочих Новочеркасска, или тот лейтенант, что покушался у Боровицких ворот на коммунистического владыку, на совести которого не только Новочеркасск...

Конечно, их поступки — не выход. Но они не могли иначе, так же, как в конце 1944 года — при уже выигранной Сталиным войне! — не могли иначе добровольцы владимирской РОА. И когда в России снова будет национальная армия, надо надеяться, что в ее традициях воссоединятся и многовековая русская история, и Белое движение, и защита страны в 1941—1945 гг., и жертвенная трагедия РОА, и мужество вышеупомянутых офицеров. По принципу воинской чести и единственной цели российской армии — за Россию.

Но это уже другая тема, хотя и возникла она здесь под

впечатлением прекрасно изданного альбома о традициях российской императорской гвардии.

М. П.

## СОЛОУХИН: "А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ..."

Перед нами очередная горсть солоухинских "камешков на ладони" — мыслей и зарисовок из окружающей жизни, которые автор перебирает, словно морскую гальку, и пытается в этих маленьких частицах большого мира показать всю его сложность и красоту. Или то, как кто-то может не понимать этой красоты.

В интервью западногерманскому телевидению, показанному 11 ноября 1986 года, Солоухин сказал, что эта часть "Камешков" появилась в печати без цензурных изменений — напечатано все, что он хотел. Там есть и положительное упоминание о Набокове, и отрицательное о любимом поэте революционеров Некрасове: "...поэт тенденциозен, и картина благополучия (дореволюционной России. — М. Н.) ему не нужна, не находит отклика в сердце". И далее еще о прошлом: "Говорим все время о бывшей России как стране сплошной неграмотности, темноты и невежества. Как будто грамотность только в том, чтобы знать буквы алфавита... Любой debil выучит их за неделю".

Есть и о советской планово-директивной экономике: "Иногда, чтобы поднять какую-нибудь отстающую отрасль и впрыснуть в нее жизнь, делают капиталовложения. Но это как если бы, когда у автомобиля спустит колесо, взять и накачать его. Через десять минут колесо спустит снова. Надо сначала либо поменять колесо, либо заклеить дырку".

Но более всего, наверное, писатель доволен тем, что ему снова удалось полумиллионным тиражом высказать свое отношение к христианству. Тут и об искаженном гербе города Владимира, на котором льву вместо креста всунули в лапы "нелепую, непонятную палку вроде какой-то мешалки". И предложение наряжать елку не к Новому

---

Владимир С о л о у х и н. "Камешки на ладони". — Москва: "Новый мир" № 8, 1986.



году, а к Рождеству, как было в дореволюционной России. И заявления о неслучайности возникновения жизни на Земле: перечисляя все физические "случайности", без которых не могла бы возникнуть на планете жизнь (такие, как ионный барьер в атмосфере, благоприятная температура, наличие воды, фотосинтез и т. п.), Солоухин пишет: "Если заняться, то можно из ученых книг выписать сотни таких совпадений. Но не слишком ли много случайностей и совпадений, нацеленных в одну точку?"

Помнится, за подобные вопросы ему уже однажды досталось от "Коммуниста", главного идеологического органа КПСС (№ 2, 1982). И была вынуждена тогда редакция "Нашего современника" со страниц того же "Коммуниста" (№ 8, 1982) обещать за Солоухина "в будущем не давать повода" и "не допускать /.../ проповеди религиозных взглядов". Из вышедшего позже отдельного издания "Камешков", эти возмущившие "Коммуниста" фразы о неслучайности мировой гармонии были вычеркнуты. И вот неисправимый Солоухин опять за старое: "А все-таки она вертится..."

Интересно, что с критикой этих новых "Камешков" выступила "Правда" (статья Кучкиной "Странная литература", 2. 11. 1986), но уже почему-то не за "богоискательские мотивы" а за "мещанство". Согласимся: кое-какие "камешки", найденные Солоухиным, не так уж важны, одни более удачно обкатаны морем писательского жизненного опыта, другие менее. Кое-какие на нас совсем не произвели впечатления. Но он и сам не преподносит их нам как нечто глубокомысленное. Просто он делится с нами находками: смотрите, вот лежит камешек хоть и серенький, но форма любопытная, не правда ли? И совершенно непонятно, зачем было "Правде" городить огород вокруг "мещанства". Странная какая-то эта статья "Странная литература". Похоже, что кому-то очень хотелось покритиковать трех известных писателей-"деревенщиков" — Солоухина, Василия Белова и Георгия Семенова, ибо только у них "Правда" "мещанство" и обнаружила...

Н. Н.

## ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ

Наконец-то нашлось издательство, выпустившее отдельным сборником работы одного из самых талантливых самиздатских публицистов России — Льва Михайловича Тимофеева. До выхода в самиздат Тимофеев публиковался в официальных журналах "Новый мир", "Молодой коммунист", "Молодая гвардия". Но накопленный опыт и блестящий аналитический ум не могли уместиться в рамках официально дозволенного. В 1980 г. на Западе в "Гранях" № 120 и одновременно в "Русском возрождении" №№ 11—14 появляется его наиболее солидное по сей день социально-экономическое исследование "Технология черного рынка или крестьянское искусство голодать", осветившее механизм эксплуатации крестьянства в СССР столь яркой и беспощадной вспышкой (хоть использованы при этом лишь советские официально опубликованные источники), — что на Западе долгое время думали: фамилия автора — псевдоним.

Основной вывод этого исследования: коммунистическая власть, закабалившая крестьян коллективизацией, и сама сознает неэффективность рабского колхозного труда, но для нее важнее, что такая система обеспечивает тотальную власть над людьми. "Нам нужна не всякая производительность труда" — под этими словами Сталина КПСС подписывается по сей день. И только чтобы не доходило до голода, был молчаливо допущен "черный рынок второй экономики", основанный на частной инициативе в свободное от казенной работы время. Имея в своем распоряжении лишь 2% возделываемой земли, он дает треть всего продовольствия стране. (Ноябрьским постановлением этого года об индивидуальной деятельности граждан этот "черный рынок" узаконен, и это какой-то шаг вперед к отказу от догмы, но опять-таки речь идет о труде в свободное от социалистической работы время — что можно рассматривать и как усиление все той же дополнительной эксплуатации рабочих сил общества.)

---

Лев Тимофеев. Последняя надежда выжить. Сборник статей. — Анн Арбор/США: "Эрмитаж", 1985.

За "Технологией" последовал рассказ в письмах "Ловушка" (опять в "Гранях", в № 122) о трагической судьбе одного из тех правдоискателей, которые простодушно надеются что-то объяснить партии, не может же быть, чтобы руководство не захотело принять разумные меры, если ему хорошо объяснить... Ему отвечает другой, уже сломленный: "Никакой партии, в том понимании, в каком трактуют это слово все словари, — у нас нет". Есть мафия. "Они и есть — партия. Они — власть, государство. Они и ловят нас, чтобы погасить, повязать, заставить служить тьме, смерти. И мы служим. И гаснем в их безнадежном деле".

А идти против них в поход за справедливость? — "Все мы набиты благодушным вздором, все нам кажется, что, может быть, есть где-то справедливость — на чьей-то судьбе сломается проклятая машина, даст осечку, выплюнет чью-то душу еще живой, непогубленной... Нет, не бывает так — машина крутится без перебоев".

Заглотила эта машина и самого Льва Тимофеева. Арестованный 19 марта 1985 года (через несколько дней после прихода Горбачева к власти) Тимофеев по ст. 70 УК РСФСР приговорен к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки — за те самые критические высказывания, многие из которых в горбачевский период стали появляться и в официальной прессе. Только Тимофеев, в отличие от советских газет, всегда ставил точки над "i". И делал это, в отличие от сегодняшних смелых авторов, без разрешения властей. Как говорится, "поторопился". Последнее о нем известие — в августе 1986 г. в 36-м пермском лагере Тимофеев на 20 суток брошен в карцер...

Видно, не только производительность труда, но и гласность нужна партии не всякая. Только каковы тогда моральные критерии такой "гласности"?

Из двух последних работ Тимофеева, появившихся в журнале "Время и мы" (№№ 75—77, 79), в рецензируемый сборник включена лишь "Последняя надежда выжить" (пьеса же "Москва. Моление о чаше", видимо, отнесена к другому литературному жанру.) И если "Технология черного рынка" — шедевр социально-экономической публицистики, то "Последняя надежда выжить" — не менее яркий и во многом так же первопроходческий, глубокий по интуиции шедевр политико-философского самиздата.

Тимофеев определяет историю коммунистического ре-

жима в России как историю постоянной борьбы мертвой идеологической доктрины против здравого смысла народа, против его исторического опыта, против человеческого естества вообще. Но в то же время это история постоянного сопротивления общества этой мертвой силе, которая на седьмом десятке лет оказалась не способна к наступлению, а лишь к обороне. Выдержать эту оборону режим может лишь новым крутым поворотом в политике — куда?

Написав эту работу еще при жизни Андропова, Лев Тимофеев считал наиболее вероятным приемом партии в данной ситуации — 1) послабления частно-предпринимательской инициативе в экономике при 2) усилении политического зажима общества как компенсирующего фактора, плюс 3) нагнетание опасности войны как средство вынужденного "единства партии и народа".

Несколько лет спустя, при Горбачеве, мы видим, что в первых двух факторах прогноз Тимофеева оправдался, а если вместо нагнетания военной опасности мы видим лихорадочную "борьбу за мир" — так это лишь оттого, что технологическое отставание СССР от Запада все усиливается, а с такой экономикой опасность войны не понагоняешь...

"На что же нам надеяться?" — спрашивает Тимофеев и дает не рационально-политический, а интуитивно-духовный и мудрый ответ: "На здравый смысл общества, на общественное мнение". Они не только смогли устоять перед давлением "мертвой идеи", они уже начинают "выдавливаться", оттеснять постороннюю идею, начинается медленное, медленное выздоровление. Так больной, но крепкий организм локализует очаг болезни, еще недавно столь яростно развивавшийся и грозивший смертельным исходом".

"Нам остается одна надежда — надежда на то, что исторический процесс освоения (или, вернее, отторжения) общественным разумом чужеродного тела социализма пойдет скорее, чем процесс политической и нравственной деградации правящего аппарата, что могло бы привести всю систему на грань катастрофы".

"Я не предрекаю обязательной победы морали и разума над радикальным безумием в политике, — пишет Лев Тимофеев. — Я говорю только, что общественный разум, мнение, волю нельзя подавить. Они будут живы до последнего — до момента физической гибели человечества.

И, значит, до момента физической гибели у нас будет надежда”.

События последнего года, наверное, дали бы Льву Тимофееву больше оснований для оптимизма, несмотря на то, что лично он оказался в лагере. В деле отторжения ”мертвой идеи” народным здравым смыслом достигнуты определенные результаты. С нее начали потихоньку сыпаться совсем уж отгнившие части. Посмотрим, как долго ей удастся продержаться в пришедшем в движение обществе начавшегося ”решительного перелома” ...

И закончим эту рецензию еще одной цитатой, дающей представление о масштабах подхода Льва Тимофеева к проблеме:

”Сам процесс отторжения коммунистической ИДЕИ не создаст ли в будущем, не начал ли создавать уже в настоящем ту новую социальную общность, те новые гражданские институты, которые преодолели и тупую бесчеловечность тоталитаризма, и нравственную податливость демократии, всегда готовой уступить тому, кто ловчее сумеет обмануть простое большинство избирателей?

Отрицательный опыт — тоже опыт, и, пожалуй, даже наиболее ценный, наиболее выстраданный... Не будем высокомерно пренебрегать им, полагая, что будущее подскажет нам нечто независимое от опыта сегодняшней общественно-политической системы. Не повторим ошибки радикалов. Общественное мнение не умирало и не умирает. Оно влиятельная реальность сегодняшней жизни. Оно работает и развивается. Оно влияло и влияет на действующую систему политики, экономики, права, на все существующие гражданские институты. Оно-то и создаст — уже, должно быть, и сейчас создает вопреки коммунистической идее! — все, чему надлежит проявиться в будущем.

И мы — участники этой работы”.

*М. Н.*

## МИРОВОЗЗРЕНИЕ ТЮТЧЕВА

*А мы — Леонтьева и Тютчева  
Сумбурные ученики ...*

*Г. Иванов*

Хотя Федор Тютчев — наряду с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, кажется, признан ныне безоговорочным классиком русской литературы, — до сих пор нет научно подготовленного полного собрания его сочинений, и в этом он разделяет судьбу других великих наших поэтов — Державина, Жуковского, Баратынского.

Причем, ежели личность Тютчева, пусть и без должной полноты, а порой и с вызывающими недоумение инсинуациями\* исследователями и любителями все-таки кое-как обрисована, его мирозрение, мирочувствование и политическое мышление затушеваны: не издана публицистика, до последнего времени не публиковалась объемно и переписка. И это, естественно, далеко не случайно: Тютчев не вписывается в каноническую советскую схему русской культуры, и по сей день оценивающей убеждения того или иного писателя по его соотносительности с революционными демократами.

Правда, в последнее время твердокаменная "историософия" литературоведения дает, кажется, изрядные трещины: вышедшие недавно в ЖЗЛ (и что особенно ценно — массовым тиражом) книги о Жуковском, Гоголе, Достоевском — в смысле разрушения традиционного прогрессистского мифа — намного духовнее большинства эмигрантских эссеистических рассуждений...

Тем не менее, и доселе лучший очерк идейной системы Тютчева, принадлежащий перу его зятя И. С. Аксакова

---

Ф. И. Тютчев. Избранное. — Москва: Московский рабочий, 1985.

Ф. И. Тютчев. Сочинения. Том 2. Письма. — Москва: Худ. лит-ра, 1984.

\* А. Б и т о в. Статьи из романа. — Москва: Советский писатель, 1986.

и увидевший свет ровно сто лет назад в 1886 году — переиздан в ущербном и обкорнанном виде: от блестяще интерпретированного Аксаковым политического мышления Тютчева советская цензура ничего не оставила, скромным значком <...> отрезав самое интересное у Аксакова и отнюдь не удосужившись объяснить — почему.

То есть сегодня особенно актуальны слова поэта (даже и в отношении его собственного духовного наследия) в статье "О цензуре в России" (ноябрь 1857 г.):

"Если среди многих других, существует истина, которая опирается на полнейшей очевидности /.../, то эта истина есть несомненно следующая: нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет, без существенного вреда для общественного организма /.../. Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем ей суждено пасть под ударами событий".

Из недавно изданной объемной сплотки тютчевских писем (общим числом 228, многие публикуются в первый раз) видно, сколь остро переживал поэт перманентную несвободу и неполноценность нашего государственного консерватизма, рутинно неспособного на мобильное творчество. При этом, — что особенно трагично, — подобно Константину Леонтьеву, Тютчев был его подлинным и искренним рыцарем и романтиком.

"Почему, — писал он своей умнейшей дочери Анне, — вредным теориям, пагубным тенденциям мы не можем противопоставить ничего кроме материального подавления? Во что превратился у нас подлинный принцип консерватизма? Почему наша соль стала столь чудовищно пресной? Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, но она начинает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо" (4. 1. 1872).

И за полгода до этого:

"Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающим-

ся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм?"

Корни такого печального положения Тютчев видел, кажется, в режиме Николая I (вспомним убийственную "эпитафию" поэта "Не Богу ты служил и не России, / Служил лишь суете своей, / И все дела твои и добрые и злые / Все было ложь в тебе, все призраки пустые, / Ты был не царь, а лицедей".)

Подмена государственного творчества "лицедейством" вела во времена Николая к тому, что место консерватизма заступала духовная к о н с е р в а ц и я, пагубные радикальные устремления не вскрывались, не побеждались, но загонялись внутрь и там прогрессировали, разлагая организм российского государства.

Правда, и потенциальные аппетиты у демнигилистов были уже тогда шигалевские, волчьи (вспомним знаменитое письмо Белинского Гоголю), но утишать их, по мнению Тютчева, следовало не игнорированием, не задабриванием, не террором, а массивированным созданием динамичного противоположного идейного и духовного полюса, благо силы на это тогда еще у общества были. Консерватизм не может держаться лишь страхом и механической дисциплиной.

... Просвещенный консерватор Тютчев мировоззренчески наследовал Карамзину и Жуковскому. Он л и б е р а л в том смысле, в каком пишет об этом явлении В. В. Леонтович ("История либерализма в России"). В этом Тютчев поразительно для XIX века последователен. То, к чему пришел Пушкин, преодолев якобинские увлечения, было свойственно Тютчеву еще в 19 лет. В стихотворении "К оде Пушкина на Вольность" он призывает:

Но граждан не смущай покою  
И блеска не мрачи венца,  
Певец! Под царскою парчою  
Своей волшебною струною  
Смягчай, а не тревожь сердца!

Пушкин приписывает декабристам "дум высокое стремление", Тютчев называет их — "жертвы мысли безрассудной" ... И на протяжении всей жизни поэт больно ощущал



неправду "освободительной" идеологии, предчувствовал, что она тянет Россию в бездну.

Что же было его политическим идеалом? Просвещенная (но вряд ли конституционная) монархия. И он остро переживал оскудение в определенных кругах живого православного чувства, долженствующего — по его мнению — быть основною духовною скрепою нации:

"Сегодня вечером — пишет он дочери Катерине 27 марта 1871 года — я рассчитываю отправиться к заутрене в Зимний дворец, хотя *местный колорит* (здесь и далее курсив Тютчева. — Ю. К.) совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из Своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскресением Христовым, а совсем иным — переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые и являются для них *благой вестью* во всем значении этого слова".

Этот пассаж тютчевского письма своим обличением "придворного" православия напоминает гневное вопрошание Пушкина ("Мирская власть", 1835):

К чему, скажите мне, хранительная стража? —  
Или распятие казенная поклажа,  
И вы боитесь воров или мышей? —  
Иль мните важности придать Царю царей?  
Иль покровительством спасаете колючим  
Владыку, тернием венчанного колючим

и т. д.

... Подлинный национальный консерватизм в России был одинок: атеистическое мракобесие подтачивало его снизу; и с усердием, достойным лучшего применения, его утесняли сверху: запретили журнал Достоевских, не давали развернуться публицистике славянофилов, тормозили религиозную, политическую и социально-интеллектуальную мысль...

После очередного закрытия очередного аксаковского издания Тютчев с горечью замечает, что безупречность нравственной природы Аксакова "давала столько веса его

словам и так упрочивала за ним влияние на молодежь, что, может статься, спасла бы ее, если б Аксакову предоставили свободу действий”.

Тютчев — тем более ценный свидетель глубокого кризиса нашей самодержавной идеологии, что сам, повторяю, сторонник монархии. Поэт был безусловным патриотом, и тем острее ощущал идейное неблагополучие государства.

... Устаревшее (подобно многим аспектам мировоззрения Достоевского) в своей панславянской части, в жажде Константинополя и романтических балканских ”освобождений” — политическое мышление Тютчева актуально теперь в другом: оно способствует плодотворному крушению в нас радикалистских и нигилистических освободительских схем, свидетельствует, что положительная альтернатива существовала, что пути российского процветания лежали отнюдь не там, где их искали разночинцы и им сопутствующие... Мышление Тютчева мощно противостоит плоскому позитивизму секуляризированного мышления.

*Ю. Кублановский*



## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**А н т о н о в и ч** Александр Сергеевич, род. в 1945 г. в Москве. В 1971 году окончил Литературный Институт им. А. М. Горького. Стихи и небольшие юмористические рассказы публиковались в журналах "Юность", "Новый мир", "Знамя" и др. В 1980 и 1982 годах в издательстве ИМКА-Пресс были напечатаны две начальные книги романа "Многосемейная хроника". Первая книга получила премию им. В. Даля, была переведена на французский язык и издана во Франции. "Повесть об Иване Сергеевиче и Прасковье Никифоровне, супругах Коромысловых" была опубликована в "Гранях", № 122, 1981 г. В 1981 году покинул СССР. Живет в США.

**В и к т о р о в** Георгий, родился в Югославии. Родители эмигрировали после революции. Среднее образование получил в Европе, высшее техническое — в США. 35 лет работает в области электронной техники. Автор многочисленных статей по своей специальности.

**Л и х а ч е в** Николай Никитич (литературный псевдоним — А. В. Светланин), род. 7. 7. 1905 г. в с. Пупки Корнеевской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. С 1917 г. учился в Режицкой мужской гимназии, эвакуированной из Прибалтики в Скопин. В середине февраля 1920 г. потерял в течение одной недели отца и мать, умерших от сыпного тифа. Смерть родителей заставила его вернуться в деревню, где остались сиротами младшие две сестры и брат. С 1920 по 1924 работает рабочим в шахтах, одновременно успевая учиться дальше. В 1926 г. поступает в рязанскую двухгодичную губернскую совпартшколу. В 1927 г. принимает активное участие в оппозиции Сталину, распространяет так называемую "Платформу 83" — в тот период партийная борьба шла еще открыто. Уже с 1926 г. начинает одновременно работать разъездным корреспондентом, инструктором отдела и заведующим отделом газеты "Рабочий клич". После одногодичной военной службы в 1929 г. возвращается на редакционную работу. В 1931 г. назначается редактором районной газеты Краснодарского (сельского) района "Червоний стяг" (на украинском языке) и избирается членом райкома партии. Весной 1932 г. возникает

дело об опубликованной в редактируемой им газете статьи, которая была признана "правоуклонистской" (в ней речь шла о нерентабельности колхозного производства). Результатом был выговор по партийной линии, а осенью его уже не переизбирают в члены райкома. В 1932 г. его снова призывают в армию, и с этого момента начинается "дальневосточный" период его жизни — до 1938 года. После недолгой строевой службы он вновь переходит на журналистскую работу в армейских газетах. Летом 1938 г. снова попадает в жернова "ежовщины-мехлисовщины" и исключается из партии с формулировкой: "за политическую слепоту, гнилое примиренчество, попытки выгородить и оправдать врагов народа..." и т. д. Он буквально "бежит" с Дальнего Востока в Москву — без партийного билета, без вещей, без права прописки, без паспорта, без денег. Скитается с места на место, перебиваясь случайными заработками. В 1939 г. его, по его же апелляции, неожиданно восстанавливают в партии, а затем его берет на работу Д. Чудновский в свою редакцию всесоюзной газеты "На страже" — орган Центрального совета Осоавиахима. Там он быстро становится заместителем главного редактора. В первые же недели войны Чудновского переводят на другую работу, а Лихачев получает должность главного редактора газеты "На страже". Эта должность была номенклатурой ЦК, а потому Лихачеву должна была быть выдана военная броня. Но в неразберихе и хаосе первых недель войны он попадает в точку пересечения чьих-то чужих волей и стремлений и оказывается командиром роты. Затем снова — газетная работа на фронте (начальником военного отдела армейской жизни газеты 2-й ударной армии "Отвага") и — неожиданный плен в июле 1942 года. Он прошел через лагеря военнопленных, тюрьму в Каунасе...

После войны переезжает из Германии в Англию, где становится лектором при Кембриджском университете, читает лекции английским военным переводчикам о Советской армии. Постепенно начинает заниматься литературной работой, — его повести и очерки печатаются в "Гранях" (№№ 5, 24, 27/28, 29 ...). В 1955 г. переезжает в Германию, чтобы перенять должность главного редактора "Посева".

Масштаб его журналистской работы огромен: за десять лет им было опубликовано более семисот статей, комментариев, редакционных материалов. Следует отметить, что

Лихачев не был членом НТС, организации, чей политический рупор он редактировал.

Умер 1. 8. 1965 г. внезапно, от сердечного удара.

**Р ж е в с к и й Леонид Денисович** (авг. 1905 — ноябрь 1986). Родился в Москве, закончил Московский университет, аспирантуру Московского Государственного Педагогического института им. Ленина, где затем и преподавал до начала войны. В 1941 г. ушел на фронт, попал в окружение под Вязьмой. К концу войны открылся сильнейший процесс в легких, врачи вынесли приговор — проживет не больше двух недель. Но процесс был остановлен, и Ржевский выздоровел, что до конца жизни считал ч у д о м. До 1953 г. работал для Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене. С 1953 по 1955 — главный редактор журнала "Грани". 1955—1963 — преподаватель русского языка и литературы Лундского университета, в Швеции. 1963—1964 — профессор русской литературы Оклахомского университета в г. Норман, шт. Оклахома, США. 1964—1974 — профессор, а затем заслуженный профессор Нью-Йоркского университета. В 1975 г. ушел в отставку, но до последних дней продолжал регулярно читать лекции в Летней школе языков Норвичского университета, штат Вермонт.

Неполный список его произведений включает: роман "Между двух звезд", изд-во им. Чехова, 1953; повесть "...показавшему нам свет", изд-во "Посев", 1960; сборник из трех повестей "Двое на камне", Товарищество зарубежных писателей, 1960; сборник повестей и рассказов "Через пролив", Товарищество зарубежных писателей, 1966; роман "Две строчки времени", "Посев", 1972; роман "Дина", издание "Нового Русского Слова", 1979. Многочисленные его публикации появлялись в разных русско-язычных изданиях — "Гранях", "Мостах", "Новом журнале". Из литературоведческих работ назовем: "Язык и тоталитаризм", 1951; "Язык и стиль романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго", 1962; "Три темы по Достоевскому" и "Творец и подвиг", 1972; большой сборник избранных работ Ржевского "Прочтение творческого слова", 1976.

С а м о х и н Андрей, псевдоним автора из России. Ведущие западные газеты, американская "Вашингтон пост" и английская "Дейли телеграф" высоко оценили в свое

время статьи Андрея Самохина, назвав их "прогнозами советской внешней политики". В этих статьях — "Разрядка" и "Зачем нужна война с Китаем", напечатанных также в "Посеве", автор дает глубокий анализ внешней политики советского правительства. В 1981 г. в издательстве "Посев" вышла его книга "Китайский круг России", посвященная отношениям Россия-Китай.

**Шварц Елена**, род. в 1948 г. — популярнейший поэт современного ленинградского Самиздата. Ее стихи широко публикуются на Западе. Эссе о ее творчестве напечатано в "Гранях" № 120 (Т. Горичева "Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги"). В 1986 году в нью-йоркском издательстве "Руссика" вышел сборник избранной лирики Е. Шварц "Танцующий Давид".

**Шенфельд Игнатий**, род. в 1915 г. во Львове. Там же окончил университет по филологическому факультету. Печататься начал в 1935 г. как поэт и переводчик. В 1941 г. оказался в Ташкенте, а в январе 1943 г. был арестован по фантастическому доносу и решением ОСО был приговорен к 10 годам заключения. В ходе этого "хождения по мукам" — по тюрьмам и лагерям — он встретил и сблизился со многими репрессированными писателями и людьми необычайных и трагических судеб. После отбытия еще трехлетней ссылки в 1956 г. возвратился в Польшу, где в Варшаве занялся интенсивной издательской, переводческой и другой литературной деятельностью. В 1969 году эмигрировал. С 1971 года живет в Германии и занимается литературоведением.

---

## КНИГИ НА ОТЗЫВ

**Б е р д я е в** Николай. Собрание сочинений. Т. 2: Смысл творчества. Опыт оправдания человека. 2-е изд. с разночтениями и дополнениями. — Париж: ИМКА-Пресс 1985. 446 с.

**Г е л л е р** Михаил, **Н е к р и ч** Александр. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. 2-е, испр. и доп. изд. — Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 1986. 926 с.

**П у ш к а р е в** Сергей. Самоуправление и свобода в России. — Франкфурт-на-Майне: "Посев", 1985. 175 с.

**П у ш к а р е в** С. Г. Роль Православной Церкви в истории России. 2-е изд. — Нью-Йорк: "Посев" 1985. 125 с.

Русские православные иерархи. Исповедники и мученики. Фотоальбом. — Париж: ИМКА-Пресс, 1986. 84 с. 30 см.

**С у в о р о в** Виктор. Рассказы освободителя. Предисловие Михаила Геллера. — Лондон: Overseas Publications Interchange, 1986. 262 с.

**Ф и л а н о в с к а я** Татьяна. Геометрия времени. Стихи. — (Франкфурт-на-Майне): изд. автора, 1986. 100 с.

Х р и с т и а н с к а я религия в русской поэзии. (Стихотворения более 80-ти авторов.) Том 3-й. — Сидней: Русское Православное издательство, 1985. 105 с.

**Ш м е м а н** Александр, протоиерей. Водю и Духом. О Таинстве Крещения. Перевод с англ. — Париж: Les Editeurs Réunis, 1986. 224 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

с № 139 по № 142

### ПРОЗА

АКСЕНОВ Василий

Блюз с русским акцентом. Киноповесть, 139

АНТОНОВИЧ Александр

Отпуск. Повесть, 142

БОРОДИН Леонид

Правила игры. Повесть. С послесловием Эдуарда Кузнецова, 140

КОРМЕР Владимир

Наследство (главы из романа), 141

ЛЕМХИН Михаил

"Все будет хорошо у нас с тобой...", 140

ШЕНФЕЛЬД Игнатий

Бармалей. Рассказ, 142

### ПОЭЗИЯ

АНСТЕЙ Ольга

Перевод стихотворения Оскара Уайльда "Цветок любви" ( Flower of love), 141

ВЛАДИМИРОВА Лия

Восемь стихотворений: "Я помню бдения хмельные..." — "О чем она безмолвно просит?" — "Дичает робкая душа..." — "Скрипит окно. Распахнутая рама..." — "Ты стать торопишься большою..." — "Как в позабытое жилье..." — "Еще меня не замело" — "Шофер отсчитывает сдачу...", 140



ЛОСЕВ Лев

Шесть стихотворений: De profundis. — Аллегория. — 6 августа 1945 г. — В трактире под машину. — "Лебедь пота шипа ран". — Двенадцать коллегий. Элегия в трех частях, 139.

СЕДАКОВА Ольга

Стансы, 141

ЧИННОВ Игорь

Семь стихотворений: "А луна-то криворога..." — "Мы в мире все переиначим!" — "Давайте поблагодарим..." — "Еще танцуют смуглые подростки..." — "Грачи по вспаханному полю..." — "От унылых, от ворчливых собеседников..." — "Больше не с кем говорить...", 140

ШВАРЦ Елена

Фрагменты поэмы, 142

## ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ХЕЙФЕЦ Михаил

Путешествие из Дубровлага в Ермак, 141

ХРОМЧЕНКО Яков

Бухара-и-Шериф, 140

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕССЕН Е.

Глоток свободы, 140

ЖОЛКОВСКИЙ А. К.

Замятин, Орвелл и Хворобьев. О снах нового типа, 140

КОРЖИНСКИЙ А.

Страсти по Мастеру, 141

КРАСНОВ Владислав

Воскрешение Столыпина, 141

ЛЕМХИН Михаил

Три повести братьев Стругацких, 139

ПАРАМОНОВ Б.

Выживание поэта, 140

**РЖЕВСКИЙ Леонид**

Мотив жалости в поэтике Достоевского, 142

**СЕРМАН Илья**

Маяковский и товарищи потомки. Сравнительный анализ двух текстов, 139

**ТУДОРОВСКАЯ Е.**

На озере Геннисаретском, 140

## ИСКУССТВО

**БАТЧАН А.**

Две культуры: беседа в Владимиром Паперным, 139

**ДАРСКИЙ Иосиф**

Рыцарь печального образа. К 75-летию первого выступления Ф. И. Шаляпина в опере "Дон Кихот", 140

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

**ЛИХАЧЕВ Николай**

Записки о войне, 142

## ИСТОРИЯ

**СПИРИДОНОВА М.**

Открытое письмо Центральному Комитету партии большевиков, 139

**ФЕЛЬШТИНСКИЙ Юрий**

Крах партии левых эсеров. Комментарий к письму Марии Спиридоновой, 139

**ФЕЛЬШТИНСКИЙ Юрий.**

Брестский мир, 141

## НАСЛЕДИЕ

**ВОЛЬФСОН Зеев**

История одного отступления, 140

**ГОРИЧЕВА Татьяна**

Христианский дурак в век апофатки, 140

## ФИЛОСОФИЯ

ПАРАМОНОВ Борис

Низкие истины демократии. Опыт вынужденного понимания, 139

## ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЙЛЬ Петр, ГЕНИС Александр

Интервенция. Из книги "60-е", 140

РЕДЛИХ Роман

Россия, Европа и реальный социализм. К столетию кончины Н. Я. Данилевского и выхода в свет книги К. Н. Леонтьева "Восток, Россия и славянство", 139

САМОХИН Андрей

Амурская война, 142

## КРУГ ЧТЕНИЯ

ВАЙЛЬ Петр, ГЕНИС Александр

Сослагательное наклонение истории, 139

## ИНТЕРВЬЮ

"Граням" — 40 лет. Интервью с основателем журнала

Е. Р. Романовым, 141

СССР и США — противоборство в космосе. Интервью с проф.

Уолтером Макдугалом, 139

## РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БРЕЙТБАРТ Екатерина

Прочтение творческого слова, 142

БРЕЙТБАРТ Екатерина

Вступая в пятое десятилетие, 141

КАЗАК Вольфганг

"Душа проснулась..." Памяти русской поэтессы Ольги Анстей, 141

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- А л ь т ш у л л е р Марк, Д р ы ж а к о в а Елена.  
"Путь отречения". — Анн-Арбор/США: "Эрмитаж".  
(С. Довлатов), 139, с. 301.
- А с т а ф ь е в Виктор.  
Место действия. Рассказы. — Москва: "Наш современник" № 5, 1986. (М. Назаров), 142, с. 282
- А с т а ф ь е в Виктор.  
Печальный детектив. Роман. — Москва: "Октябрь"  
№ 1, 1986. (М. Назаров), 142, с. 282
- Б о н д а р е в Юрий.  
"Игра". Роман. — "Новый мир" №№ 1—2, 1985.  
(Виолетта Иверни), 139, с. 295.
- d e G m e l i n e Patrick,  
Gorokhoff, Gerard. "La Garde Imperiale russe. 1896—  
1914". — Paris-Limoges: Charles-Lavauzelle 1986.  
(М. П.), 142, с. 299.
- Д о в л а т о в С. "Ремесло". — Ann Arbor: Ардис, 1985.  
(Е. Тудоровская), 140, с. 303.
- Д р у с к и н Лев.  
"Спасенная книга. Воспоминания ленинградского  
поэта". — Лондон: Overseas Publications Interchange,  
1984. (Кира Сапгир), 139, с. 290.
- E g e l a n d Erik.  
Ernst Neizvestny. — Oakville, New York, London: Mo-  
saic Press, 1985. (Сергей Голлербах), 141, с. 288.
- З и г а б ё н Евфимий.  
Толковая Псалтирь. В память 1000-летия Крещения  
Руси. — Монреаль: Изд. Русской Православной  
Церкви за границей 1986. (Н. А.), 142, с. 297.
- Л и п к и н Семен.  
Сталинград Василия Гроссмана. — Анн Арбор/США:  
Ардис, 1986. (Ю. Кублановский), 141, с. 284.
- Р а с п у т и н Валентин.  
"Пожар". Повесть. — "Наш современник" № 7, 1985.  
(М. Назаров), 140, с. 309.

- Семенов Юлиан.  
"Аукцион". — "Дружба народов", №№ 8, 9, 1986.  
(Анатолий Гладилин), 139, с. 304.
- Солоухин Владимир.  
"Камешки на ладони". — М.: "Новый мир" № 8,  
1986, (Н. Н.), 142, с. 302.
- Тимофеев Лев.  
"Последняя надежда выжить". Сборник статей. —  
Анн Арбор/США: "Эрмитаж" 1985. (М. Н.), 142,  
с. 304.
- Тютчев Ф. И.  
Избранное. — М.: "Московский рабочий", 1985.  
(Ю. Кублановский), 142, с. 308.
- Тютчев Ф. И.  
Сочинения, т. 2. Письма. — М.: Художественная ли-  
тература, 1984. (Ю. Кублановский), 142, с. 308.
- Флоренский Павел, свящ. Собрание сочинений, т. 1. —  
Париж: ИМКА-Пресс 1985. (Т. Г.), 140, с. 299.
- Чалидзе Валерий.  
Будущее России. — Нью-Йорк: Chalidze Publica-  
tions, 1983. (Ю. Штейн), 142, с. 288.
- Чалидзе Валерий.  
Победитель коммунизма. — Нью-Йорк: Chalidze  
Publications, 1981. (Ю. Штейн), 142, с. 288.
-



**Редакция журнала "Грани" глубоко потрясена  
гибелью в Чистопольской тюрьме  
светлейшего человека, бескомпромиссного борца  
за правду и гласность в нашей стране,  
замечательного публициста и писателя**

**АНАТОЛИЯ ТИХОНОВИЧА**

**МАРЧЕНКО**

**(1938 — 1986)**

**и выражает свои самые сердечные соболезнования  
Ларисе Иосифовне и сыну Павлу.**



**Редакция журнала "Грани"**  
**с глубоким прискорбием извещает**  
**о безвременной кончине 23 ноября 1986 г.**  
**после тяжелой болезни**  
**замечательного русского писателя**

**ВЛАДИМИРА КОРМЕРА**

**и выражает сердечные соболезнования его семье.**

**За роман "Крот истории" В. Кормер получил**  
**премию им. В. Даля за 1978 год.**

**Отрывки из романа "Наследство" печатались**  
**в Литературном приложении газеты "Русская мысль"**  
**и в журнале "ГРАНИ" № 141.**

**Читайте в следующем номере еще один отрывок**  
**из романа "Наследство".**

**Роман полностью выходит в издательстве "Посев"**  
**в 1987 году.**

**Главный редактор  
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80  
Тел. (069) 34 46 71

*Непринятые рукописи не возвращаются.*

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main



*Дорогие подписчики!*

*Издательство решило сохранить стоимость подписок на наши журналы «Посев» и «Грани» на 1987 год прежней. Но в связи с постоянным повышением почтовых тарифов нам пришлось переложить стоимость пересылки на подписчиков, что сейчас почти везде практикуется. Просим это учесть при оплате подписки на 1987 год и напоминаем, что подписка должна оплачиваться вперед, то есть в начале года.*

*Издательство «Посев»*

*Стоимость пересылки простой почтой:  
«Посев» — 10 нм в год,  
«Грани» — 5 нм в год*

## **Иван Елагин**

### **«КУРГАН»**

Новый сборник замечательного современного поэта Ивана Елагина «Курган» — цельная автобиографическая стихотворная композиция, где личные воспоминания неотделимы от общероссийской трагедии двадцатого века.

1987

40 с.

9 нм

## **Ростислав Евдокимов**

### **СТИХИ**

Первый сборник лирики поэта, отбывающего срок в Мордовском политическом лагере. Многожанровое творчество Евдокимова, таким образом, драматично «откомментировано» его героической судьбой, которую — по меткому выражению Мандельштама — «нельзя исключать из ряда творческих достижений» любого подлинного поэта.

1986

192 с.

18 н. м.

## *Дорогие читатели!*

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани” выпускает карманные сборники избранного из „Граней”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — не трудно взять их с собой.

*Мы обращаемся к читателям в России:*

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!

*Мы обращаемся к читателям за рубежом:*

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь **ДЛЯ РОССИИ**, — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

A. Kandaurov c/o „Possev-Verlag”

Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней”:

Сборник	№ 1	из	№№	87/88-94	(разошелся)
Сборник	№ 2	из	№№	78-86	(разошелся)
Сборник	№ 3	из	№№	71-77	(разошелся)
Сборник	№ 4	из	№№	69-70	(разошелся)
Сборник	№ 5	из	№№	53-68	
Сборник	№ 6	из	№№	49-52	
Сборник	№ 7	из	№№	40-51	
Сборник	№ 8	из	№№	34/35-39	

# Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:  
в издательстве — 60 н.м.  
через магазины — 70 н.м.

## ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:  
в издательстве — 72 н.м.  
через посредников — 84 н.м.

## «НАДЕЖДА»

**Христианское чтение**

в печати № 14

В продаже еще все номера, кроме №№ 1 и 2

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:  
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.  
НАДЕЖДА“ — 24 н. м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

**POSSEV-VERLAG**

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15  
или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main  
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.